

- **НОВЫЕ СТИХИ** - Льва Лосева,  
Юлия Кима и Наума Басовского
- **“ПОГОНЯ”** - главы из нового  
романа Нины Воронель
- **“ПОСТМОДЕРНИЗМ - ХОТЬ ИМЯ ДИКО,  
НО НАМ ЛАСКАЕТ СЛУХ ОНО”** -  
Лев Аннинский и Марк Амусин
- **АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ**  
под увеличительным стеклом
- **“ОТ БЕСОВЩИНЫ К БЕЗЫДЕЙНОСТИ”** -  
Норман Подгорец о левых и правых в США

**22**

**№ 120**

**МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ**

120

**МИ**

Общественно-политический и литературный  
журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле

# ДВАДЦАТЬ ДВА



120

Журнал выходит при содействии министерства науки  
и культуры; Центра интеграции репатриантов - деятелей  
литературы и искусства; министерства абсорбции

2001

# СОДЕРЖАНИЕ

## *ЛИТЕРАТУРА*

- Нина Воронель.** Дорога на Сириус ..... 3  
**Лев Лосев.** Стихи ..... 101  
**Юлий Ким.** Стихи ..... 103  
**Наум Басовский.** Стихи ..... 105

## *ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕФЛЕКСИЯ*

- Лев Аннинский.** Песнь пепси... ..... 110  
**Марк Амусин.** Власть воображения ..... 125

## *ДО-ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ*

- Анатолий Добрович.** Невшательский суд ..... 138

## *ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ*

- Эдуард Бормашенко.** История истины (окончание) ..... 142

## *ПОСТ-ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ*

- Исаак Розовский.** Сионские летописи ..... 158  
**Анатолий Добрович.** Диапозитивы Исаака Розовского ..... 168

## *ОТ МЕЧТЫ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ*

- Виктор Богуславский.** Отцы и дети ..... 171  
**Александр Воронель.** "Мы" и "они" ..... 178

## *ПО ТУ СТОРОНУ АТЛАНТИКИ*

- Марат Гринберг.** Плач по гуманизму ..... 198

## *ЗАМЕТКИ КНИГОЧЕЯ*

- Аркадий Бурштейн.** Семантика холода... ..... 205

## *ОТКЛИКИ*

- Соломон Могилевский.** Фило- и антисемитизм... ..... 212  
**Виктор Голков.** Несколько слов о членистоногой свободе ... 218  
**От редакции.** Пусть всегда будет солнце ..... 222

*На первой странице: портрет Мирьям Бар-Ор*

*На последней странице обложки: иллюстрация к роману Нины Воронель*

## ЛИТЕРАТУРА

Нина Воронель

### ДОРОГА НА СИРИУС

*(Главы из третьей книги трилогии "Гибель падшего ангела". Главы из первых двух книг трилогии "Ведьма и парашютист" и "Полет бабочки" публиковались в 97-100, 108 и 111 номерах журнала "22". Оба первых романа вышли также отдельными изданиями.)*

#### Карл

Пестро-зеленая, вращающаяся под крылом панорама северного Уэльса начала стремительно уменьшаться в размере, пока не превратилась в мелкомасштабную карту из школьного учебника географии. Еще минута и карту заволокло пенистым маревом облаков, за которым сделались неразличимы отдельные детали наспех покинутого мира. И стало ослабевать давление холодного обруча страха, стиснувшего его грудь с того мгновения, как он увидел на рояле свою красную тетрадь.

Он откинулся на спинку сиденья и постарался распрямить ноги, но кабинка самолета не была рассчитана на его рост, так что пришлось смириться с той позой, которую она могла предоставить. Может быть, именно из-за этой неловкой позы никак не наступал тот долгожданный момент освобождения, когда избыточный адреналин, стирая границу между страданием и блаженством, согревает кровь до колотья в кончиках пальцев.

Но сейчас кончики пальцев заледенели до онемения и согреть их не удавалось ни теплым дыханием, ни быстрыми рывками "сжать-разжать! сжать-разжать!", которым его обучили в тренировочном лагере в Ливане. Впрочем, это, пожалуй, было даже к лучшему. Ведь он точно знал, что будет, если к пальцам вернется чувствительность - снова хрустнет под нажимом его рук тонкая шея и задержается, об-

мягкая, хрупкое тело Брайана. Маленькие детские ладошки, маленькие ножки в детских полуботинках... Стоп, хватит, не заходитьсь!

Сворачивать шею одним рывком - по спирали вниз - его тоже обучили в тренировочном лагере, где он провел целый год после бегства из замка. Но там он практиковался на муляжах из синтетической резины, которая не дергалась и не хрустела, как ее ни закручивай - хоть по часовой стрелке, хоть против. Не то, что шея Брайана... Онемевшие пальцы внезапно ожили, автоматически повторяя вращательное движение по спирали вниз... Маленькие детские ладошки, маленькие ножки в детских полуботинках, маленькая, увенчанная седеющим пушком головка... Левая рука снова крутнула воображаемую шею по спирали вниз, правая навстречу ей - по спирали вверх. Хватит, стоп! Пора взять себя в руки!

Он закрыл глаза и постарался избавиться от мерзкого ощущения дергающейся под пальцами хрупкой шеи. Лучше всего попытаться заместить ее резиновым муляжом, обряженным в израильскую военную форму, - их было полно там, во дворе старой турецкой крепости, приютившейся на склоне лесистого ущелья реки Литани. Впрочем, назвать эти разрозненные группки хвойных деревьев лесом можно было лишь формально, - подлеска там не было, вместо кустов топорщились разнокалиберные валуны, вместо травы - каменные осколки. Так называемые курсанты разных национальностей - их было одиннадцать, неприкаянный сброд со всего света - размещались в двух дощатых бараках, приютившихся под арками полуразрушенной колоннады.

Он был среди них самый старый и ему сначала даже нравилась тамошняя суровая муштра, - его тщеславию льстила легкость, с которой он овладевал жестокой системой смертоносных навыков. Однако удовольствие это быстро кончилось, когда его вызвали к оперативному начальнику лагеря для получения первого боевого задания. Суть, собственно, была не в самом задании, для выполнения которого потребовалось, правда, подавить привитую ему с детства брезгливость. Но черт с ней, с брезгливостью, - в его положении ее можно было бы списать как излишнюю роскошь. Суть была в чем-то другом. Может, в простецком скуластом лице оперативного начальника, - такие лица он часто встречал в детстве у солдат советской оккупационной армии в Дрездене. А может, в его небрежной позе, локти врозь, сапоги вразвалку, - стоит ли сидеть навытяжку перед каким-то анонимным курсантом? Только при виде этой позы он, наконец, осознал

свой зависимый статус - из Гюнтера фон Корфа он превратился в анонимного курсанта, в резиновый муляж для чьих-то тренировок.

Он мог бы, наверно, осознать это раньше, - еще до того, как тусклый взгляд оперативного начальника скользнул сквозь него, не отмечая деталей, - но какой-то защитный рефлекс не давал ему это сделать. И потому это открытие застигло его врасплох. Все же ему удалось не надерзить наглому русскому солдафону, а, скрыв свою неприязнь, четко козырнуть и отправиться выполнять задание. И это, и следующее, и следующее, пока он не удостоился высокой чести сыграть коронную роль чешского профессора Яна Войтека.

Сквозь равномерный рокот мотора в сознание прорвался какой-то посторонний треск. Он огляделся в поисках источника: хрипели наушники, повисшие на гибком обруче у него за спиной, - он отбросил их назад вскоре после взлета и забыл вернуть на место. Поколебавшись пару секунд - ему уже успело надоеть красноречие Патрика, - он все же надел наушники, чуть-чуть уменьшив громкость. Но это не помогло, голос у Патрика был зычный, он перекрывал даже рев мотора и было ясно, что он говорит уже давно:

- ...я катился, катился, катился, как мешок с картошкой... Счастье, что ботфортом за куст зацепился, а то бы так в реку и плюхнулся! Качусь и думаю - попал в старуху или не попал? Попал или не попал? Да как же иначе, попал, конечно, я стрелок классный, напрасно ты сомневался. Сомневался ведь, а, Рыцарь? Знаю, что сомневался, знаю! И напрасно.

Патрик на миг затих, втягивая в легкие воздух, - в наушниках зашелестело, забулькало, заурчало. Потом выдохнул - заурчало еще громче, потом рявкнуло -отрыжка у него, что ли? - и стало тихо. Самолет накренился и начал забирать куда-то влево. В наушниках снова забулькало, но уже потише:

- Слышь, Рыцарь, а звать-то тебя как? А то все Рыцарь, да Рыцарь, это ж не имя, а так, кличка. Имя-то у тебя есть или нету?

Кодовое имя - Рыцарь - резануло своей напыщенной глупостью, как же он раньше не заметил? И еще острее резанул дурацкий вопрос, есть ли у него имя. Действительно, есть или нет? Столько их было, имен этих, кодовых и некодовых, деловых и романтических, для врагов и для девушек, что он привык отзываться на любое и меньше всего на свое собственное. На него он отзывался только в зале суда.

- "Ваше имя, подсудимый?"

- "Я же вам его уже сто раз называл".

- "Не пререкайтесь с судьей, подсудимый. Ваше имя?"

- "Гюнтер фон Корф".

- "Гюнтер фон Корф," - повторил судья, оборачиваясь к стенографистке.

"Гюнтер фон Корф," - записала стенографистка.

Значит, его имя Гюнтер фон Корф? Но, конечно, не для этого ублюдка, который продолжает настойчиво допытываться, как зовут его спутника, его подельника, связанного с ним общим риском. Нужно срочно ответить - не стоит, болтаясь между небом и землей, портить отношения с пилотом. Так кто же он - Ян Войтек, кем только что представлялся и паспорт которого - вечная ему память! - он успел, изорвав в клочки, похоронить в сырой земле под кладбищенским забором? Или Вилли Вебер, паспорт которого - надеюсь, ненадолго, - сейчас лежит в его кармане?

Ни тот, ни другой.

- Рыцарь, а, Рыцарь! - вопили наушники. - Да не тяни ты с именем, придумывай скорей! Все равно ведь правду не скажешь!

Имен много, сочинить можно любое, только как бы потом не запутаться. Особенно сейчас, когда нервы на пределе. Уж лучше назваться какой-нибудь привычной кличкой, которую уже примерял, приросшей к коже, так сказать. Созревающий соблазн опять найти убежище у Инге сам подсказал ему имя.

- Карл, - сказал он в торчащий у подбородка микрофон. - Зови меня Карл.

Карл! Карл фон Гревниц, возлюбленный Инге Губертус? А может, никакой не возлюбленный, а просто наемный работник на ее свиноферме, - но все равно, подсознание сработало складно, хоть он еще ничего не решил. Он все еще колебался - разумно ли повторять прошлое? Однако если не возвращаться на Ближний Восток, то деваться больше некуда. Идея эта зародилась уже давно. Иначе с чего бы он стал осторожно проверять по телефонной книге, как обстоят дела в замке "Губертус"? Инге все еще носит фамилию Губертус, - неужто все еще не вышла замуж? А вот старик Отто из книги исчез, значит, умер бедняга, вечная ему память. А если даже и не вечная, неважно: в любом случае, в его памяти, - будь он хоть Гюнтер, хоть Карл, хоть кто иной - до конца дней останется место для коварного старика.

- А фамилия у тебя как? - не удовлетворился Патрик.

- А фамилия тебе зачем? Фамилию тебе лучше не знать, для твоей же пользы.

- Какая уж тут моя польза, Карл? - голос Патрика вдруг взмыл вверх, подогретый рыданием. - Какая может быть польза человеку, который все потерял?

- Что же ты потерял, Патрик? - зачем-то спросил Карл и тут же прикусил язык. Вступать в этот разговор не следовало, но слова сами сорвались в микрофон, - еще одно доказательство, что он не в себе. Патрик немедленно ухватился за протянутую ему соломинку:

- Как это, что? Одна пивная чего стоит, такой пивной во всей округе больше нет!

- Но она же была не твоя! Ее тебе купили, чтобы у тебя была вывеска.

- Что значит, не моя? - возмутился Патрик. - Была не мой, а стала моя. Они дом купили и инвентарь, это правда, но остальное я сам справил. Ты видел, сколько народу у меня бывало каждый вечер? Или народ они тоже купили? Ты знаешь, какую прибыль я им сдавал? Потерпели бы они еще пару лет, они бы все свои деньги поганые могли назад вернуть! Все, до последней копейки. Так нет, им это было невдомек, они тебя прислали, на мою голову! И все пошло прахом, и пивная, и мастерская! Ну для чего, скажи мне, для чего тебе старуху убивать приспичило?

Господи, еще и старуха! Про старуху Карл впопыхах забыл, - не то, чтобы совсем забыл, однако из сознания вытеснил. Старуха осталась там, в парке над рекой, и отсюда, издалека, было не разглядеть, жива она или нет. Впрочем, то, от чего постарался избавиться разум, тут же преподнесли нехстати отогретые пальцы. Они припомнили холодные щупальца кусачек и безвольную вялость морщинистой шеи, ощутимую сквозь мелкие уколы неподатливой цепочки.

- Ну чем тебе старуха помешала? - не унимался Патрик.

Как бы заткнуть ему рот? Спасаясь от его напора, Карл откинул было наушники назад, за спину, но Патрик заметил это и резко швырнул самолет в пике. Лиловая поверхность моря стремительно рванулась им навстречу, словно только того и ожидала, и Карл зажмурился, готовый ко всему. Но ничего ужасного не произошло. Самолет мелко задрожал и, почти коснувшись брюхом волны, - так, во всяком случае, показалось Карлу, - взмыл вверх так же резко, как до того мчался вниз.

Лицо Патрика гневно качалось за прозрачной перегородкой, отделяющей пилота от пассажира, рука его, опасно оторвавшись от руля, двигалась по затылку от уха к уху, недвусмысленно приказывая вернуть наушники на место. Карл нехотя повиновался:

- Что, не понравилось? - донеслось из наушников. - То-то же! И больше не дури, а слушай, что тебе говорят. Тем более, если говорят про мастерскую.

Про мастерскую, а не про старуху, и на том спасибо!

- Что с мастерской теперь будет? Она-то моя, а не ихняя, я там каждую гаечку, каждый винтик этими вот руками скрутил.

Сейчас еще, чего доброго, руки начнет показывать, уж лучше ему ответить.

- Все будет хорошо. Через пару недель получишь от дочки знак, что можно вернуться, и вернешься. И всех дел.

- А вдруг они насчет старухи заподозрят?

- С чего им тебя подозревать? Сам подумай, - мотива у тебя никакого. Как ты стрелял, никто в суматохе не видел, там все стреляли, отпечатков на мушкетах тоже нет, раз все были в перчатках.

- А почему я улетел ни с того ни с сего?

- Потому что заказ на бабочек получил. Чем не причина?

- Заказ этот, он подлинный, что ли?

- Что ты заладил, подлинный, подлинный? Я ведь уже сказал, что да!

- Как же ты его так быстро прокрутил?

- Да я его с собой привез. У нас ведь разные сценарии были проиграны. И в частности такой, что мне придется с твоей помощью когти рвать.

- Профессионалы сраные, - присвистнул Патрик. - Чего ж вы, такие профессионалы, без меня обойтись не смогли?

- А ты думал, тебя столько лет тут содержали просто так, чтобы ты благоденствовал?

- Ничего себе благоденствие! Ты знаешь, сколько незаконных ребят из Шин-Фейна я на этом самолете перевез? Думаешь, это не риск - кого отсюда в Ирландию, а кого из Ирландии сюда? И сколько минометов я из контрабандных частей собрал - этими вот руками?

Тут Патрик и впрямь предъявил обе руки - широким щедрым взмахом, ладонями вверх. Карл чуть было не вскрикнул "Держи штурвал!", но сдержался, тем более, что ничего страшного не произошло, - самолет продолжал равномерно скользить над вереницами прозрачных облаков, через которые просвечивало сиреневое море. Прошло бесконечно долгое мгновение, пока Патрик вернул руки на штурвал и мысли его потекли в другом направлении:

- Так куда же мы путь держать будем?

В ответ на этот вопрос Карл, наконец, нашел способ заткнуть Патрику рот, хоть на время:

- Я еще не решил окончательно, так что ты помолчи немного, дай мне подумать.

Но Патрик был не из тех, что без борьбы соглашаются, чтобы им затыкали рот:

- А чего тут думать? Ты ж сказал, что у вас на все случаи сценарии заготовлены.

Но и Карл, если нужно, мог постоять за себя:

- Ну, сказал, так что? Из этих сценариев ведь какой-то надо выбрать. Так что заткнись и дай подумать.

Патрик вздохнул так глубоко, что у Карла чуть не лопнули барабанные перепонки, витиевато выругался и замолк.

Карл не соврал, сценариев у него и вправду было несколько, но как-то так вышло, что ни один его не устраивал. Сосредоточив взгляд на серебристой полоске, отмечающей место, где море сливалось с небом, он начал их перебирать. Все они вели обратно, к тому душному прозябанию в роли исполнителя чужой воли, которым он тяготился последние годы. Хоть он и выполнил задание, казавшееся невыполнимым, на душе было скверно. Единственным утешением было неожиданное открытие, что у него еще осталось нечто, подходящее под определение "душа". Это нечто - все-таки не ничто! - скулит где-то под ложечкой, не пропуская в кровь необходимую для продолжения жизни порцию адреналина. А без адреналина он превращался в обыкновенного обывателя, подверженного приступам тоски и сожаления.

А сожалеть было о чем, - например, о летнем дожде. Летнего дождя не было и наверняка не будет ни в Сирии, ни в Йемене. Или об этой идиотке Кларе, которую он с такой легкостью обвел вокруг пальца. Он сам удивился ошеломляющей стремительности своей победы, - ведь прежде, чем приступить к намеченному обольщению, он досконально изучил пикантные детали ее любовной жизни. И потому в ту памятную иерусалимскую ночь, прокалывая шину ее запасного колеса на стоянке над бассейном Султана, он рисовал себе длительную осаду со случайными встречами и невозвращенными телефонными звонками. Так что он не сразу поверил своей удаче, когда она, очертя голову, сама бросилась ему на шею.

Собственно, то, что она сама бросилась, было несущественно, такое с ней случалось. И он поначалу решил - как бросилась, так и отвалится. А она не то, что не отвалилась, а прикипела, будто на всю жизнь. И черт его дернул поддаться соблазну и позволить себе рас-

слабиться рядом с ней. Он сам не понимал, как это случилось. Ведь он давно уже наглухо запер свое сердце и приучил себя к тому, что никто ему не нужен, никто не дорог. Он даже сперва сумел уверить себя, будто она нужна ему только для дела - так он, по крайней мере, оправдывал свой преувеличенный к ней интерес. Ведь без ее помощи ему не удалось бы так ловко, не вызывая подозрений, разведать технические обстоятельства предстоящих переговоров, все эти хитроумные уловки с редкими рукописями, магнитными карточками и секретными замками. Как бы он узнал точное расписание заседаний в хранилище без мелких ее проговорок и без поспешно назначаемых ею в самое что ни на есть неурочное время свиданий?

Он так радовался своим достижениям, что не сразу заметил, как втянулся в юношеский ритуал их тайных встреч и запретных объятий. И только под конец, когда чувства его обострила угроза разоблачения, он отдал себе отчет в ее власти над ним. Пальцы опять оживились, припоминая нежность ее кожи, и были немедленно за это наказаны - какая-то неподвластная его контролю сила повела их дальше и заставила повторить вращательное движение по спирали вниз... Хрустнула тонкая шея, задергались маленькие ножки в детских полуботинках, захрипела и сникла маленькая, увенчанная седующим пушком головка... Да отвяжись ты, Брайан, отвяжись, все равно, уже ничего нельзя исправить.

Как бы славно было сейчас прокрасться в комнату Клары, зарыться лицом в ее податливое тепло и забыться, забыться, забыться... А ведь забываться-то и нельзя, именно сейчас это смертельно опасно, именно сейчас нужно особо быть начеку, иначе ему конец.

И с чего это он так расчувствовался? Ну, одним библиотекарем в мире стало меньше, тоже мне событие! - ведь он в молодости со всеми библиотеками хотел покончить, как с символом пошлой буржуазной культуры. И со всеми библиотекарями в придачу. Так что для него смерть одного человека - на его совести столько взрывов, столько трупов. Чушь какая в голову лезет, при чем тут совесть? Совесть его чиста, он делал это во имя великой идеи, - сказал он себе. И сам себе не поверил. Когда-то давно и впрямь во имя великой идеи, а теперь во имя чего?

Он представил себе надменные смуглые лица своих теперешних хозяев, - какие у них к черту идеи? А он всего-навсего их слуга, сегодня нужен, завтра вышвырнут пинком под зад, а еще проще - прикончат, чтоб не болтал лишнего. Кто знает, может, приказ прикончить

его уже отдан и в конечном пункте его поджидает посыльный особого назначения. А может, кто-нибудь нацеливается даже раньше, например, этот шут гороховый...

- Слышь, Карл, твое время истекло, - рывкнули наушники, прямо в тон его мыслям. Как, уже истекло? А он еще не готов, он надеялся, что в конечном пункте...

- Хватит думать, подлетаем уже. Вон там, впереди по носу - материк, видишь? - утешил его Патрик, которому явно стала невмоготу утомительная игра в молчанку. - Куда поворачивать, как мы береговую линию пересечем, на запад или на юг?

Значит, истекло время думать, а не время жить. То есть, еще не сейчас. Значит, еще не все кончено и есть еще надежда выкрутиться, если взять себя в руки. Главное, взять себя в руки и больше не вспоминать, как увенчанная седым пушком головка Брайана стукнулась о край книжной полки, когда он торопливо заталкивал туда его вмиг отяжелевшее тело.

- А где мы? - автоматически спросил он, снова и снова заклиная себя не вспоминать, не вспоминать, не вспоминать. Как всегда в таких случаях, вспоминалось особенно хорошо и настойчиво. В голову лезли невесть откуда взявшиеся подробности, - давно вышедшие из моды замшевые заплатки на локтях поношенного пиджака, очки в коричневой оправе, свисающие с уха на тонкой цепочке, смешные редкие волоски, вставшие дыбом на пугливом затылке. Карл так напрягся, чтобы избавиться от этого наваждения, что не расслышал ответ Патрика, или толком его не понял, ибо то, что тот сказал, никак не вязалось с его географической логикой.

- Что значит, в Голландии? - переспросил он, уверенный, что это ошибка. - Зачем нам Голландия?

- А затем, что из Уэльса туда ближе всего по прямой.

- И что нам в этой прямой? Мы ж не геометрическую задачу решаем.

- Я и говорю, профессионалы сраные, сценарии сочиняют, а простых вещей не понимают. Ведь нам главное - пересечь береговую линию до того, как нас над морем засекут.

- Кто это решил, что нам главное, ты? Так вот взял и решил! - необдуманно взвился Карл и тут же пожалел об этом.

- Я б с тобой посоветовался, мне не жалко, так ты ж сам мне заткнуться велел, - со смаком отбрил его Патрик. - А сейчас уже поздно, подлетаем к Голландии. Так что решай поскорей, куда сворачивать.

И впрямь, призрачная полоска горизонта потемнела и обрела быстро приближающиеся земные очертания. Куда же лететь? Проще всего, конечно, на запад, как было запланировано сценарием побега в самолете Патрика. Там, если задействовать заранее заданные волны радиопередатчика, есть почти верный шанс проскочить в Восточный Берлин. Берлин, хоть и Восточный, все же не так плох, только долго задержаться там не дадут. Оттуда дорога одна, - прямая каменистая дорога в Сирию, глаза б ее не видели. А из Сирии дороги нет никуда, разве что к праотцам, - слишком давно он там ошивается.

Или все же рискнуть и опять уйти от всех, от тех и от этих? Опять попытать счастья, - пан или пропал, орел или решка? Добраться до Инге, лечь на дно и затаиться в лесной глухомани? Чуть-чуть переждать грозу и осторожно выйти с ними на связь, чтобы выторговать свободу в обмен на вожденную кассету? С первого взгляда тут риска больше, чем в северном варианте, - например, по пути арестовать могут, да и у Инге может что-то непредвиденное произойти. Однако, все же не смертный приговор, не Сирия и не Йемен, а ими он сыт по горло. Ладно, была, не была!

- Летим на юг, - скомандовал он Патрику. - Как у нас с бензином?

- На час примерно еще хватит, а там заправляться надо будет.

- Вот и отлично, тяни в сторону Саарбрюккена.

- А где этот сраный Брюкен? Я понятия не имею. Ты штурманскую карту читать умеешь?

Слава Богу, читать штурманскую карту его обучили в тренировочном лагере, так что он без особых усилий построил навигационный маршрут от Роттердама на Саарбрюккен. Закончив работу, он глянул за окно и увидел внизу уже не сплошной, кажущийся недвижимым водный массив, а расчерченный сеткой каналов зеленый простор Голландии, украшенный красно-белыми скоплениями игрушечных домиков. Похоже, они умудрились без помех пересечь береговую линию и никто их не засек.

- Как тебе это удалось? - спросил он Патрика, внутренне упрекая себя за то, что недооценил своего подельника.

- На то я человек-бабочка! - похвалился Патрик.

Шут гороховый он всегда шут гороховый, хоть в море, хоть в небе.

- А кроме того, у меня тут кое-что заматано, иначе как бы я по-твоему контрабандные запчасти для минометов доставлял?

Так вот зачем ему Голландия понадобилась!

- А как ты дал им знать, что это твой самолет?

- А ты не просек? И правильно не просек, у Патрика на все свои способы есть.

Выходит, он своим людям как-то просигналил, а Карл этого даже не заметил. Может, не такой уж он шут гороховый и надо его опасаться? В любом случае расстаться с ним надо осторожно.

- Радио! - произнес Патрик неожиданно тихо, почти шепотом. - Включи радио. Нажми красную кнопку с правой стороны.

Карл начал шарить по пульта управления, нашел красную кнопку, не совсем справа, скорей в центре, и нажал. Самолет рванулся в сторону, но тут же выпрямился. Голос Патрика поднялся до нормального регистра:

- Да не ту кнопку, не ту! Лучше смотри, в ручке кресла, справа, красная кнопка! Давай, ищи!

И замолк, - видно, отключился, вслушиваясь. В полной тишине Карл нашел, наконец, нужную кнопку и нажал, в наушниках зажужжало. Он крутнул соседнее с кнопкой колесико - сквозь потрескивающие эфира прорвалась торопливая английская речь:

"... самолеты, пересекающие береговую линию европейского материка с запада на восток, должны срочно доложить свои опознавательные признаки и координаты в центральное управление береговой охраны. Всякий, кто нарушит приказ, может стать объектом принудительной посадки."

- Слышал? - Патрик напряженно дышал в микрофон. - Ведь это они нас ищут!

- Скорей всего, нас, - Карл старался говорить спокойно, словно ему это было безразлично, хоть под ложечкой разом образовалась отвратная пустота.

"Внимание, внимание! - вновь заговорило радио, на этот раз по-французски. - Все самолеты..."

- Опоздали, господа, опоздали! Напрасно ищите, мы уже проскочили! У нас тут управляет Патрик, а он не пальцем деланный! - громко откликнулся бабочник, заглушая радио, и Карлу захотелось приказать ему говорить тише, как будто его могли услышать по ту сторону приемника. А приемник твердил свое:

"Все самолеты, пересекающие береговую линию европейского материка с запада на восток, должны срочно доложить свои опознавательные признаки и координаты в центральное управление береговой охраны. Всякий, кто нарушит приказ, может стать объектом принудительной посадки."

## Марта

Марта постучала в дверь, сперва тихо, потом громко, потом еще громче, хотя уже было ясно, что в доме никого нет. Уставши стучать, она порылась в стоящем на пороге цветочном горшке с засохшей бегонией, где Клаус раньше иногда оставлял ключ, но никакого ключа там не было. “Цветок засушили, дом порушили, тоже мне хозяева”, - с привычной, и оттого вялой злобой подумала она, расковыривая твердую растрескавшуюся землю в горшке. Дом и впрямь выглядел готовым на слом - штукатурка под окнами облупилась, из крыши вывалились две черепицы, обнажая черную толевую основу. Да разве этим двум недоумкам понять, что дом надо ремонтировать! Впрочем, сейчас это уже не имело никакого значения. Сейчас нужно было найти Клауса, да поскорее, а то ведь так и опоздать можно. А Мастер ясно сказал - кто опоздает, тому не на что надеяться.

Марта уже не могла себе представить, как она жила когда-то, не полагаясь во всем на Мастера. А ведь когда фройляйн Юта первый раз привезла ее к нему на ферму, ей там совсем не понравилось. Дорога показалась ей слишком долгой и она все время думала, как трудно будет добираться туда своим ходом, а не на машине фройляйн Юты. Пока они спускались по мокрому от дождя крученому шоссе в глубокую лощину Каршталя, Марта все старалась разглядеть что-нибудь поверх еловых крон, но так ничего и не разглядела. И не мудрено, - ферма пряталась от любопытных глаз в лесном парке за высоким забором, тем более, что уже сгустились сумерки и затененная холмами лощина начала погружаться в темноту.

Они въехали в ворота и, оставив машину на стоянке, пошли через парк по хорошо ухоженной аллее, посыпанной красным песком. По пути они догнали шумную стайку немолодых дам в одинаковых серых плащах и вслед за ними вошли в обширный вестибюль крытого черепицей дома. Дамы остались щебетать в вестибюле, а Марта в сопровождении фройляйн Юты проследовала дальше, вглубь дома. Они прошли через короткий, тускло освещенный коридор и остановились перед высокой двустворчатой дверью, полускрытой тяжелыми малиновыми портьерами. Фройляйн Юта нажала на дверь одной рукой - за дверью было темно, - а другой больно подтолкнула Марту в спину. Марта невольно сделала шаг вперед, дверь за ней закрылась и она оказалась одна в полной тьме. Где-то в глубине дома играла тихая музыка, напоминающая молитвенные псалмы, вроде тех, что по воскресеньям пел в церкви Клаус, а сверху доносился странный шорох,

словно кто-то чистил перья на крыльях ангелов. Внезапно вспыхнул свет, он был такой яркий, что Марта невольно зажмурилась.

“Открой глаза, не бойся,” - произнес над головой ласковый голос. Марта осторожно глянула в щелочку между ресницами, - чуть-чуть над ней, в центре многоцветного луча, падающего откуда-то с потолка, парил в воздухе красивый седобородый мужчина в белом шелковом халате и в белых сандалиях на босу ногу с белым покрывалом, переброшенным через сгиб руки. Откуда он взялся? Марта могла бы поклясться, что когда фройляйн Юта втокнула ее в комнату, там было пусто. Она была в большом напряжении и очень внимательно вслушивалась во все звуки, но не слышала ни шагов, ни звука отворяемой двери.

Мужчина с улыбкой протянул Марте покрывало. Она неловко взяла его одной рукой, край белой ткани выскользнул из ее ладони и мягкими складками расплескался по полу. Она подхватила его второй рукой, подняла вверх и встряхнула - это был просторный балахон с завязками у ворота и с длинными рукавами.

- Надень это одеяние и присоединяйся к нам, - сказал мужчина и, так и не коснувшись ногами пола, вместе с лучом выплыл в зазор между бесшумно раздвинувшимися перед ним портьерами. Портьеры тут же снова сдвинулись и в комнате опять стало темно. Только тут Марта догадалась, что это был Мастер. Путаясь в рукавах и в завязках, она начала напяливать балахон, чувствуя, как рушатся ее надежды - этот знаменитый Мастер ничем не был похож на доктора Шлинка.

А она, дура, размечталась, что Мастер сможет заменить ей покойного доктора Шлинка, у которого Марта столько лет находила утешение от всех своих бед. Беды начались в одну зиму ранней юности, когда отец сбежал из дому и мать спятила - она не реже раза в неделю принимала яд, потом корчилась от боли на полу и требовала, чтобы Марта вызвала “скорую помощь”. “Скорая помощь” увозила мать в больницу, там ее откачивали, но хоть яд у нее забирали, она каждый раз умудрялась достать новый. Так что через несколько дней все повторялось опять и опять, пока мать наконец и вправду однажды не умерла, оставив Марту и Гейнца в пустом доме без копейки денег на жизнь.

Марте пришлось подрабатывать мытьем полов в чужих домах. Все чаще ей стало казаться, что хоть мальчишки в школе смеются над ней и дразнят толстухой, некоторые из хозяев на нее засматриваются. Как-то, когда она мыла лестницу в кабачке “Губертус”, кабатчик

Вальтер подкрался к ней сзади, задрал юбку и начал гладить ее выше колен, а потом выше и еще выше. Ей стало жарко и хорошо, сердце зашлось сладко-сладко, так что она даже не заметила, как Вальтер стянул с нее трусики и опустил на колени, крепко прижимая ее к себе руками и ногами. Когда все кончилось и она, не помня себя, попыталась привести в порядок волосы и одежду, Вальтер вдруг злобно заорал, застегивая брюки: "Перестань реветь и убирайся прочь!" Она не заметила, что плачет, и сперва не поняла, чего он от нее хочет, ведь она еще не домыла лестницу и пол в кухне. Но он ее не слушал, - сунув ей в руку деньги за уборку, оставленные хозяйкой на стойке под пивной кружкой, он грубо схватил ее за плечи и вытолкнул за дверь: "Вали отсюда и не попадайся мне больше на глаза!"

Оглушенная, бежала Марта по деревенской улице, безлюдной в это время дня, как вдруг из окна проезжавшей мимо машины выглянула жена Вальтера, Эльза, и спросила: "Ты что, уже закончила? Так рано?" Не в силах выдать из себя ни слова, Марта просто помахала в воздухе зажатыми в кулаке деньгами и побежала дальше. Чем ближе подходила она к своему дому, тем медленнее становились ее шаги, - она не могла бы сейчас посмотреть в глаза брату, который наверняка уже вернулся из леса, где за гроши помогал леснику собирать сухие ветки. Поэтому она свернула в узкий проход между двумя домами и углубилась в густой сосняк, начинающийся сразу за последним забором. Дойдя до небольшой опушки, она почувствовала внезапную слабость, упала ничком на траву и немедленно заснула, будто провалилась в глубокую яму.

Когда Марта вернулась к вечеру домой, брат не заметил в ней никакой перемены, - он был слишком занят собой и своими делами. Но она очень скоро почувствовала, что все в ней переменялось. Она хотела только одного, - еще раз пережить то жаркое блаженство, которое испытала, стоя на коленях с задранной юбкой, когда Вальтер прижимался к ней сзади. Желание это мучало ее так нестерпимо, что однажды вечером, подкараулив Вальтера на лесной тропинке, когда он возвращался из города на велосипеде, она выскочила из-за деревьев и преградила ему дорогу. Он сперва испугался, но, быстро сообразив, чего ей надо, схватил ее за руку и потащил в кусты. На этот раз ей было не так хорошо, как тогда на лестнице, но через пару дней ее снова стала мучить та же неутолимая жажда.

Со временем она поняла, что дело не в Вальтере, а в ней, и что у других мужчин можно получить то же самое и даже больше. Так что

скоро в деревне начали показывать на нее пальцем и местные хозяйки, оберегая от нее своих мужей, перестали нанимать ее для уборки. Брат пару раз попробовал кулаками “вправить ей мозги”, но убедившись, что ничего не поможет, махнул на нее рукой. Так все и шло, пока она не начала вдруг толстеть и распухать, как тесто для праздничного пирога. Когда живот у нее вырос в два раза больше ее самой, одна женщина в булочной сказала: “Уж не беременна ли ты, девушка?”, и она страшно испугалась, потому что сразу поверила, что так оно и есть.

Однако испугалась она напрасно - когда Клаус родился, жить ей поначалу стало даже как-то легче. Деревенские женщины жалели ее и дарили коляски, ванночки и поношенную детскую одежду, а кроме того у нее появились деньги, потому что ей каждый месяц стали присылать чек из социальной кассы. А главное, ей делалось горячо и сладко, когда Клаус сосал ее грудь, и уже не так хотелось тискаться в кустах со всяким встречным. Она целые дни валялась на кровати в ночной сорочке и кормила Клауса, от чего он вырос большой и пухлый.

Неизвестно, сколько времени она бы так нежилась, если бы соседки, забегая ее проведать, не обратили внимание, что в два года ребенок все еще не ходит и не разговаривает. С тех пор вся жизнь ее покатила под откос. Обойдя десятки врачей, она окончательно убедилась, что она порченная, меченая и ни в чем ей не будет счастья, раз даже самые лучшие врачи не могут вылечить Клауса.

Она бы наверно тогда отравилась, как ее мать, если бы кто-то не привел ее в клинику доктора Шлинка. У него не было такой красивой серебряной бороды, как у Мастера, он не летал по воздуху в белых сандалиях, а ходил по полу в поношенных ортопедических башмаках, но зато он сразу замечал, когда Марте становилось невмоготу. А невмоготу ей становилось часто, с каждым годом все чаще и чаще.

Но доктор Шлинк ужасно ее подвел - как-то осенним утром он умер без всякого предупреждения, и Марта опять осталась одна. Она снова стала думать о смерти, тем более, что Клаус с годами совсем ее разлюбил, а ведь как любил когда-то! Она вспомнила, как они оба радовались, когда он был еще крошкой и она брала его с собой в душ, - он гладил ей живот своими маленькими ручками, а она намыливала его и щекотала. От этих воспоминаний ей стало совсем мутно и она села на пол в чужой шуршащей комнате, совершенно забыв, зачем она тут оказалась. Она бы так и сидела там до вече-

ра в темноте, если бы фройляйн Юта не заглянула за портьеру, чтобы спросить, не случилось ли с ней чего.

Услышав ее голос, Марта поспешно ответила, что с ней все в порядке, вскочила на ноги и вышла в большой зал, который открылся за портьерой. Одна стена его сплошь состояла из окон, за которыми уже почти стемнело, а на остальных стенах, обтянутых зеленым штофом, были развешаны картины в золотых рамах, большие и маленькие, - прямо музей, да и только. В скромном доме доктора Шлинка не было никаких картин, зато там собирались одинокие люди, которым было трудно жить.

В центре зала возвышался треугольный алтарь, на котором стояла высокая ваза с одной-единственной красной розой. Хоть по залу тут и там были расставлены затененные абажурами напольные лампы, пространство его тонуло в сумраке и только роза была ярко освещена узким вертикальным лучом, как будто из ее венчика к потолку возносился световой столб. Перед алтарем, держась за руки, полукругом стояли мужчины и женщины, человек тридцать, не меньше, в таких же белых балахонах, как у Марты. "Иди к ним, вон туда, видишь? Тебе оставили место", - шепнула фройляйн Юта и скрылась за портьерами. Марта немного потопталась у входа, потом преодолела смущение и вступила в общий круг. Протянув в стороны руки, она наощупь нашла ладони своих соседей, которые готовно сомкнулись вокруг ее пальцев, и повернулась лицом к алтарю. Перед алтарем склонился в молитве Мастер, одной рукой опираясь на длинный меч, а за его спиной по обе стороны алтаря возникли в полумраке две женских фигуры, облаченные не в белые, а в цветные одежды. Хоть лица их были скрыты черными полумасками, в одной из них Марта узнала фройляйн Юту.

Заиграла музыка, Мастер поднял меч над головой и проговорил мощным голосом:

- Данной мне свыше властью я очерчу этим священным оружием защитный круг, чтобы изгнать из нашей среды все враждебные силы.

И сильным взмахом руки очертил круг над головами собравшихся. Как только он опустил меч, в незаметной до того люстре под толчком вспыхнули лампочки, вырвались из патронов и начали вращаться в воздухе, повторяя линию очерченного мечом круга. Световой столб над розой превратился в сплошное размытое сияние, внутри которого лепестки цветка разом оторвались от венчика и алым дождем рассыпались у подножия алтаря. Под звуки музыки обе

женщины за спиной Мастера начали поспешно срывать с себя одежды, швыряя их себе под ноги и испуганно топтать. На фройляйн Юте белье было белое, на второй женщине - черное, отделанное черным кружевом.

Мастер обратился к ней:

- Не случайно ты оказалась сегодня в черном, Жюли, не случайно. Это означает, что кто-то среди нас несет в своем сердце недоверие и вражду.

“Это он обо мне! - ужаснулась Марта. - Как он догадался?” Мастер тем временем подхватил мечом лежащий у его ног ворох белой ткани и поднял его высоко над головой.

- Вот ваши новые одеяния, - произнес он, стряхивая ткань с меча и подхватывая ее на лету. Она разделилась на два белых балахона, которые он протянул женщинам в белье. - Но прежде, чем вы наденете их, мы попросим космическую богиню защитить нас от злого глаза.

Жюли и фройляйн Юта взяли у Мастера балахоны, но не успели их надеть - вдруг раздался странный заунывный звук, похожий на рыдание, и они замерли, прижимая к груди белые складки ткани. Воздух наполнился вибрацией, исходившей со всех сторон. Казалось, завихряются и пульсируют все предметы, находящиеся в зале - оконные стекла, картины на стенах, затененные абажурами лампы в дальних углах.

В такт этой вибрации задрожала душа Марты, - и руки, и ноги, и соски, и жилки на шее, и в памяти ее, как в кино, замелькали все непоправимые беды ее жизни. Затрепыхалось сердце, закатилось куда-то вбок, оставляя в груди огромную, необъятную пустоту, в глазах зарябило, ноги подкосились и наступила полная тьма.

Когда Марта очнулась, ни Мастера, ни людей в балахонах в зале уже не было. Луч над алтарем погас и только высокий светильник под оранжевым абажуром отбрасывал зыбкий световой круг на ковер, на котором она лежала. Она с трудом подняла голову и ее плохо сфокусированный взгляд наткнулся на склоненное над ней озабоченное лицо фройляйн Юты. Когда та заметила, что Марта пришла в себя, ее губы чуть заметно шевельнулись, но голос прозвучал так слабо, что Марта была не уверена, не ослышалась ли она:

- Значит, и ты услышала космический зов?

- Космический зов? - повторила за ней Марта, словно пробуждаясь и выныривая на поверхность из темной пучины.

Зрачки фройляйн Юты расширились:

- Раз ты слышала этот зов, значит, и ты будешь допущена.

Марта приподнялась было на локте, но голова сильно закружилась, и она рухнула на ковер, чувствуя, как вокруг снова начинает звенеть и пульсировать воздух. И все же шепот фройляйн Юты провалился сквозь звон и вибрации:

- Видишь, космические силы не хотят отпускать тебя. Но ты не бойся, в конце концов они принесут тебе избавление и покой.

Всю обратную дорогу Марта, заткнув уши пальцами, валялась на заднем сиденье, но звон и дрожание воздуха преследовали ее. Чтобы избавиться от этого наваждения, она стала вспоминать лечебные сеансы в клинике доктора Шлинка.

Комната там была не такая огромная, как зал у Мастера, но все же большая и окна в ней были всегда наглухо закрыты и занавешены тяжелыми шторами. Когда в нее набивалось много народу, становилось очень душно и в голове все мешалось от тесноты и от сладкого курева душистых трав, которое дымилось в маленьких прозрачных чашечках, развешанных вдоль стен. По знаку доктора Шлинка где-то под потолком возникала красивая музыка, услышав которую все начинали петь хором, держась за руки и раскачиваясь в такт пению. Свет в комнате медленно угасал, и только огоньки в прозрачных чашечках освещали ее разными цветами, от чего душа Марты высвобождалась и возносилась все выше и выше, а ноги все слабели и слабели... Со всем обессиленная, она валилась на пол и начинала кататься вместе с другими, которые тоже падали рядом с ней и тоже катались, сцепляясь по двое и по трое. Все мелькало и кружилось перед глазами, беды отступали и на сердце становилось легко и прозрачно.

Но все это было раньше, а теперь доктор Шлинк умер, ушел навсегда и некуда ей больше ходить, не к чему прислониться. Никого, никого у нее нет! От этой мысли у Марты перехватило дыхание и из горла вырвался громкий стон, который ей самой напомнил собачий вой.

- Что с тобой, Марта? - испуганно спросила фройляйн Юта. - Тебе плохо?

- Плохо мне, плохо! - запричитала Марта.

- Почему? Ведь ты услышала космический зов и допущена!

- Не нужен мне ваш космический зов! Я не хочу быть допущена к вашему Мастеру, я хочу назад, к доктору Шлинку!

И утирая нос мокрой ладонью она стала рассказывать фройляйн Юте про доктора Шлинка:

"Хоть комната была большая, там всегда было душно, так много народу туда набивалось... В свечной воск были подмешаны душистые

травы, от них голова начинала кружиться, кружиться... Сперва мы брались за руки и пели хором... мы раскачивались все вместе и пели, пели, пели, пока не становились все, как один человек, будто у нас на всех был один голос. Ноги у нас слабели и мы падали на пол, все вместе, как попало - кто на колени, кто ничком, и начинали кататься по полу и друг по другу... и к нам приходило озарение и мы уже не знали, где чьи руки, где чьи ноги... Иногда кто-нибудь клал руку мне на грудь или между колен... Клал мне руку... кто-нибудь... и тогда... и тогда..."

Мысль о невозвратности того восторга, который переживала она на сеансах доктора Шлинка, пронзила сердце Марты, она закатилась в рыданиях и стала биться головой о холодный металл дверцы. Фройляйн Юта резко остановила машину и, пересев к Марте, обняла ее трясущиеся плечи:

- Ну не надо так, не надо. Пора уже забыть твоего доктора Шлинка, забормотала она, поглаживая спину Марты ласковой теплой ладонью. - Он умер и никакими слезами его не вернуть. Зато теперь ты наша. Теперь ты станешь ходить к Мастеру и найдешь себе там новых друзей.

От ее слов Марта зарыдала еще громче, чувствуя при этом, как ни странно, что невыносимая боль в груди, постепенно стихая, сменяется жалостью к себе, чуть-чуть ноющей и даже утешительной. Ей было приятно, что фройляйн Юта, такая красивая и нарядная, тратит на нее свое драгоценное время и внимание. У фройляйн Юты была собственная аптека в соседнем городке, она носила в ушах платиновые серьги с большими алмазами и до сих пор никогда не снисходила до сочувствия толстой потаскухе, - от Марты не скрывали, что эта кличка давным-давно приклеилась к ней.

Марте захотелось продлить свою власть над фройляйн Ютой, чтобы та продолжала сидеть рядом с ней, обнимать ее плечи и гладить по спине. Поэтому она не поспешила поддаться на уговоры красивой аптекарши, а затрясла головой и забарабанила пятками по кожаным бокам заднего сиденья:

- Не буду я ходить к нашему Мастеру! Не буду!

И просчиталась, - фройляйн Юте наверно надоело ее утешать. Она разжала руки так внезапно, что Марта с размаху ткнулась носом в холодную кожу обивки. Уже вырulingая с обочины на дорогу, фройляйн Юта, не оборачиваясь, бросила через плечо:

- Делай, как хочешь. Но помни: у тебя есть друзья, которые не оставят тебя в беде.

- Какая еще беда? У меня и так каждый день беда! - завопила

Марта, втайне надеясь, что аптекарша опять остановит машину и продолжит свои увещевания. Но та, не отвечая, нажала на газ, и в молчании довезла Марту до дома. Только закрывая за ней дверцу машины, она повторила на прощанье:

- Помни: у тебя всегда есть друзья, которые не оставят тебя в беде.

Беда не заставила себя ждать. Не прошло и недели, как Марта, придя рано утром в кабачок Вальтера, чтобы помочь паковать для переезда в новый ресторанчик, построенный у входа в замок Инге, обнаружила, что кухонная дверь заперта. Она слегка поскреблась, потом постучала, но никто ей не открыл. Забеспокоившись, она стала с силой бить в дверь кулаками и громко звать Эльзу. Через какое-то время дверь внезапно поддалась. Поскольку она отворялась внутрь, Марта с грохотом ввалилась в кухню и с разбегу наткнулась на Эльзу, стоявшую у плиты со своей неизменной сигаретой в зубах. Только на этот раз сигарета едко дымилась, потому что была зажжена.

Эльза шумно втянула воздух в легкие и ловко выплюнула сигарету прямо Марте за шиворот. Горящий кончик больно обжег Марте шею, но еще большей обожгли ее слова, вслед за сигаретой вылетевшие изо рта разъяренной кабатчицы:

- Вон отсюда, шлюха поганая, и чтобы духу твоего здесь больше не было!

Марта уставилась на нее в изумлении, выжывая из-за ворота закатившуюся под кофту сигарету. Видя, что Марта не собирается уходить, Эльза в ярости пнула ее ногой. Носок ее башмака остро ткнулся Марте в живот, - она была намного выше Марты и ноги у нее были большие и жилистые. Марта ахнула, схватилась за живот и присела, так что следующий пинок пришелся ей в ухо и она, истошно взыв, на четвереньках устремилась к выходу.

Но, как видно, быстрое безнаказанное исчезновение Марты не входило в планы кабатчицы - она схватила свою жертву длинной жилистой рукой и рванула обратно к плите:

- И чтобы ублюдок твой поганый тоже никогда больше к нам не являлся!

Ублюдок ее поганый, вот оно что! Сынок ее ненаглядный, горе ее гореванное.

- Что мой Клаус опять натворил? - обреченно спросила Марта, готовясь одновременно к нападению и к защите.

- Она меня спрашивает, она сама не знает! - еще пуще взъярилась Эльза и ткнула пальцем в пространство за спиной Марты.

- А ты у него спроси!

Марта обернулась и встретилась глазами с Вальтером - он, как затравленный зверь, притаился в узком простенке между холодильником и посудомоечной машиной. На губах его блуждала жалкая кривая улыбка, на бледной щеке полыхала длинная багровая борозда, кровь из которой сочилась на разорванную от плеча до пупа рубаху, на полу под ногами пестрели осколки разбитых бутылок.

Эльза не стала дожидаться ответа Вальтера на незаданный вопрос Марты, - пока тот, потеряв бдительность, на миг отвел от нее испуганный взгляд, она швырнула в него тяжелую пивную кружку со свинцовой крышкой. Он шархнул в сторону, но не успел увернуться и кружка, огрев его по уху, звонко грохнулась на пол, однако не разбилась, а волчком завертелась у его ног. Вальтер взвыл:

- Да вранье это все, вранье! Кто тебе такие глупости наговорил?

- Нашлись добрые люди, глаза мне открыли.

- Сволочи они, твои добрые люди! А ты уши развесила! - осмелел Вальтер. - И с чего ты на старости лет стала такая доверчивая?

- А с того, что это чистая правда! - взвизгнула Эльза и начала шарить по плите в поисках нового снаряда. Видя, что под рукой у жены уже ничего не осталось, Вальтер с неожиданным проворством выскользнул из-за холодильника и ринулся к двери, ведущей в пивной зал, но Эльза опередила его. Она подставила мужу ножку, - он с разбегу рухнул на пол и она придавила его грудь грубым башмаком:

- Стой, подонок! Никуда ты не уйдешь, пока не расскажешь, как вы у меня под носом заделали этого идиота.

И тут до Марты, наконец, дошло, - Эльза откуда-то узнала про Клауса! Но откуда? Кто мог разнюхать? Ведь дело это случилось так давно, что она сама уже подзабыла, кто мог бы быть отцом ее ублюдка. Поначалу ей было невдомек, кто ее обрюхатил, но со временем она поднабралась опыта и научилась считать дни между месячными. Из этих расчетов выходило, что Клаус у нее скорей всего от Вальтера, однако ей было выгодней это скрывать, чем афишировать. Особенно ни к чему это разоблачение было сейчас, когда работа в кабачке стала ее единственным заработком. Нужно было срочно рассеять подозрения Эльзы и, рискуя вызвать огонь на себя, Марта громко затараторила:

- При чем тут Вальтер? Да у меня с ним никогда ничего не было. Нужен он был мне очень, твой старый импотент, когда у меня от молодых мужиков тогда отбою не было!

- Вот видишь, она знает, что говорит! Зачем бы я был ей нужен,

когда у нее от молодых мужиков отбою не было? - обрадовался Вальтер, но Эльзу этот довод несколько не убедил:

- Да ей, шлюхе, все равно, с кем! Хоть с кобелем, хоть с козлом, лишь бы мужиком пахло!

И ловко подхватив Марту свободной рукой, она пригнула ее голову вниз, прямо к лицу поверженного Вальтера:

- Ну-ка, голубки, расскажите мне, где вы тогда трахались. Часто ли вы это делали? И как - спереди, сзади или на боку?

От злости в руках Эльзы скопилась какая-то сверхъестественная сила, она больно нажимала Марте на затылок, заставляя ту склоняться все ниже и ниже. Марта попыталась вырваться, но не смогла, она пошатнулась и, стукнувшись головой о край плиты, повалилась прямо на Вальтера. Эльза схватила ее за волосы и резко дернула вверх:

- Ах ты, стерва, ты опять за свое? Или ты еще одного идиота заделать хочешь? Прямо у меня на кухне?

В этот момент Вальтер изловчился наполовину вывернуться из-под Марты, - свободной рукой он схватил Эльзу за лодыжку и рывком потянул на себя. Отпустив волосы Марты, Эльза рухнула, как подкошенная, и даже не пытаясь подняться, разразилась горькими рыданиями. Марта вмиг поняла, что нельзя упускать удобный момент - она на коленях доползла до двери, кубарем скатилась с крыльца, вскочила на ноги и побежала, сама не зная, куда.

Она добежала до поворота, обернулась и перевела дыхание, - кажется, никто за ней не гнался. Тогда она опасливо оглядела соседние с кабачком дома. Они стояли молчаливые и нелюбопытные, но хоть ни в одном не приотворились двери и не колыхнулись в окнах белые кисейные занавеси, Марта не поверила их равнодушному молчанию. Она была уверена, что не одна пара жадных глаз уже зарегистрировала и ее паническое бегство, и вопли Вальтера, и громкие рыдания Эльзы, доносящиеся из-за приоткрытой кухонной двери. А значит, новость о скандале в кабачке уже покатила по деревне с телеграфной скоростью.

Марта так явственно представила себе, что почти услышала вживе, как в десятках квартир пронзительно звонят телефоны и возбужденные голоса обсасывают пикантные подробности ссоры, добавляя к ним все новые и новые детали. Это конец, жизни у нее тут больше не будет и надо срочно искать, куда бы отсюда сбежать. Да чего искать-то, бежать ведь некуда.

Не очень ясно сознавая, куда она идет, Марта побрела по тротуару,

безраздумно сворачивая на перекрестках с такой автоматической устремленностью, словно у нее была определенная цель. Цель эта скоро обнаружилась в виде выбежавшего ей навстречу игрушечного домика автобусной остановки. Она села на решетчатую скамейку под висящей на стене рельефной картой местных лесных тропинок и постаралась остановить непрерывное кружение взбесившегося вопроса, на который не было ответа: “Кто мог рассказать Эльзе про Клауса?”

Когда кружение мыслей слегка примедлилось, Марта обнаружила, что на столбе прямо перед ней висит расписание автобусов. Вычленив в нем название городка, в котором была аптека фройляйн Юты, она без колебаний осознала, куда она должна ехать. Так вот в один миг осознала, хоть до этого мига и мысли такой у нее не было. Словно чья-то рука привела ее к остановке и втолкнула в подошедший автобус.

Сейчас, когда все это давно уже было позади и она непрошенной гостьей стояла посреди заросшего сорной травой двора своего бывшего дома, ей вдруг показалось, что тогда перед ней пронеслись картины всего, что ей еще предстояло пережить. Она как бы увидела свою сегодняшнюю жизнь в коммуне Мастера, свою тяжбу с Инге из-за дома для Клауса и главное, Клауса с Хелькой. Они шли ей навстречу, держась за руки, - Хелька, как всегда, слегка прихрамывала, прижимая к боку искалеченную руку, а Клаус смотрел на нее так, словно она была королева красоты. Марта так явственно услышала их смех, что на секунду ей показалось, будто они и вправду вышли из-за поворота ей навстречу. Она сделала было шаг к ним, нечаянно задев при этом горшок с засохшей бегонией, он со звоном упал к ее ногам и раскололся на мириады мелких черепков. Звон этот вернул ее к реальности - перед ней в полной тишине простиралась пустынная улица, по которой никто не шел.

## Ури

*“Все самолеты, пересекающие береговую линию европейского материка с запада на восток, должны срочно доложить свои опознавательные признаки и координаты в центральное управление береговой охраны. Всякий, кто нарушит приказ, может стать объектом принудительной посадки”.*

Уже? Неплохо! Значит, Меир начал действовать! Ничего не скажешь, быстро сориентировался. Ури едва успел осознать, что этот приказ, собственно, адресован и им тоже, как в наушниках заволновался напряженный голос Джимми:

- Слушай, парень, а не нас ли они ищут?

Ури подумал, что, вполне вероятно, и их тоже, но не захотел волновать Джимми понапрасну, - кто его знает, такой ведь и назад повернуть может:

- Ну конечно, не нас. Кому мы нужны?

"Внимание, внимание! - вновь заговорило радио, на этот раз по-немецки. - Все самолеты, пересекающие береговую линию европейского материка..."

- Что они там говорят? То же самое, только по-немецки, да? - часто задышал в наушники Джимми. - Почему вдруг по-немецки? Ты честно скажи, это тебя ищут? Ты ведь немец, правда?

"...кто нарушит приказ, может стать объектом принудительной посадки".

- Ты лучше сознайся. Ведь если это тебя, может, нам вернуться? - рассудительно предложил Джимми. - А то все равно, посадят насильно, тебя схватят, а из меня будут жилы тянуть, всю жизнь отравят.

- Да не меня они ищут! За мной никаких грехов нет.

- Это ты брось! Если б за тобой ничего не было, ты бы тысячу фунтов за полет платить не стал.

Логично, ничего не скажешь. Пока Ури лихорадочно прокручивал в голове различные варианты ответа, способные успокоить Джимми, радио перешло на французский язык. "Все самолеты, пересекающие береговую линию..."

- Теперь по-французски то же самое завели. Видать, дело серьезное, раз они так напористо взялись.

Видно, что-то рассказать придется, но сделать это нужно хитро. Какую часть правды рассказать, какую утаить, какую сочинить?

- А если я тебе скажу, кого ищут и почему я денег не пожалел, ты мне поверишь?

- Зависит от того, что я услышу.

- Они ищут Патрика и того, который с ним улетел. И я их ищу, за то и заплатил.

- Что же они натворили?

- Они убили одну старую даму и украли ее драгоценности.

- Дорогие? - спросил Джимми с неожиданно жадным интересом. Похоже, драгоценности старой дамы привлекли его внимание больше, чем ее насильственная смерть. И тут до Ури дошло, почему Джимми не спешит развернуть самолет в сторону Англии: он не хо-

чет расставаться с полученными от Ури деньгами. Угадав это, Ури почувствовал себя гораздо лучше:

- Очень, - уверенно соврал он. А впрочем, это была не ложь, ведь кассета в кармане Карла стояла дороже любых драгоценностей.

- Значит, ты полицейский? - догадался Джимми.

- Не совсем. Я - частный сыщик.

- Выходит, тебе нечего бояться, если я сообщу наши координаты береговой охране?

- Нечего, - покривил душой Ури, вспомнив про фальшивый паспорт на имя Ульриха Рунге. - А что, обязательно надо им сообщать?

Глубокий вздох Джимми прозвучал в наушниках, как рев штормового моря:

- Обязательно. Ты же слышишь, что творится в эфире. Сто процентов посадят принудительно, если сами не доложимся. А тебе-то что? Ты ж говоришь, что тебе бояться нечего.

- Бояться нечего, кроме того, что если нас зацепят, преступники успеют удрать, - пожаловался в пространство Ури, но Джимми его не слушал. Его мысли уже побежали по другой дорожке:

- Только давай сперва договоримся, куда мы летим.

- Ведь мы уже договорились - ты везешь меня в Саарбрюккен, - возмутился Ури.

- Это мы раньше договаривались, а теперь все по новой начинать надо. Ну кто поверит, что я тебя за красивые глаза через пролив перебрасываю? А если сказать пограничникам, что за деньги, они нашим таможенникам тут же доложат, я этих гадов знаю! И с меня потом налог вычтут.

- А ты хотел утаить?

- Да я с налогом с тебя полторы тысячи взять бы должен!

Этот довод образумил Ури и он смирился:

- Так что же мы скажем?

- Мы скажем, что летим в Мец обедать. Там рядом с аэроклубом есть шикарный ресторан "Шез муа", - вдохновенно продекламировал Джимми. - Мы с женой прошлым летом летали туда отмечать годовщину свадьбы.

- Но почему в Мец, а не в Саарбрюккен?

- Какой идиот может полететь ужинать в Германию? Что там есть - свиной шницель? Вот во Франции жратва классная, а не та отравка, что у нас в Англии. Так что если они и вправду заставят нас приземлиться в Меце, мы хоть поедим там как люди.

Сообразив, что французы вряд ли обратят внимание на его фальшивый немецкий паспорт, Ури не стал спорить. А Джимми даже развеселился - мысль о французском обеде почти примирила с превратностями судьбы:

- Значит договорились, я тебя везу, а ты меня угощаешь, идет?

- На какие шиши, интересно, я могу тебя угостить, когда ты меня полностью обчистил, - взорвался Ури, который вовсе не стремился обедать в Меце.

- Ладно, двадцать фунтов я тебе верну, - нехотя согласился Джимми.

- Ты шутишь? Пожрать во французском ресторане вдвоем на двадцать фунтов?

- Больше ты ни гроша с меня не получишь! Ведь это ты впутал меня в историю с береговой охраной, так что сам ты можешь не есть вообще. А на мой обед двадцати фунтов хватит.

Найдя это остроумное решение денежной проблемы, Джимми успокоился и принялся вызывать береговую охрану. Однако когда радист сторожевой башни услышал, откуда они вылетели, он велел им немедленно совершить посадку на прибрежном военном аэродроме. Но Джимми не уступил - он стал красноречиво расписывать предстоящий им обед и сетовать на абсолютно разрушительное влияние опоздания на качество заказанных блюд. Радист оказался настоящим французом, - выяснив название ресторана и предполагаемое меню, он смиростивился. Он зарегистрировал их паспортные данные и позволил им долететь до Меца при условии, что они приземлятся на летном поле местного аэроклуба, где их будет поджидать представитель французской полиции.

- Хорошо, что я запомнил меню нашего прошлогоднего обеда! - воскликнул довольный собой Джимми, но тут же снова забеспокоился. - А вдруг он вздумает проверить, заказывали мы обед или нет?

- А ты возьми и закажи, - посоветовал Ури, напряженно обдумывая, как бы избавиться от этого совершенно неуместного праздника чревоугодия.

Однако обед оказался наименьшим из поджидавших его зол. Французский полицейский, не знающий ни слова по-английски, проверив их паспорта, объяснил им на театральной смеси жестов и трудноузнаваемых немецких слов, что им придется проследовать с ним в центральную жандармерию для проверки документов. На этот раз никакие сожаления Джимми по поводу остывающего обеда не помогли, их посадили в полицейскую машину и под оглушитель-

ный вой сирены помчали по городу. Глядя на мелькающие за окном уютные, увитые плющом дома, Ури поинтересовался:

- А после Меца мы полетим в Саарбрюккен?

- Ты что? - ужаснулся Джимми. - Это невозможно, они ведь за мной проследят! Так что мне придется лететь обратно.

Ури понял, что спорить бесполезно, да и времени не осталось - они уже въехали через двустворчатые ворота в мощный крупным булыжником двор. Двое полицейских забрали их паспорта, а потом, вежливо, но настойчиво наступая им на пятки, провели их через караульное помещение и оставили в давно не беленой пустоватой комнате, мебелированной тремя стульями и обшарпанным письменным столом. Сквозь высокое зарешеченное окно можно было любоваться на уже знакомые булыжники двора, сквозь которые не пробивалась ни единая травинка.

Как только дверь за полицейскими затворилась, Джимми плюхнулся на стул и заскулил:

- Ну для чего, для чего я ввязался в это дело?

- Чтобы заработать, - безжалостно напомнил ему Ури и подошел к окну. Если закинуть голову назад и прижаться к стеклу щекой, можно было увидеть запертые ворота и стоящего на часах караульного. Похоже, убежать из этой западни было непросто, да, пожалуй, и неразумно.

Время тянулось бессмысленно медленно. Про них с Джимми, кажется, забыли - за дверью топали, громко смеялись, шуршали чем-то пластмассовым, но все это не имело к ним никакого отношения. Ури посмотрел на часы, - с тех пор, как они приземлились, прошел уже целый час. Очень может быть, что Карл уже добрался до замка. При этой мысли в его воображении замелькали картины, одна страшней другой.

- Да перестань ты мельтешить перед глазами! - выкрикнул вдруг умолкший было Джимми. - Что ты все мечешься и мечешься, голова от тебя кругом идет!

Ури вздрогнул, словно разбуженный этим вскриком, и ощутил напряжение в икрах - надо же, выходит, все это время он, сам того не замечая, с равномерностью маятника шагал из угла в угол. Он остановился и присел рядом с Джимми, который вдруг резко выбросил вперед руки и с неожиданной силой толкнул его со стула.

- Нечего садиться! Иди, сделай что-нибудь, хоть дверь башкой пробей! А то эти идиоты про нас совсем забыли.

Ури невольно представил себе, что "идиоты" все это время выясняют, кем и когда был выписан паспорт на имя Ульриха Рунге, одна-

ко все же подошел к двери и начал колотить в нее кулаками, без особого, впрочем, энтузиазма. В ответ на его стук топот и смех за дверью слегка приутихли, раздался звук отпираемого замка и в комнату заглянула голова в жандармской шапке:

- Зачем шуметь, - сказала она добродушно на отдаленном подобии немецкого языка. - Незачем шуметь, компьютер капут.

И исчезла. Но оказалось, что даже Джимми понял смысл исковерканных немецких слов.

- У них компьютер капут, а мы должны ночь провести в этой катажке? - взвыл он и ринулся к двери, за которой уже снова загалдели и затопали. Джимми принялся с остервенением колотить в дверь не только кулаками, но коленками, башмаками, и, как показалось Ури, даже пару раз стукнулся об нее головой, выкрикивая при этом:

- Вот вам капут! И еще один капут! И еще капут в придачу!

Никакого действия на веселую коридорную жизнь его отчаянная демонстрация не возымела, там продолжали топать и гоготать. Через пару минут Джимми осознал безнадежность своих усилий, отошел от двери и улегся на пол, пробормотав устало:

- Хоть бы матрац дали, лягушатники поганые, чтоб они сдохли.

И тут же уснул. Ури секунду поколебался и растянулся рядом с ним, пытаясь сосчитать, сколько ночей он уже не спал. Лоскутные воспоминания последних событий замелькали перед глазами, так что пришлось их на миг прикрыть, после чего он немедленно погрузился в обрывочный полуборморок-полусон.

## Хелька

Хелька почувствовала, что Марта стоит посреди их заросшего сорной травой двора, задолго до того, как могла бы ее увидеть. Она еще даже не дошла до засохшего вишневого дерева, за которым их переулочек отступал от главной улицы, как в ноздри ей ударил знакомый кисло-сладкий запах пота, сдобренный едким привкусом раздражения и земляничного мыла. По этому запаху Хелька не только безошибочно узнавала Марту еще издали, но и безошибочно определяла, на кого направлена ее злая воля. Когда Марта думала не о ней, а о Клаусе, вместо раздражения к ее запаху примешивался привкус подушки, мокрой от слез.

Способность различать все эти тонкости на нюх появилась у Хельки еще в Польше, вскоре после того, как пьяный отец нечаянно опрокинул на нее кастрюлю с кипящим бульоном. Ей было тогда года три,

не больше, но страшные подробности этого события врезались ей в память навечно, - вкусное бульканье бульона на керосиновой плитке, сбивчивое бормотание отца, отчаянный вскрик мамы и сверкающий золотыми блестками жира поток невыносимой боли, обрушившийся на нее с высоты. Потом было еще много боли, но уже не такой жгучей, а долгой и тусклой. И много унылых комнат с голыми стенами, куда ее привозили на скрипучих каталках и раздевали под взглядом чужих глаз, нацеленных на нее поверх белых марлевых повязок. Когда она, наконец, опять очутилась дома, изрядно хромая и прижимая к боку малоподвижную правую руку, знакомая кухня показалась ей низкой и тесной, - так сильно она выросла с тех пор, как ее отсюда увезли на воющей от боли машине "скорой помощи".

Хромать Хелька так и не перестала, однако постепенно научилась отлично управляться со всеми нужными делами одной левой рукой. А главное, у нее развился удивительный дар угадывать настроения окружающих по мельчайшим оттенкам их запахов. Сначала она думала, что другие люди различают запахи так же подробно, как и она, но постепенно ей открылся уникальный характер ее прозрений, и она стала охотно пользоваться ими для устройства своих дел, не признаваясь в этом никому, даже Клаусу,

Вот и сейчас, издали унюхав присутствие Марты, Хелька решила избежать встречи с ней, хоть не могла отказать себе в удовольствии убедиться, что не ошиблась, и что Марта и впрямь приехала и стоит перед их домом, подкарауливая Клауса. Для этого она миновала свой переулочек и, пройдя мимо трех последних домов деревни, свернула с дороги и углубилась в окаймляющую ее сосновую рощицу. Стараясь не хрустеть сломанными сучьями, Хелька прошла через рощицу и прокралась по узкому проходу между двумя дворами, ведущему к их переулочку. Ступая как можно тише, что было не так-то просто с ее хромой ногой, она умудрилась неслышно добраться до высокого куста шиповника, сквозь ветви которого можно было рассмотреть ворота их дома.

Нюх не подвел Хельку - Марта была тут как тут, она топталась возле ворот, явно намереваясь дожидаться возвращения Клауса. Когда Хелька бесшумно раздвинула ветви шиповника, чтобы получше разглядеть, что Марта собирается предпринять, та вдруг дернулась всем телом и опрокинула горшок с засохшим цветком, в который они с Клаусом раньше прятали ключ. Горшок рухнул вниз и со звоном раскололся на мелкие черепки. Ну и Бог с ним, - все равно они пе-

рестали оставлять там ключ с тех пор, как Марта однажды приперлась сюда в их отсутствие и перевернула все в доме вверх дном.

Хелька осторожно выбралась из объятий шиповника и поспешила через рощу обратно в деревню. Хотя она и рисковала столкнуться там с Мартой, если бы та все же решила отправиться на поиски сына, другого выхода у нее не было, - нужно было поскорей предупредить Клауса, что его стерва-мамка и впрямь притащилась за ним, как и грозились в свой прошлый приезд. С облегчением убедившись, что на главной улице Марты пока не видно, Хелька припустила так быстро, как только позволяла ей хромая нога, к мосту, за которым начиналась горная дорога, ведущая в замок. Однако перед самым мостом она споткнулась, неловко упала на искалеченную руку и почувствовала, что ей будет непросто преодолеть круто взбегающий вверх серпантин. Не желая сдаваться, она перешла мост и усталилась на приклеенное к столбу расписание автобуса, хотя знала его наизусть, - расписание подтвердило, что послеобеденный автобус давно прошел, а вечерний будет не скоро.

Хелька села на нагретый солнцем камень, скрытый густыми зарослями ежевики от тех, кто приближался к мосту со стороны деревни, и приготовилась ждать Клауса столько, сколько понадобится. Очень хотелось есть и пить, и в уборную по-большому, но она не решалась покинуть свой пост, чтобы не пропустить Клауса, когда он скатится с горы на велосипеде. Он, конечно, будет ехать сверху на большой скорости и если она его прозевает, то уже никогда не сможет догнать или докричаться - река под мостом шумит так громко, что он все равно не услышит.

И тогда он сходу попадет в руки своей чокнутой мамки, которая увезет его Туда. Хелька была уверена, что если Клаус опять попадет Туда, она больше никогда его не увидит. От этой мысли ей стало так муторно, как будто это уже случилось - Клауса уже разлучили с ней и заперли Там навсегда, а куда ей без него деться? Если бы она даже захотела вернуться к отцу и братьям, из этого ничего бы не вышло. Их уже нет в убогом лесном домишке, от которого ей ни разу не удалось доковылять ни до школы на дополнительные уроки немецкого, ни до церкви на репетиции хорового кружка. Впрочем, если бы они еще там жили, про репетиции пришлось бы забыть, - отец ни за что не позволил бы ей ходить на спевки в здешнюю в церковь. Он даже не пришел с ней попрощаться, когда нашел работу в другом месте и увез от нее братьев. Он вычеркнул ее из их жизни, не желая простить ей, что она поет в хоре у этих проклятых лютеран.

Отец раньше не был таким набожным, он просто слегка спятил после смерти мамы, когда до него дошло, что теперь ему в одиночку придется заботиться о своих маленьких сыновьях, - кормить их, лечить, стирать, водить в детский сад. От Хельки проку было мало, хоть она была старшая, - с ее сухой рукой и хромой ногой нянька из нее вышла никудышная. Да и смотреть на нее ему было тяжело - длинный шрам, криво стягивающий ее правую щеку от глаза к уголку рта, всегда напоминал ему, что это он опрокинул на нее кастрюлю с кипящим бульоном. Так что он в конце концов обратился за помощью к господину Богу и какую-то поддержку в ответ на свои молитвы, похоже, получил. После чего совсем потерял разум, все больше укрепляясь в страстной преданности матери-Богородице и в не менее страстной ненависти к еретикам-лютеранам.

Когда тяготы быта заставили его искать убежища в богатой Германии, он сперва утешался мыслью, что и там есть католики, но беспощадная эмигрантская судьба, как назло, занесла их в этот отдаленный уголок, где только-то и была одна-единственная церковь и та - протестантская.

Отец, конечно, не сдался, не такой он был человек. В убогой лесной избушке, выделенной их семье местной благотворительной общиной, одну комнату из трех он превратил в домашнюю часовню, в которой никому не позволялось ни есть, ни спать, хоть им было тесно впятером в двух оставшихся для мирской жизни клетушках. С истовой откровенностью он молился в своей часовне по утрам и вечерам, принуждая детей молиться вместе с ним. Братья неохотно подчинялись, побаиваясь тяжелой отцовской руки, а Хелька обычно уклонялась, пользуясь своей дорого заработанной неприкосновенностью.

Чтобы избежать столкновений с отцом, она приспособилась удирать из дому на целый день, - рано утром ее увозил школьный автобус, с которым она должна была бы возвращаться после занятий, но не возвращалась. Сперва под предлогом уроков немецкого языка, хоть приходилось скрывать от отца, что их организовал для нее местный нечестивый пастор Кронах, очарованный ангельским Хелькиным пением. А потом и без всякого предлога.

Это началось, когда Хелька первый раз пропустила школьный автобус и осталась в деревне после школы. Она не могла заставить себя вернуться домой, где отец буйствовал после очередного увольнения, - он с вечера сильно напился и полночи терзал сыновей, заставляя их без перерыва стоять на коленях перед деревянной статуэткой

девы Марии. Статуэтку эту он вывез из Польши в одном из узлов с их жалкими пожитками и хранил, как зеницу ока. Хельку отец не принуждал молиться, но она все равно не могла уснуть и перед самым рассветом ворвалась в часовню, со слезами умоляя отца позволить братьям лечь в постель, чтобы они не проспали школьный автобус. Отец, не прерывая молитвы, сперва погрозил ей кулаком, но через пару минут все же отпустил мальчиков вялым взмахом руки. Однако было уже слишком поздно, и Хельке не удалось утром разбудить Кшиштофа, самого младшего, - в ответ на ее призывы он только горько всхлипывал и глубже зарывался в подушку.

Представив себе, как отец проснется с тяжелой головой и, обнаружив спящего Кшиштофа, начнет с похмельной тоски новый цикл запоя и покаяния, Хелька почувствовала, что еще один такой день ей не вынести. Для начала она отказалась от школьного завтрака, чем сэкономила деньги на городской автобус, которым вечером можно будет вернуться обратно. Обеспечив таким образом свое будущее, она отправила братьев домой на школьном автобусе и осталась стоять одна-одинешенька посреди круглой площади перед ратушей.

Озираясь по сторонам, она медленно пошла по главной улице, разглядывая жилые дома и витрины магазинчиков. Все вокруг казалось ей красивым и приветливым - многокрасочные цветники, отделяющие дома от тротуаров, фарфоровые гномтики, тут и там выглядывающие из-под ветвей. Особенно очаровала ее витрина мясной лавки, в которой было выставлено не менее ста сортов колбасы и сосисок. Рот Хельки наполнился голодной слюной - она даже не знала, что на свете существует столько разных колбас! Невозможно было представить себе жизнь людей, которые могли каждый день выбирать себе на завтрак новый сорт колбасы.

Хелька так загляделась на витрину мясной лавки, что чуть не опрокинула выставленную вдоль тротуара длинную перекладину, сплошь увешанную маленькими пластиковыми плечиками, на которых болтались пестрые детские одежки. Хелька тут же позабыла о колбасе - жизнь людей, одевающих своих детишек в эти крохотные нарядные вещички, привиделась ей еще более заманчивой. Она с трудом оторвалась от витрины и поспешила дальше, судорожно сжимая в кулаке заветные денежки на обратную дорогу, которых все равно не хватило бы ни на колбасу, ни на детские штанишки. С каждым шагом голова ее становилась все легче и прозрачней, пока не стала почти невесомой, так что на ней можно было бы взлететь, если хорошо разбежаться.

До сих пор Хелька сразу после школы возвращалась домой, а те несколько раз, что им приходилось посещать официальные инстанции или супермаркет, они ходили по деревне всей семьей и внимание Хельки было сосредоточено на братьях. Зато теперь она была сама себе хозяйка и могла делать все, что ей было угодно. И хоть она даже представить себе не могла, что ей угодно, это ее не смущало - она была уверена, что сегодня с ней случится нечто важное и необыкновенное.

Поэтому ее несколько не удивило стройное пение, доносящееся откуда-то с небес - нежные голоса, мужские и женские, разбегались, рассыпались бисером, чтобы, пустившись вдогонку друг за другом, соединиться вновь и слиться с музыкой, которая поднималась им навстречу из неизведанных земных глубин.

Хелька пошла на голоса. Чем ближе она к ним подходила, тем больше запахов улавливали ее ноздри, их было так много, что было трудно отделить один от другого, они сплетались в гирлянды, как голоса. Но один запах отличался от остальных, он властвовал над ними, по его воле музыка взмывала вверх, а голоса рассыпались в пространстве. Хелька завернула за угол и увидела церковь, - хоть она была совсем не похожа на католические церкви, к которым она привыкла в Польше, Хелька сразу догадалась, что это церковь. Обычно застенчивая до слез, она на этот раз и не подумала стесняться, - она чуть-чуть приотворила тяжелую дверь и проскользнула в прохладную полутьму, освещенную лишь слабым трепетным пламенем горящих перед алтарем свечей.

Хор стоял лицом к свечам, охватывая полукругом одинокую фигуру, сидящую за пультом органа, и, похоже, никто не заметил Хельку. Она осторожно подошла поближе и убедилась, что именно органист был источником запаха, который властвовал над остальными.

На душе у Хельки стало вдруг тихо-тихо, как бывало в детстве, когда мама брала ее на руки. И в этой душевной тишине ей стало слышно, что хор выводит знакомую мелодию. Ну конечно, это был тот же псалом, который пели у них в люблинской церкви, только там слова были на латыни, а тут по-немецки. Пренебрегая немецким звучанием текста, Хелька подхватила мелодию псалма и включилась в пение хора, - она сама не могла бы объяснить, какая сила заставила ее это сделать. Сначала никто не обратил на нее внимания, потом несколько голов обернулись на звук ее голоса, а потом человек за органом сделал какой-то знак и все замолчали.

И Хелька осталась наедине с музыкой, льющей из органа. Она попыталась было прекратить пение, но органист махнул ей рукой: "продолжай!" и она подчинилась - она повела мелодию одна, без поддержки других голосов, уносясь все выше и выше, сперва под купол церкви, а потом еще выше, под самые небеса.

Никогда в жизни она еще не пела так хорошо. Она пела про несчастную, никому не нужную хромоножку, одинокую среди чужих людей, говорящих на непонятном языке, затерявшуюся среди чужих нарядных домов, где для нее нет и не будет места. Она пела про красивые цветы перед этими домами и про аппетитные пирожные, выставленные в витрине кафе, куда она никогда не решится войти, и про недоступные колбасы в окне мясной лавки. А главное, она пела про то, что у нее нет никакой надежды быть такой, как эти дети из хора, которые спокойно едят пирожные и колбасу, даже не подозревая, какое это благо.

Псалом кончился и в церкви стало тихо. Не говоря ни слова, органист снова тронул клавиши, и Хелька узнала мелодию другого псалма. Органист властно подал ей знак, и она снова послушно запела, уже не помня себя, а просто растворяясь и утопая в музыкальном потоке. Прослушав один куплет, органист кивнул кому-то справа и сказал "Клаус!", и к ней присоединился еще один голос, почти мужской, но все же еще мальчуковый - странный, ломкий и нежный. Хоть она пела на латыни, а он по-немецки, голоса их сразу нашли друг друга, они слились в один переливчатый голос и заполнили все пространство церкви.

- Ты что, здесь живешь? - спросил органист, поднимаясь из-за пульта, и только тут Хелька заметила его пасторский воротничок. - Я тебя раньше что-то не встречал.

Что было делать? Нужно было отвечать, а ее немецкого тогда едва хватало на самые примитивные операции, вроде покупки хлеба и молока:

- Я там... в лес, по дороге... с отец и три братья... - робко пролепетала она, но пастор сразу догадался:

- Так ты из польской семьи! Вот почему ты поешь на латыни!

"Азюлянты, азюлянты," - зашелестели голоса за спиной, но Хелька не обернулась, она уже знала, что "азюлянт" - это обидное прозвище, которое прилепилось к ним ко всем, к ней, к отцу и к братьям.

- У тебя прекрасный голос, - похвалил ее пастор. - Хочешь петь в нашем хоре?

Хелька смутилась окончательно - конечно, она хотела петь в хоре, очень хотела. Но ведь отец никогда не позволит, он убьет ее, если узнает!

“Что теперь будет? Что будет?” - испуг, казалось, затмил все остальные чувства, а губы тем временем, пренебрегая голосом разума, помимо ее воли проговорили: “Хочу!”

С этого впервые произнесенного ею вслух “Хочу!” начались перемены, перевернувшие всю ее жизнь. Хелька часто потом удивлялась, как это она решилась заявить о чем-то, что было нужно ей, а не кому-то другому - братьям, отцу, сердитому Боженке, недобро глядящему на нее со стены отцовской часовни. До того дня, когда она вслух осмелилась выразить свое сокровенное желание, она знала, что людям неприятно на нее смотреть, она ловила их ускользающие косые взгляды и стыдилась своего искалеченного тела. Но молодой бородатый пастор из нечестивой лютеранской церкви не поспешил отвести от нее глаза, он приветливо протянул ей руку и открыл двери в новый мир.

А в этом новом мире ее ожидал Клаус. Он тоже был уверен, что люди сторонятся его и стараются поскорей отвести глаза от его неудачного лица, похожего на плохо пропеченную, небрежно сплюснутую булку, с никогда не закрывающейся прорехой мокрого рта у самой нижней кромки. Но для Хельки не было в мире лица милей и краше.

Никто, никто, никто никогда не любил Хельку. Она всегда была для всех обузой, упреком, ненужным осколком разбитой жизни. Даже мама старалась не смотреть без нужды на неудачную дочь, а когда та попадалась ей на глаза, начинала тихо плакать, повторяя сквозь слезы: “Бедная моя, лучше б ты умерла!”

И Хелька привыкла верить, что всем было бы лучше, если бы она умерла. И когда мама неожиданно скончалась от сердечной болезни, Хелька была искренне согласна с отцом, который без конца повторял, что это ее вина, и что отправиться на тот свет следовало не маме, а ей, Хельке.

Один Клаус на всем белом свете думал о ней иначе. Сначала они просто пели дуэтом - пастор Кронах два раза в неделю оставлял их еще на час после спевки хора и они под его аккомпанимент разучивали все новые и новые псалмы. А еще два раза в неделю он оставлял Хельку на дополнительные уроки немецкого языка, чтобы она смогла, наконец, перестать петь на латыни. И Клаус всегда тоже оставался с ней, уверяя пастора Кронаха, что и ему полезно немно-

го подучить немецкий. Потом он провожал ее к автобусу, стараясь приспособиться к ее неровному шагу и никогда не сердился, что хромота мешает ей идти быстрее. Постепенно Хелька привыкла к его асимметричному лицу с постоянно открытым мокрым ртом и научилась с интересом слушать его болтовню - он порой делился с ней удивительными вещами, о которых Хельке никто до него не рассказывал.

Хельке было непросто уговорить отца позволить ей оставаться в деревне на дополнительные уроки немецкого, вместо того, чтобы возвращаться вместе с братьями на школьном автобусе. О спевках хора она даже не упоминала, надеясь, что отец не скоро о них узнает. Но он в конце концов узнал - одна восторженная любительница хорового пения, встретив его в супермаркете, заперла его в угол коляской с продуктами, чтобы выразить свое восхищение ангельским голосом Хельки. Он сперва не понял, о чем она толкует, но Хелька поняла сразу и, зажмурив глаза, с ужасом ожидала, когда до него дойдет трудно различимый иноземный лепет старой дамы. Хелькин немецкий был уже достаточно хорош, чтобы она смогла выловить из общего словесного потока отдельные знакомые выражения, вроде "...святые тексты... подумать только, такая беда... бедняжка... но Бог дал ей взамен... такой диапазон... высокий регистр..." - ясно было, что речь идет о ней.

Отец терпеливо выслушал эти сбивчивые похвалы, вежливо улыбнулся, промямлил "Данке шьон", как его научила приставленная к их семье социальная работница фрау Астрид, и, толкая перед собой коляску с продуктами, направился к кассе. Всю дорогу домой он хмуро молчал, и Хельке оставалось только гадать, понял он что-нибудь из того, что услышал, или нет. И молить Бога, чтоб не понял. Но едва они вошли в свой домик, он отшвырнул в угол сумки с покупками и вцепился ей такую оплеуху, что она отлетела к стене, сильно ударившись хромой ногой о кровать. Боль была такая пронзительная, что она громко вскрикнула, сама удивляясь петушину звуку, исторгнутому ее горлом. Этот крик, по-видимому, отрезвил отца, - уже разогнавшись было для нового удара, он вдруг застыл с занесенным над ее головой кулаком, какую-то долю секунды простоял так, сверля ее невидящим яростным взглядом, а потом отшатнулся и прохрипел:

- Вон отсюда, отступница! И чтоб духу твоего тут больше не было!

Не помня себя, Хелька выскочила на шоссе и заковыляла прочь от дома, то и дело оглядываясь через плечо, чтобы убедиться, что отец за ней не гонится. Но он даже не вышел из дому посмотреть, где она и что с ней. Только братья с плачем побежали было за ней,

умоляя вернуться, но отец грозно прикрикнул на них из-за двери и они послушно, как маленькие собачки, поплелись назад, то и дело оглядываясь, не идет ли она вслед за ними.

Но она уже знала, что не вернется. Правда, было неясно, куда она бредет, - ведь и в хорошем состоянии она едва ли способна была пройти до деревни, а сейчас ушибленная нога тормозила ее движение больше, чем обычно. Кроме того, небо заметно потемнело и начал накрапывать противный холодный дождь, а на ней была только легкая блузка и сандалии на тонких ремешках.

Неясно было, добралась ли бы Хелька до деревни или нет, но, на ее счастье, ее догнала красивая голубая машина, за рулем которой сидела красивая нездешняя дама с голубыми глазами, - во всяком случае, Хелька никогда ее до сих пор не видела. Дама все-таки оказалась здешней, это была фрау Инге, владелица старинного замка, - его высокие башни можно было увидеть с церковной колокольни, на которую она несколько раз взбиралась вместе с Клаусом, когда пастор посылал того вместо себя звонить в колокола. Наверху всегда дул холодный ветер и казалось, что колокольня слегка качается, так что Клаусу приходилось поддерживать Хельку одной рукой, чтобы ей было не так страшно.

И вот однажды, когда они стояли на крохотной каменной площадке под самым небом, Клаус вдруг наклонился и поцеловал Хельку в ямочку у основания горла, - она так смутилась, что оттолкнула его от себя слишком резко и он, наверно, обиделся. Он отшатнулся от нее, нахохлился и промолчал всю дорогу до автобуса. К великому огорчению Хельки он больше не пытался ее поцеловать и даже перестал приглашать ее подниматься с ним на колокольню. Так что ей давно уже не приходилось поглядеть издали на таинственный замок на горе.

Зато теперь Хелька увидела этот замок вблизи и даже была впущена вовнутрь, потому что фрау Инге, услышав, что Хельке некуда деться, взяла ее с собой. Удивительно, что Хелька никогда ее раньше не видела, а она знала о Хельке все - не только про пение в церковном хоре, но и про братьев, и про отца с его часовней, и даже про Клауса. Хелька еще не успела толком удивиться, откуда фрау Инге все это известно, как из-за крутого поворота дороги навстречу машине выступила высокая зубчатая стена, увенчанная квадратной, тоже зубчатой, башней. Над этой башней к небу возносились еще одна башня, тоже зубчатая и квадратная, а над ней еще выше виднелась отвесная малиновая скала. При виде этой невероятной красоты у Хельки перехватило дыхание.

Тем временем тяжелые ворота распахнулись, голубая машина въехала во двор, а за воротами стоял Клаус и удивленно смотрел на Хельку своими очень светлыми, почти белыми, прозрачными глазами. "Откуда ты взялась?" - спросил он, помогая ей выйти из машины.

Узнав, что отец выгнал Хельку из дому, он пригласил ее жить у него - в его доме полно пустых комнат, сказал он, в которых никто не живет, кроме пауков. "Теперь мы сможем репетировать каждый день, раз тебе не надо спешить домой, - сказал он, - заодно и пауков распугаем".

Нельзя сказать, чтобы мысль о пауках сильно вдохновила Хельку, но их оказалось не так уж много. Вооружившись щеткой на длинной ручке, Хелька тут же вымела их всех за порог и выбросила в сад. Убить пауков она не решилась - у них в Польше это считалось дурной приметой. А Хелька не хотела, чтобы что-нибудь дурное случилось у них с Клаусом, потому что у них началась настоящая любовь. Не сразу, а с того вечера, когда после ужина, который они приготовили вместе, она сама подошла к нему и поцеловала в губы.

Конечно, она очень волновалась, - а вдруг ему будет противен ее поцелуй и он оттолкнет ее из-за хромой ноги и ужасного шрама, навсегда искривившего ее верхнюю губу. Но он не оттолкнул ее, а наоборот, прижал к себе и выдохнул куда-то за ухо:

- Так тебе не противно целовать меня?

И тут она поняла, что он такой же одинокий и несчастный, как она, и что только с нею ему будет хорошо, как и ей с ним. Теперь она целые дни думала о нем - повторяя уроки в школе или пересаживая из ящиков в горшки молодые побеги в цветочном магазине, куда ее устроила фрау Инге.

А о ком ей еще было думать? Отец и братья пропали бесследно месяца три назад. Это обнаружилось одним ужасным утром, дождливым и хмурым. Хелька, как всегда во время переменки, побежала на первый этаж проведать братьев, но их не было в коридоре, где они обычно ее поджидали. Испуганная, она заглянула в их классы, но там их тоже не было. Тогда она, как была, без пальто, припустила под дождем в детский сад, куда ходил самый младший, ее любимец Кшиштоф. Но и его она не нашла в игровой комнате.

Молодая нарядная воспитательница, удивленно поднимая нарисованные коричневым карандашом брови, не поверила Хелькиным заверениям, что та даже не слышала об отъезде своей семьи. Но Хельке было наплевать на недоверие воспитательницы. Не все ли ей было равно, что думает о ней эта чужая, довольная жизнью блон-

динка, когда единственные родные ей люди покинули ее, не оставив даже адреса? Теперь у нее не было на свете никого, кроме Клауса.

А сегодня его бесноватая вонючка-мать приехала забрать и его, - чтобы у Хельки совсем ничего не осталось. Хелька вспомнила исходивший от Марты острый запах отчаянной решимости, обжегший ей ноздри даже сквозь густой заслон листвы цветущего шиповника, и ужаснулась, - а вдруг той взбредет в голову взгромоздиться на свой старый велосипед и отправиться за Клаусом наверх, в замок? Да нет, тут же утешила она себя, - вряд ли даже потерявшая разум мамка Клауса отважится заявиться в замок в разгар военных действий, которые развернулись за последний год между ней и фрау Инге. Кроме того, зачем бы ей туда тащиться так поздно? Она ведь не знает, что с тех пор, как Ури уехал, Клаус работает до самого ужина.

И все же, несмотря на все эти самоуговоры, Хелька не стала полагаться на здравый смысл Марты. Пренебрегая жаждой, голодом и настойчивыми толчками в кишечнике, она попрочней уселась на теплом камне за кустом ежевики, так чтобы ей был виден и мост через реку, и асфальтовая лента шоссе, выходящая сверху из-за морщинистого бока гранитного кряжа. Хелька готова была сидеть так до ночи и даже до утра. Она взвинтила себя до такой степени, что готова была на все, только бы не позволить Марте забрать Клауса Туда.

## Инге

Ехать домой не хотелось. С тех пор, как Ури умчался невесть куда по таинственному призыву своей родины, Инге стало казаться, что их счастливой совместной жизни пришел конец. Порой ей даже чудилось, что никакой такой жизни с Ури у нее вовсе и не было, она ей просто приснилась. Тем более, что перед отъездом он старательно уничтожил все внешние следы своего пребывания в замке - запер в подвальную кладовую свою одежду и обувь и, тщательно выбрав из альбомов свои фотографии, сложил их в большой конверт и куда-то увез.

Он не сказал Инге, когда он вернется, и не обещал ни писать, ни звонить. Он объяснил ей, что его родина строго-настрога запретила ему всякое с ней общение, хоть по почте, хоть по телефону, так что даже надежда на его телефонный звонок не могла удержать ее дома. Он, правда, заверил ее, что раз телепатия в полномочия родины не входит, она может наладить с ним телепатическую связь, чего он - увы! - сделать не способен. "Телепатическая связь - это улица с односторонним движением, - объявил он, накручивая на палец прядь ее

волос. - Вам, ведьмам, ничего не стоит настичь человека на любом расстоянии, а нам, простым смертным, это не дано, как ни старайся“.

Инге уже так хорошо его изучила, что насмерть испугалась этой полусерьезной полушутки, - его губы улыбались, а глаза нет, и рука его касалась ее волос слишком нежно, словно он прощался с ней навсегда. Уж не потому ли при каждой попытке наладить эту хваленую телепатическую связь она натыкалась на какие-то огорчительные подробности, вроде двух недоброжелательных к ней женских полей, окружающих Ури плотным кольцом и полностью поглощающих все направленные на него волны?

Инге пробовала оправдать свои телепатические неудачи отрицательным влиянием непрестанно гложащей ее душу ревности, но два неожиданных ночных звонка Ури окончательно убедили ее, что в это дело вовлечены какие-то темные силы, борьба с которыми превышает ее скромные возможности. Звонки были расхристанные и невпопад, они следовали один за другим с разрывом в пару часов, и оба раза ей было неясно, зачем он звонил и что хотел сказать. Вместо радости от того, что он цел и невредим и она слышит его голос, от этих звонков остался горький осадок и невнятный, но очень основательный страх. Очень основательный, хоть, казалось бы, ничем не обоснованный.

И даже признание Ури о том, что рядом с ним каким-то непостижимым образом оказалась его возлюбленная мамочка, ничуть не утешало, хоть и объясняло наличие одного из женских полей. Во-первых, мамочка эта, - по слухам, красotka, которую Инге никогда в глаза не видела - даже и не пыталась скрыть свою неприязнь к немецкой подруге сына, а во-вторых, другое поле, возможно более опасное, все еще оставалось нерасшифрованным. А главное, после этих неурочных звонков Инге стало ясно, что Ури чем-то сильно обеспокоен. Чем-то реальным и обоснованным, о чем хотел ее предупредить, но не сумел.

Опустив голову на скрещенные на руле руки, Инге сидела на опустевшей стоянке у супермаркета, терзаясь немотивированной тревогой за Ури, за себя и за нетерпеливо колотящего ее пятками младенца. Впрочем, может, он колотил ее не пятками, а коленками, но это было не важно. Важно было без происшествий доехать с ним домой, принять душ, поужинать и приготовиться к сегодняшней вечерней экскурсии по подвалам замка, - тоже с ним, потому что он еще не дорос до того статуса, при котором можно было бы сунуть ему в рот соску и оставить спать в колыбельке.

Еженедельные вечерние экскурсии с недавнего времени стали неотъемлемой частью ее жизни, необходимой для подготовки к предстоящему вскоре переходу на дни открытых дверей в конце каждой недели, когда любопытные толпы будут заполнять вновь отремонтированные башни и залы равномерно сменяющимися одна другую группами. Конечно, это стремительное превращение древних руин в увлекательный хеппинг было бы невозможно без самоотверженной помощи Ури и Вильмы. “А также, если бы отец был жив”, - подсказал изнутри противный неодобрительный голос то ли совести, то ли нерожденного младенца, словно упрекая Инге за смерть отца. Но ведь ее вины там никакой не было, если не считать того, что она была несправедлива к старику в его последние минуты.

Но она же не знала, что эти минуты последние, да и подозрения ее были весьма основательны - если он сжалился, черт знает почему, и не прикончил Ури, то уж Карла-то он, как потом выяснилось, и впрямь отправил на тот свет. Причем выбрал для него воистину ужасную дорогу, которую тот, может, и заслужил, но все же... По спине Инге в очередной раз пробежали мурашки, когда она вспомнила врученную ей Ури знакомую связку ключей, принадлежавших когда-то Карлу.

Младенец сердито пнул ее в бок, и поделом - что это на нее сегодня нашло? Откуда эти мысли об отце и о Карле, о которых она и думать забыла давным-давно? Что ей вдруг приспичило ворошить память о мертвых, мало ей, что ли, других волнений, более насущных и реальных? Инге попыталась взять себя в руки, но образы Карла не исчезали, они окружили ее со всех сторон, целый сонм его образов, то сероглазых, веселых и насмешливых, то изжелта-бледных, угрюмых и беспросветных. И настойчивей всех пялился на нее пустыми глазницами тот, последний, знакомый ей только по рассказам - обглоданный крысами череп, захороненный Ури в каменном мешке тайника.

Чтобы избавиться от этого наваждения, Инге поспешно нажала на газ и тронулась с места. Незачем было поддаваться соблазну праздного сидения посреди опустевшего асфальтового квадрата стоянки, когда дома столько дел, столько хлопот! Небось Вильма должна скоро приехать, чтобы еще раз пробежаться по последним записям предстоящей лекции и добавить недостающие штрихи. Да и фрау Штрайх надо помочь пересчитать входные билеты, - бедняжка Габриэла! Она так тяжело пережила гибель Отто, так искренно его оплакивала, что Инге поверила в ее бескорыстную любовь к старому инвалиду и наняла ее кассиршей в свое новое предприятие.

Пересекая мост, Инге заметила приютившуюся под скалой фигурку сидящей на камне Хельки. Инге показалось, что девчонка плачет и она притормозила рядом с ней:

- Что случилось? Почему ты здесь сидишь?

Так и есть - плачет.

- Она за ним приехала! - прорыдала Хелька, не утирая слез.

На Инге смотрели огромные прозрачно-зеленые в обрамлении темных ресниц глаза - лесные озера в зарослях камыша. Внешний угол левого глаза был деформирован стягивающим щеку неровным шрамом и Инге в который раз подумала, что если бы не опрокинутая по пьянке кастрюля бульона, девчонка могла бы вырасти настоящей красоткой. Что ж, возможно, кто-то более мудрый, чем мы, решает наши судьбы, и беда Хельки обернулась удачей Клауса. Ну кто мог надеяться, что и на его долю выпадет истинная любовь?

- Кто она? Марта?

Хелька закивала, не в силах произнести ни слова.

- Ну, и где она? - Инге уже стало ясно, что придется взять на себя решение проблемы Клауса, хоть ей это сейчас было совершенно некстати, - ведь без нее эти два несчастных щенка не сумеют вырваться из бульдожьей хватки Марты.

- Возле нашего дома... стоит... подстерегает... горшок с цветком разбила... - выдохнула, наконец, Хелька, забыв на миг, что никакого цветка в горшке давно нет. Потому что дело было вовсе не в цветке.

- Если он приедет домой, она его схватит и увезет Туда.

- Ну и что страшного, если даже увезет? Съедят его там, что ли?

- Ему Туда нельзя ни за что! - затрясла головой Хелька. - Они его оттуда не выпустят!

- Да зачем он им там нужен?

- Чтобы дом забрать, вот зачем!

Что ж, в ее словах был известный смысл. С тех пор, как Марта присоединилась к апокалиптической коммуне "Детей Солнца", она совершенно обалдела из-за запущенного, но добротного кирпичного дома, испокон веков принадлежавшего ее семье. Сразу после вступления в коммуну она подписала дарственную бумагу о передаче дома в собственность некоего Луи Жордана, так называемого Мастера Ордена "Детей Солнца". Мысль о Клаусе ее не беспокоила, - он принадлежал ей и она намеревалась взять его с собой. Однако в последний момент Клаус наотрез отказался уезжать из Нойбаха, хоть до того, по словам матери, не только охотно соглашался, но был да-

же очарован идеей новой жизни и проповедями Мастера - имя это Марта произносила с благоговейным трепетом.

Причина непреклонности Клауса выяснилась довольно быстро и привела Марту в непреходящее состояние бессильной ярости - дело было в том, что пока мать обдумывала детали своего судьбоносного решения, у сына началась его великая любовь с Хелькой. С этой любовью Марта ничего не могла поделать, она даже постигнуть ее была не способна. Она знала Клауса до Хельки, а Клаус при Хельке был совсем другой Клаус. Вернее, он был все тот же, но принадлежал теперь не Марте, а другой женщине.

И Марта растерялась. Сперва она его уговаривала, потом умоляла, а под конец стала угрожать, что если он не последует за ней, то окажется на улице. Не то, чтобы Марта жаждала обездолить сына, она просто хотела запугать его и подчинить своей воле.

Неизвестно, чем бы это дело кончилось, если бы в него не вмешалась Инге. Она подняла на ноги всю социальную службу района в борьбе за право Клауса остаться жить в своем фамильном доме. Силы на стороне Марты были немалые - оказалось, что многие уважаемые и обеспеченные люди присоединились в последние годы к Ордену "Детей Солнца". Но несмотря на то, что Орден поддерживал Марту деньгами и юридической помощью, Инге удалось добиться судебного запрета на передачу дома кому бы то ни было без согласия опекунского совета, защищающего права Клауса. Совет этот она сумела создать и зарегистрировать за рекордно короткий срок.

Марте не помогло предъявленное ею на суде медицинское свидетельство о недееспособности Клауса, - когда тот, умытая слезами, объявил, что лучше умрет, чем поселится с матерью на территории Ордена в Карштале, дело было решено в его пользу. Опекунский совет взял на себя ответственность за судьбу Клауса, в придачу к чему Инге обязалась обеспечить его постоянной работой у себя на свиноферме. Суд все же не обездолил Марту окончательно, он позволил ей заложить дом на длительный срок, чтобы она смогла выручить деньги, необходимые для вступительного взноса в Орден. Марта собрала свои пожитки и переехала в Каршталь, а Клауса с Хелькой на время оставили в покое. Но Инге было ясно, что это не надолго.

Конечно, эта борьба не улучшила отношения Инге с Мартой, и без того достаточно напряженные. Заплаканное личико Хельки на миг вернуло Инге в зал суда. Ей ясно привиделся злобно ощеренный рот Марты, изрыгающий страшные проклятия всем ее противникам и в

первую очередь, конечно, Инге. Воспоминание было не из приятных, - Инге терпеть не могла, когда ее проклинали, поскольку в глубине души верила в действенную силу проклятий. С трудом стряхнув побежавшие было по спине мурашки, она вышла из машины и присела на камень рядом с Хелькой:

- Почему ты думаешь, что она приехала за Клаусом?

- Она в прошлый приезд предупреждала. Говорила, скоро приеду и заберу с собой. Когда у них там будет церемония, что после той церемонии он вылечится.

- Что это за церемония, после которой вылечиваются?

- Не знаю, она не объяснила. Сказала только, что это будет самое важное событие в ее жизни. И в жизни Клауса тоже. А я не верю! Не верю! - Хелька опять зашлась плачем. - Там все такое... такое... не знаю, как объяснить... страшное...

- С чего ты это взяла?

- Я там была, я все видела!

- Ты там была? Я и не знала.

- Я обещала не рассказывать. За то, что она оставит нас в покое. Но раз она сегодня за ним приехала, я ничего ей не должна. Когда она поняла, что он без меня с ней не поедет, она потащила нас туда. Хотела уговорить, чтобы мы оба там остались.

- И вы не захотели?

- Мне там было страшно, - Хельку начала бить дрожь, так что зуб на зуб не попадал. - Я там была, как муха в киселе.

- Почему же ты сразу не уехала?

- Да как оттуда уехать? Это же в чаще леса и автобус туда не ходит! Нас повезла туда фройляйн Юта, вы ее знали? Красивая такая, аптекарша. Ну, раньше когда-то была красивая, а теперь аптеку продала, уехала жить в Каршталь и работает на овощном складе. У них там большой огород, так она картошку перебирает и складывает в мешки. Или морковь, или свеклу, когда что есть. Ходит в каком-то застиранном балахоне, а под ногтями у нее черные полоски, - грязь так въелась, что не отмывается...

Инге уже знала, что в Ордене "Детей Солнца" есть много обеспеченных людей, покинувших свои дома и семьи, но ей и в голову не приходило, что они перебирают там картошку и таскают тяжелые мешки. Аптекарша из соседнего городка и впрямь была красивая женщина, хоть и не первой молодости, но подтянутая и одетая по последней моде. Раньше Инге часто ездила к ней за лекарствами для Отто и всегда вос-

хищалась ее ухоженными руками, сверкающими серьгами и безупречной прической. А пару лет назад аптекарша куда-то исчезла и до Инге дошли смутные слухи, будто она продала свою аптеку и ушла в монастырь. В это трудно было поверить, уж очень она не годилась для монастырской жизни, но еще трудней было представить ее на овощном складе, в застиранном балахоне, с черными полосками под ногтями.

- Но все же эта Юта везла вас в своей машине? - перебила она Хельку, хоть сомневалась, что та знает ответ. Но Хелька как раз знала:

- Это уже не ее машина. Она нам всю дорогу объясняла, как это прекрасно, что у нее теперь нет ничего своего, потому что у них там все общее. И очень спешила скорей вернуться, чтобы закончить свою дневную работу.

- Значит, работа у нее все-таки своя, а не общая? - уточнила Инге.

- Ну да, там работа у каждого своя, а вот вещи у всех общие, - терпеливо, как маленькую, вразумила ее Хелька.

- У всех?

- Не знаю точно, но наверно у всех. Они там так выглядят, будто ничего у них нет и ничего им не надо. Худые, бледные, в каких-то облезлых одеждах, и пахнут как...как... ну, не знаю, будто все они там чего-то боятся... Женщины неподкрашенные, причесаны кое-как...

- А тебе-то что? Ты ведь и так не красишься. И собственности у тебя все равно никакой нет, - Инге постаралась, чтобы слова ее прозвучали разумно и успокаивающе. Но из этого ничего не вышло.

- У меня есть Клаус! - на пронзительной ноте взвилась Хелька. Летний наряд не шел ей, он выставлял напоказ узловатые шрамы на предплечье, обычно скрытые под одеждой. - А там его у меня отберут! Отберут! Отберут!

Инге уже приходилось быть свидетельницей Хелькиных истерик и сейчас у нее не было на это ни времени, ни сил. Нужно было остановить несчастную девчонку, пока та не вошла в необратимый штопор. Возражать ей было опасно, это бы только подлило масла в огонь, надо было придумать что-то помягче. Но думать было некогда и Инге осторожно положила руку на мелко трясущиеся худенькие Хелькины плечики, готовая к тому, что девчонка с криком рванется от нее прочь. Но плечики не отдернулись, а, чуть помедлив, придвинулись ближе и прильнули к Инге так плотно, что под ними стал ясно различим неровный перестук смятенного сердца - совсем как у птицы с переломанным крылом, которую Инге прошлым летом подобрала в лесу. Стараясь не спугнуть эту дрожащую птицу, Инге спросила почти шепотом:

- Что же такое они могут сделать, чтобы Клаус от тебя отказался?

Хелька секунду помотала головой, словно отгоняя какую-то невидимую муху и заговорила быстро-быстро, часто ошибаясь и вставляя польские слова попеременно с немецкими:

- Что они в пять утра встают, мне неважно, я могу и раньше встать, если надо. И даже когда нас сранья повели к этому секвою делать гимнастику для души, я не спорить и пошла.

- К какому секвою? - спросила было Инге, но тут же сообразила, что речь идет о дереве секвойя. Она и не подозревала, что секвойя растет в здешнем климате, но если кто-то двести лет назад привез ее сюда и посадил у себя в парке, то почему бы и нет?

Хелька даже не услышала ее вопроса, она продолжала все той же невразумительной скороговоркой:

- Нехай гимнастика, нехай для души, мне пшиско едно. Я рядом со всеми пристала спиной к тому секвою, не знамо навищо, но хай, раз так треба, чтоб через того секвойя получать энергию с космоса. Они все туда пришли и цельный час спиной к этому секвою прижмались. Може они ту энергию получали, не знаю, я ничего не получила. А потом на одной ноzi десять минут стояты, задля концентрации, потом на другой, но это я не змогла.

- А ты тоже должна была, как все? - перебила Инге, не столько из любопытства, сколько для того, чтобы притормозить стремительный поток Хелькиного косноязычия.

Хелька шумно выдохнула скопившийся в легких воздух и заговорила поспокойней, почти не смешивая языки и все реже путая падежи:

- Ну да, мы ж пообицялы, я та Клаус, что протягнем один день, как все они там. Ну вот и пошли на гимнастику, а после той гимнастики нам дали пять минут влезть в ихние саваны и идти на ихнюю службу, называется медитация.

- Что за саваны? Одежда такая, что ли?

- Не знаю, может, одежда а может, просто мешки с дырками для головы и где рукава, чтоб руки просовывать. Мы надели эти мешки и пошли по парку с мамкой Клауса, но тут на нас набежали две стареньки панны с платками в руках и сказали, что треба нам глаза завязывать. Клаус закричав, что он не хочет, чтоб глаза, но мамка его на него прыгнула, как скаженная. Вы ж ведаете его мамку, он и замовк. Нам глаза завязали и повели, сперва по дорожке, потом по ступенькам вниз. Ступенек было много, может целых сто, так что стало совсем хладно, как у погребни. И стали двери открываться, одни, дру-

ги, трети, а после нас закрываться и защевкнуться. Я бы забоялась - а вдруг она решила нас убить, чтоб дом забрать, но там были еще люди, они шли и шли и шелестели шагами, пока с нас не сняли те повязки. А там было такое...такое, не знаю, как и рассказать. Ну, вроде зала, така громадна, як в Люблине кино, только все стены в нем из зеркал. Одно зеркало в другом отражается, другое в третьем, а третье в первом, и так без конца. Свет почти не горел, только несколько маленьких лампочек, из-за зеркал нельзя понять, где они. И народу было много, тоже из-за зеркал нельзя сказать, сколько, тем более все в одинаковых саванах. Мы стали в полукруг лицом к высокой скамейке, на которую влезла одна из тех стареньких панн, что мне глаза завязывала. Она стала говорить что-то про мир вокруг, - что он грязный и развратный, и полный машин и всякой другой нечисти. И скоро должен погибнуть. И все люди тоже сгинут, останутся только те, что очистились и нашли путь. После, как она кончила, все стали молчать. Просто так стояли и молчали. У меня вже нога заболела стоять с ними и молчать, но тут заиграла громкая музыка и на скамейку взобралась еще одна панна, не такая старая, и начала спивать красивым голосом. Она спивала что-то вроде того, что наш хор спивает, но слова незнакомые. Я не все поняла, щось про конец свету и про то, шо скоро откроются двери и мы побачим дорогу на Сириус. Я хотела спросить кого-то, шо таке Сириус, но они на меня зашипели, як гуси. Так я и не узнала, где той Сириус.

- Сириус - это звезда. Она очень далеко, мы можем увидеть только ее свет за много-много миллионов километров.

- Так попасть туда нельзя? А я думала, это город или страна, потому что они все упали на колени, протянули руки к той, что спивала, и замякали, як котят: "Открой нам дорогу на Сириус! Дорогу на Сириус!" И были таки, шо плакали. Потом на нас снова надели повязки и повели вверх по ступенькам. Не успели мы выйти в парк, как Марта велела, чтобы мы скорей бежали переодеваться в обычную одежду, а то опоздаем к завтраку. На завтрак каждый должен принести свою тарелку, кружку и ложку, и не дай Бог перепутать. Так Марта взяла для нас из дому. Фройляйн Юта говорит, что это против вибраций, - чтоб космические вибрации разных людей не смешивались. На завтрак дали овсянку без ничего и воду с лимонным соком. После завтрака Клаус сказал, что он голодный, но мамка его как заорет, - шо он должен думать не про еду, а про щось инше, не помню, про що. Так ему ничего больше не дали и послали в овощной

склад помогать фройляйн Юте складывать в мешки картошку, морковь и свеклу, чтоб наутро их везти продавать на рынок. Работа грязна и тяжка, не для мене, но я ж пообщицала. Пока мы мешки те таскали, фройляйн Юта все рассказывала, как ей было тяжело цельный день стоять в аптеке среди чужих. Там у ней в душе была тоска, шо она была одинокая и никто ее не понимал, а тут она среди своих, которые избранные и знают истину.

- И она открыла вам эту истину? - хоть нужно было спешить, Инге не смогла удержаться от вопроса. При всей невероятности рассказа Хельки в нем была простота и подлинность, возможная только в устах очевидца.

- Может, она хотела открыть, но я не поняла, она так быстро говорит и все артикли у меня в голове перепутались. А главное, я очень устала. Мы работали до самого ужина, была только коротка перерва на обед. Ни в ужин, ни в обед ничего путного не дали, ни мяса, ни рыбы, а так - один суп с овощей да ще овощи пареные и опять воды с лимонным соком, для очистки организму, чтоб он лучше принимал вибрации. После ужина сразу погнали в общий зал на занятия. Там выступал один, гладкий, красивый - не можно, чтоб он с одних овощей и лимонной воды такой стал. И утром на той гимнастике возле секвойя я его не видела, он небось еще спал. Он долго говорил, - про грязный мир и про ихнюю миссию, чтоб им всем очиститься и стать как чии-то диты.

- Дети Солнца, - догадалась Инге, вспомнив название секты в Карштале.

- Ну может, Диты Сонця, - согласилась Хелька, - я не все у его поняла, да и глаза у меня весь час слипались с устатку. Но все другие слушали и в тетрадки записывали, а потом он их вызывал к столу и проверял, кто что запомнил. А когда тот гладкий пан кончил их проверять, было уже совсем темно и я думала мы пойдем спаты. Тем более нам сранья утром надо было успеть на ту машину, что мешки на рынок возит. Но они не стали расходиться, а построились в три ряда и вперед вышла та певица, что утром пела про Сириус. И все стали петь хором. Они пели стройно, но не так хорошо, как мы с Клаусом. Марта нас все толкала, чтоб мы к ним приединились, но мы побоялись - вдруг они услышат, как мы поем, и не захотят нас отпустить. Когда они перестали петь, нам опять велели надеть саваны, потом завязали глаза и повели в тот подвал. Мне было трудно идти, я весь час спотыкалась и два раза упала, пока нас опять привели в

ту зеркальну залу. У той зале систи не можна, можна тильки стояты, а в мене нога разболілась барзо и надо було систи - нехай на пол, абы систи, але они систи не дали, велели стояты полукругом и чекать. Я спросила, чего мы чекаем, и фройляйн Юта объяснила шепотом, что мы чекаем, чтоб открылись двери, но когда то будет, никто не знае. Мы чекали очень долго, я уже не розумила, котра година, как пришел другой красивый пан, не такой молодой, но тоже гладкий, я до тех пор его не видела. Он тоже долго говорил, але сил слушать уже не було. Потом он вдруг махнул рукой и стены затрусилысь, лампочки поотрывались та захвылялысь в усих зеркалах. У голови в мене тож усе закрутылось, я даже злякалась, что я упаду в обморок. Но тут одна зеркальна стена разделилась на две и кажна половина повилыно поползла вбок. Оказалось, что то не стенка, а то и есть зеркальна дверь. За дверью было темно-темно, а в зале тихо-тихо. Потом из черного стало выползати билэ пятно, як мисяць у глибине колодца. Пятно все збільшувалось и збільшувалось, аж поки не стало видно, что то людске лицо, але не живэ, а мертвэ, як повна луна. Билэ-билэ, як та маска. А под лицом рука, тоже била, аж сверкае, и в той руци меч. Рука протягнулась вперед, меч стукнул об пол и сверкнул большой сполох, як молния вдарила, а за ней гром. У дивчинки, что рядом со мною стояла, почалася рвота и мне сделалось так дурно, что я когось оттолкнула и кинулась убежать. Но куда бегти я не знала, меня ж с завязанными глазами сюда вели. Клаус потом говорил, что я что-то кричала, а меня держали за руки и не пустили. Но я ничего того не помню...

Голос Хельки сорвался на полуслове и Инге воспользовалась перерывом, чтобы глянуть на часы. Ужас, - до начала экскурсии почти не оставалось времени, а надо было еще поесть и уладить кое-какие мелочи.

- Слушай, Хелька, может, ты мне в другой раз доскажешь?

Но искалеченная лапка Хельки вцепилась в ее рукав и не было сил ее оттолкнуть:

- Не уезжайте, не бросайте меня. Я боюсь.

- Садись-ка в машину, - предложила Инге. - Чем ждате Клауса тут, поезжайте лучше со мной. И сама все ему расскажите.

- Нет, мне нельзя, - печально произнесла Хелька, обретая обратно свой добротный выученный немецкий. - Он может меня не послушать и все равно поехать вниз к ней, раз он ей обещал. А я тогда за ним не угонюсь.

Младенец беспокойно заворочался, напоминая Инге, что ей давно пора перестать заниматься чужими делами и подумать о нем.

- Что ж, - вздохнула она и пошла к машине, - может, ты и права. А я поеду, мне пора.

- Но как быть, если она будет заставлять его с ней ехать? - отчаянно крикнула ей вслед Хелька. И протянула к ней свою изуродованную руку, словно пыталась схватиться за последнюю соломинку.

И Инге не выдержала. Прекрасно зная, что ей не следует снова вмешиваться в отношения Марты с сыном, она вдруг сказала, с удивлением вслушиваясь в собственные слова:

- А ты научи его, чтобы он соглашался туда ехать только вместе со мной. А без меня ни за что!

---

## МОЗАИКА ФАКТОВ

*(только документы)*

---

*“ФРАНКФУРТЕР АЛЬГЕМАЙНЕ”, 6 октября 1994г.*

### **МАССОВОЕ САМОУБИЙСТВО В ШВЕЙЦАРИИ**

**48 обгоревших трупов в кантонах Фрайберг и Валлис.**

**Еще несколько трупов в Канаде.**

*По всей вероятности, религиозное рвение стало причиной массового самоубийства 48-и членов швейцарско-канадской секты “Орден Храма Солнца”, происшедшего в ночь с 4-го на 5-е октября в швейцарских деревнях Чьери и Гранж-сюр-Сальван. Еще пятеро сгорели в Канаде, в 75-и километрах к северу от Монреаля, в загородном доме магистра ордена Люка Журе. Таким образом, число жертв таинственной акции дошло до 53-х. На сегодняшний день среди погибших на пожарах в Швейцарии и в Канаде не обнаружен труп самого Журе. Вполне возможно, что он остался в живых.*

*Полиция предполагает, что все дома загорелись одновременно в результате переданного кем-то хитроумного сигнала - по всей вероятности, в форме телефонного звонка. У двадцати из двадцати трех обгоревших тел в деревне Чьери были обнаружены огнестрельные раны. На головы десяти из них были натянуты пластиковые мешки. Есть сильное подозрение, что большинство жертв фатального пожара ушло из жизни в одурманенном состоянии.*

*Все погибшие были одеты в ритуальные робы. Похоже, что обычай*

секты предписывал ее членам на торжественные церемонии надевать ритуальные одеяния трех цветов, определяемых их положением в общине: белый - для низшего ранга, красный - для среднего, и черный - для высшего. Большинство обугленных тел было облачено в белые рубашки, некоторые - в красные, и одно - в черные.

Тьерри Югенен

## **ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ**

(Отрывки из книги воспоминаний бывшего члена секты "Орден Храма Солнца". Заглавием автор дает понять, что он должен был стать 54-м погибшим в акте массового самоубийства)

Утром 4-го октября 1994г. мне позвонила Флоранс Редюро, подруга Жо ди Мамбро, основателя секты "Орден Храма Солнца", членом которой я был более 15 лет.

"Тьерри, - сказала она, - ты можешь сегодня приехать за своими деньгами".

Речь шла об огромной сумме, которую я внес в казну фонда при поступлении и которую тщетно пытался получить обратно вот уже два года - с тех пор, как вышел из рядов "Ордена Храма Солнца". Эта сумма состояла из денег, полученных мной от продажи моего загородного дома в пригороде Женевы и моей доли в преуспевающей зубоврачебной практике. Я не надеялся получить компенсацию за 15 лет неоплаченной работы в хозяйстве секты, но требовал, чтобы мне вернули деньги, внесенные мной при поступлении.

Сальван - большая ферма, расположенная в окрестностях горной деревушки Мартины в 100 км от Женевы. Я приехал туда в начале второго и припарковал машину на улице перед виллой ди Мамбро. Когда я вошел в гостиную, ди Мамбро, небритый и странно расхристанный, объявил, что не может отдать мне конверт с деньгами, потому что потерял ключ от конторы, помещавшейся в цокольном этаже виллы.

"Давайте спустимся вниз, - предложил он, - и посмотрим, может я уронил его в коридоре".

Когда мы вышли на террасу и направились к лестнице, ведущей в контору, к нам присоединился магистр ордена Люк Журе. Мы спустились в подвал и вошли в коридор - в нос мне ударил сильный запах бензина. В желудке у меня образовался странный ком, мне захотелось выскочить оттуда и удрать от них, но разве я проехал 100 километров не для того, чтобы получить свои деньги?

“Нет, ключа не видно, - сказал Жо, обращаясь к Люку. - Может, надо вызвать слесаря, чтобы взломать дверь?”

“Может быть”, - ответил Люк рассеянно, словно не слышал, о чем его спросил Жо. Он тоже был небритый и взгляд его скользнул по мне как бы не узнавая.

Все замолчали, словно чего-то ожидая. В отворенную дверь коридора ворвался порыв ветра, и я снова почувствовал острый запах бензина. Меня вдруг охватил какой-то безумный страх, даже паника. Я попятился в сторону открытой двери и крикнул:

“Я уезжаю. Приеду за деньгами в другой раз!”

И стремглав помчался вверх по лестнице. Они остолбенело устались мне вслед, не веря, что я и впрямь решил уехать без денег. Я выскочил на улицу и, распахнув дверцу машины, услышал настигающий меня топот ног. Не оглядываясь, я включил мотор и нажал на газ. Тут меня догнала Флоранс. Она вцепилась в дверцу машины и попыталась ее открыть. В глазах ее был ужас.

“Куда же ты? Вернись!” - крикнула она, но я ее не слушал, я рванулся вперед и вырулил на шоссе.

Я очень устал и лег спать рано, но сильно за полночь меня разбудил телефонный звонок. Это была Марсель, которая покинула Орден почти в то же время, что и я.

“Случилось что-то ужасное. Дочь позвонила мне из Канады и сообщила, что в доме Люка Журе полыхает пожар! Говорят, полиция нашла там несколько трупов”.

Муж Марсель выхватил у нее трубку:

“Берегись этих людей, Тьерри. Плюнь на деньги, жизнь дороже”.

Я положил трубку, но долго не мог уснуть. Я ведь хорошо знал всех обитателей канадского дома Журе - кто же из них погиб? Я еще не знал тогда, что погибли все.

В семь утра телефон зазвонил снова. Звонила добрая старая Марта, которая тоже несколько лет назад ушла из Ордена. Голос ее был полон ужаса:

“Ты уже слушал радио, Тьерри?”

Я думал, что она говорит о пожаре в Канаде, но она перебила меня:

“Нет, нет, все гораздо страшней. Ночью сгорела ферма в Чьери и вилла Жо в Сальване”.

Я сейчас же включил радио и услышал рассказ о происшедшей ночью трагедии.

В святылице на ферме в Чьери были найдены 23 обгорелых трупа,

среди них трое детей. Облаченные в парадные одеяния Ордена, они лежали полукругом перед алтарем. На головах у большинства были нейлоновые мешки для мусора с завязанными на горле тесемками. Головы многих из погибших были прострелены тремя пулями, две из которых вошли до того, как был натянут мешок, а последняя - после, так что в мешке образовалась дырка. Некоторые, как видно, сопротивлялись, потому что лица их были разбиты ударами чего-то металлического, скорее всего, рукояткой пистолета. В подвале виллы Люка Журе в Сальване трупов было 25, некоторые из них полностью обуглились. Там тоже были обнаружены пули и остатки мусорных мешков.

Меня стала бить сильная дрожь. Острый запах бензина вновь наполнил мои ноздри, вызвав у меня непреодолимую рвоту. Всего на пожарищах было найдено пятьдесят три трупа и только благодаря чуду я не стал пятьдесят четвертым!

Алис Скотт

## **НЕВЕРОЯТНАЯ ВЛАСТЬ КУЛЬТОВ**

(Отрывки из книги, представляющей собой результат тщательного многолетнего исследования)

В феврале 1989 г. мой сын Роберт окончил с отличием технический колледж и с дипломом в кармане вылетел в Калифорнию, где его ожидала работа в престижной фирме. Я была горда своим мальчиком - в 26 лет он был в отличной спортивной форме, полон достоинства и хорош собой.

Через девять месяцев мой мир рухнул, когда маленький частный самолет доставил на летное поле соседнего авиаклуба то, во что превратился мой сын за столь короткое время. Он выглядел усталым, грязным, побежденным жизнью пожилым человеком. Когда я обняла его, я с трудом удержалась, чтобы не отшатнуться - от него разило, как от промышляющей на помойке крысы. Он отчужденно кивнул мне и уставился в пространство пустым бессмысленным взглядом. Незадолго до этого Дэвид Кореш, лидер секты, в которую Роберт вступил вскоре после прибытия в Калифорнию, предупредил меня, что мой сын время от времени теряет контакт с реальностью, но я не могла себе представить, что за несколько месяцев можно до такой степени разрушить психику здорового, морально устойчивого молодого человека.

Понадобилось четыре года интенсивной профессиональной терапии, чтобы вернуть моего сына к норме. За это время 85 обитателей

усадыбы Кореша в Вейко сгорели в пламени зажженного ими самими пожара. Чтобы понять суть того, что с ними произошло, я занялась исследованием распространенного в наше время феномена, получившего определение КУЛЬТ.

### **Что такое культ?**

Я называю культом организацию, лидер которой достигает такой власти над своими последователями, что они способны, как индивидуально, так и коллективно, совершать по его повелению поступки, противоречащие общепринятым законам Бога, Природы и человечности.

### **Кто может стать жертвой культа?**

Члены многих сект - люди с высшим образованием, занимающие достойное положение в обществе. Вербовщики сект обычно обходят стороной бедных и увечных, они предпочитают состоятельных и влиятельных.

### **Как достигается абсолютное подчинение членов секты воле ее лидера?**

Практически во всех сектах используются сходные методы постепенного овладения рассудком жертвы и подавления его индивидуальной воли. Постепенность играет очень важную роль в этом процессе, хорошо представленном в известном эксперименте с лягушкой, погруженной в воду. Если бросить лягушку в горячую воду, она тут же выскочит наружу, но если погрузить ее в холодную воду и начать медленно повышать температуру, лягушка, разнежившись, даст сварить себя заживо.

Одна из важнейших задач при погружении лягушки в воду, т.е. в начале процесса привлечения новобранца - вырвать его из привычного окружения. Первые встречи с намеченными кандидатами проводятся обычно или в конференц-залах отелей или в домах членов секты. После нескольких подобных встреч жертву стараются завлечь в замкнутое убежище - в какой-нибудь загородный дом вдали от города - на конец недели, а еще лучше - на более долгий срок. На это время новобранец полностью отключается от внешнего мира и не может связаться с друзьями и родными, так как в убежище нет ни радио, ни телефона. Истинной целью является присоединение новобранца к коммуне секты, где его дальнейшая обработка пойдет гораздо легче.

## **“ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТЫЙ”**

Я взял отпуск и провел три дня в “Штифтунге” - загородной усадьбе Жо ди Мамбро. Это были прекрасные дни, полные духовной жизни и увлекательных бесед. И все же я был рад в пятницу вечером вернуться домой, предвкушая приятный конец недели в обществе моих детей и любимой жены Натали. Однако не успел я переступить порог своего дома, как раздался телефонный звонок.

“Тебя”, - сказала Натали, протягивая мне трубку.

Это был Франсуа, с которым я расстался два часа назад возле ворот усадьбы Жо.

“Тьерри, - воскликнул он возбужденно, - ты не можешь немедленно приехать в “Штифтунг”?”

“Немедленно? Но ведь я только что вернулся оттуда... Я обещал же не провести воскресный день с детьми...”

“Но Жо очень просит. Он задумал что-то важное, чрезвычайно важное. Для тебя и для нас всех”.

“Хорошо, - пообещал я растерянно, - я постараюсь приехать”.

“Приезжай поскорее. Мы все тебя ждем”.

Я был ошарашен - они все меня ждут? Но ведь они только что разъехались по домам! Натали смотрела на меня глазами, полными слез, но делать было нечего - я должен был ехать. Ведь Жо попросил меня.

Алис Скотт

## **НЕВЕРОЯТНАЯ ВЛАСТЬ КУЛЬТОВ**

Главные методы психологической обработки, которой подвергаются все члены секты, как старые, так и вновь прибывшие, - это информационный контроль, жесткая ослабляющая диета, систематическое недосыпание и постоянная перегрузка, приводящая к перенапряжению жизненных сил.

Деятельность мозга - биологическая функция, ее можно изменять с помощью диеты. Так например, постоянное низкое содержание сахара в крови может вызывать тревогу, затуманенность сознания и различные фобии. Я обнаружила, что многие секты настаивают на исключительно вегетарианском питании, поскольку они определяют мясо как нечистую субстанцию. Недостаток содержащихся в мясе животных протеинов вызывает у многих ослабление воли и потерю ориентации.

Клиффорд Лайдекер

## **БОЙНЯ В ВЭЙКО**

*(Отрывки из книги, написанной по следам трагической гибели членов секты "Ветвь Давида" в Техасе)*

*Будучи твердо уверены, что тело - это храм-убежище для души, руководители секты наложили суровые регламентации на содержание этого храма. Преданные члены секты не имели права ни есть, ни пить, ни каким-либо иным путем вводить в свой организм ничего из того, что может принести ему вред - ни чая, ни кофе, ни яиц, ни мяса, ни алкогольных напитков.*

Алис Скотт

## **НЕВЕРОЯТНАЯ ВЛАСТЬ КУЛЬТОВ**

*Секта живет только в настоящем. У ее членов не должно быть ни прошлого, поскольку оно связано с другой жизнью - вне секты, ни будущего - потому что конец света может наступить в любой момент. А когда он наступит, только истинные члены секты будут спасены и вознаграждены за те жертвы, которые они приносят во имя своего грядущего спасения.*

*Сам Дэвид Кореш вовсе не следовал собственным диетическим ограничениям так же, как он не соблюдал четко разработанный им для других распорядок дня. Он поздно спал и обильно ел. Почти каждую ночь, когда полугодные, измученные долгим трудовым днем члены секты просто падали с ног от усталости, он объявлял общий сбор и, полный сил, приступал к своим многочасовым проповедям. Он сидел, развалившись в удобном кресле и, потягивая запретное для остальных пиво, цветисто расписывал слушателям ужасы окружающего мира и радости, ожидающие их в будущей жизни. Иногда ему приносили большой бокал мороженого и он с удовольствием съедал его на глазах у голодной общины, обещая ей бесконечные радости и пиршества в другом мире. Любил он так же в деталях расписывать свои сексуальные победы, хотя иногда жаловался, что ему нелегко обслужить всех женщин общины, которым с некоторого времени было запрещено спать с кем-нибудь, кроме ее богоподобного лидера.*

Клиффорд Лайдекер

## **БОЙНЯ В ВЭЙКО**

*Вернон Хоуелл был одним из многочисленных бренькающих на гитаре ничтожеств, покуда он не объявил, что к нему явился Бог и показал*

ему картину будущего, от которой даже в жилах у Дьявола кровь свернулась бы от ужаса. Приняв имя Дэвид Кореш, он использовал свою красоту рок-звезды, свою темную эротическую притягательность и свою редкую способность часами цитировать по памяти главы из Библии для того, чтобы завлечь сотни доверчивых душ на скудную ферму в отдаленном уголке Техаса, где он проповедовал Армагеддон и жил, как король. Там он завел себе гарем из 19 жен, некоторым из которых не исполнилось еще и 13 лет, и обещал им всем, что их ожидает Царствие Божие.

Однако вместо Царствия Божьего он организовал им сущий ад, где он правил железным кулаком. Особенно жесток он был к детям - он бил их нещадно и морил голодом за мельчайшие признаки непослушания. Он любил оружие даже больше, чем секс, - он вооружил до зубов своих последователей и велел им готовиться к последней решающей битве. В финальной стадии этой битвы десятки мужчин, женщин и детей погибли во всепожирающем адском пламени, зажженном ими самими.

“НЬЮСВИК”, 14 августа 2000 г.

## **ЖРИЦА СМЕРТИ**

17 марта 2000 года шестьсот членов секты Кредонии Мверинде “Верность десяти заповедям” по завершении всеобщего молебна сожгли на кострах все свои пожитки и, облачившись в ритуальные бело-зеленые одежды, заполнили помещение приземистой глинобитной церкви в деревне Канунгу неподалеку от столицы Уганды Кампалы. Верные телохранители Кредонии Мверинде наглухо заколотили все церковные окна и двери, после чего разом загорелись 68 полуторалитровых канистр с бензином, заранее прислоненных к четырем стенам здания. Огонь вспыхнул с такой яростью, что черепа несчастных, запертых в церкви, - в большинстве женщин и детей, - были разорваны на мелкие осколки.

Все международные средства массовой информации немедленно передали сообщения о грандиозном акте коллективного самоубийства в Уганде и тут же об этом забыли. Однако не прошло и недели, как неожиданное открытие в Канунгу пролило новый свет на происшедшую там трагическую историю. В выгребной яме на подворье секты были обнаружены шесть трупов крупных мускулистых мужчин, в значительной степени изуродованных серной кислотой, которой они были залиты. Полицейское расследование показало, что все они были приближенными телохранителями Мверинде и умерли от отравления смертоносным ядом.

Это открытие заставило власти Уганды пересмотреть теорию самоу-

бийства, тем более, что в результате дальнейших розысков было найдено великое множество братских могил, заполненных скелетами людей, отравленных тем же ядом. Судя по найденным на сегодняшний день могилам, количество убитых членов секты уже намного превышает две тысячи, и ясно, что обнаружены далеко не все захоронения.

По всей вероятности, телохранители, убитые после пожара в Канунгу, и были главными исполнителями страшного замысла жрицы смерти Мверинде. Она не любила оставлять свидетелей. Трудно с достоверностью утверждать, что именно послужило толчком к серии массовых убийств, совершенных ею за последнее время. Самым разумным объяснением может служить тот факт, что она обещала своим последователям наступление конца света до начала 2001 года. А поскольку каждый из них при вступлении в секту должен был отдать туда все деньги, вырученные за продажу его скудного имущества, то 2000 год стал решающим.

Убийства совершались обычно под покровом темноты, причем жертвы сами рыли ямы для своих будущих могил. К тому времени, как наступал их последний час, они уже были доведены до состояния полной потери собственной воли. Образ жизни этих бедняг, убежденных искусной оболыстительницей, что к ней является сама Богородица и предсказывает будущее, был изматывающим. Их поднимали в три часа утра для ежедневной двухчасовой молитвы, потом они до вечера работали на ферме, два дня в неделю им было запрещено есть и пить, а остальные 5 дней они существовали впроголодь.

Предполагается, что сама Мверинде вместе с небольшой группой приближенных убийц и со всеми деньгами, собранными с членов секты за долгие годы ее существования, умудрилась перебраться в соседнее Конго, где в результате гражданской войны царит полное беззаконие.

“РЕЙН-ПФАЛЬЦ”, 8 октября 1994

## **СОМНЕНИЯ В МАССОВОМ САМОУБИЙСТВЕ**

**ЧЬЕРИ.** Канадская полиция сообщает, что из пяти трупов, найденных после пожара в канадской вилле магистрата “Ордена Храма Солнца” Люка Журе, на двух - мужском и женском - видны несомненные следы насильственной смерти, а тело их двухлетнего ребенка пронзено достигшей сердца деревянной стрелой.

Это сообщение зародило у швейцарской полиции подозрение в том, что массовая трагедия в двух кантонах есть не что иное, как убийство, инсценированное как самоубийство. Выписаны ордера на арест Жо ди

*Мамбро и Люка Журе, трупы которых пока не обнаружены среди обугленных останков ни в Сальване, ни в Чьери. Хозяин супермаркета в Сальване опознал Журе по предъявленной ему фотографии - он узнал в нем клиента, который несколько дней назад купил в супермаркете два пакета пластиковых мешков для мусора.*

*“РЕЙН-ПФАЛЬЦ”, 10 октября 1994.*

## **ТРУП ЛИДЕРА СЕКТЫ ОПОЗНАН**

*Сегодня утром, по завершении работ по идентификации жертв пожаров в двух швейцарских кантонах, полицейский инспектор кантона Валлис объявил, что один из сгоревших в Сальване трупов вне всяких сомнений опознан как труп лидера секты Жо ди Мамбро. Труп магистра “Ордена Храма Солнца” Люка Журе среди жертв пожара не обнаружен. В программе, посвященной таинственной гибели десятков людей, канадское телевидение сообщило, что “Орден Храма Солнца” использовал свое исключительное положение в Канаде для отмывки незаконных денег и контрабанды оружия. Есть сведения, будто операции по незаконной торговле оружием принесли Журе и Ди Мамбро не менее ста миллионов долларов.*

## **ОТ АВТОРА**

*Когда весной 1999 года я начала собирать материалы о массовом самоубийстве в швейцарских кантонах, расположенных рядом с тем районом Германии, который описан в моем романе “Ведьма и парашютист”, меня поразила исключительная скудость сведений о происшедшей столь недавно трагедии. Практически о ней не знал никто.*

*Ни одной ссылки на нее мне не удалось найти в Интернете. На английском языке о ней вообще никто не упоминал. По приезду в Германию я начала розыски на немецком. Из старых газетных подшивок мне удалось выловить считанное число кратких репортажей, написанных непосредственно после пожара. Через несколько дней газеты вовсе перестали упоминать о страшной драме, враз унесшей жизни 53-х человек.*

*Наконец, роюсь в каталоге университетской библиотеки, я в разделе “Религия” натолкнулась на изданную в 1997г. книгу немецкого журналиста Франка Нордхаузена “Психо-секты”, в оглавлении которой была главка под названием “Орден Храма Солнца”. В ней упоминалась книга “54-й”, принадлежащая перу Тьерри Югенена, бывшего члена секты, чудом оставшегося в живых. Кроме имени Тьерри Югенена никаких новых сведений главка эта практически не сообщала.*

*Я решила разыскать Франка Нордхаузена и книгу Тьерри Югенена. К моему удивлению обе задачи оказались непростыми.*

*Я обратилась в берлинское издательство, выпустившее в свет книгу Нордхаузена, в надежде, что книга эта переведена на английский. Мне ответили, что, к сожалению, книгу эту на английский не переводили, а на просьбу дать мне телефон Нордхаузена ответили отказом, сообщив однако, что он работает в газете "Берлинер Цайтунг".*

*Удостоверившись таким образом, что он живет в Берлине, я попыталась отыскать его телефон в берлинской телефонной книге, но, к моему изумлению, он там не значился.*

*Тогда я обратилась в "Берлинер Цайтунг". Меня долго гоняли из одного отдела в другой, осторожно выясняя, кто я и зачем мне понадобился журналист Нордхаузен. Мои косноязычные сбивчивые признания, что я собираю материал для романа на русском языке, явно не вызвали доверия, и мне в конце концов ответили, что Нордхаузену будет сообщено о моей просьбе.*

*Хоть я оставила свой номер телефона, по прошествии недели мне так никто и не отзвонил. Тогда я позвонила в газету снова и после нескольких отфутболиваний прорвалась, наконец, к самому Нордхаузену, который к счастью неплохо говорил по-английски. Он устроил мне форменный допрос - кто я, откуда, зачем и почему. Зная уже, что нужно бросить собеседнику какую-нибудь приманку, я сказала, что представляю престижный русскоязычный журнал, который весьма заинтересовался его книгой. Выслушав меня внимательно, он ответил, что сейчас очень занят, но подумает о возможности встретиться со мной через несколько дней. Я спросила у него, почему его телефона нет в телефонной книге, а он ответил вопросом: "Вы же знаете, о чем я пишу, что же вы спрашиваете?" После этих слов я сильно усомнилась, что он захочет со мной встретиться.*

*Однако через неделю он сам позвонил мне и назначил встречу на Александерплац, где находится его газета. С его книгой в руке - для опознания - я топталась у названной им тумбы с афишами примерно пять минут, пока он появился. "Небось, изучал меня из окна редакции, - подумала я, - проверял, одна ли я пришла". Мы быстро нырнули в маленькое кафе, вход в которое был в двух шагах от тумбы, и прошли к столику в дальнем углу. Заказавши по чашечке кофе, мы просидели за этим столиком не более двадцати минут, - мне очень скоро стало ясно, что я ничего нового от него не услышу.*

*Насущные вопросы вертелись у меня на языке, конкретные, как ка-*

залось мне, и сами собой разумеющиеся, - например, "куда девались огромные деньги, принадлежавшие лидерам секты?" или "пытался ли кто-либо из родственников погибших обращаться в суд с требованием вернуть имущество жертв?" Но у Нордхаузена не было на них ответа. Он не мог назвать ни одной книги, кроме своей и Югенена, в которой была бы описана трагическая гибель членов "Ордена Храма Солнца". Единственным новым сведением, вырванным мною у него, было объяснение стремления лидеров секты довести число жертв до 54-х. Им нужно было представить массовую гибель членов секты, как ритуальное действие, и потому они исподволь готовили свою паству к идее, что "Орден Храма Солнца" избран высшими силами на роль заместителя погибшего Ордена Тамплиеров, - ведь число тамплиеров, зверски замученных в четырнадцатом веке по приказу французского короля, было равно пятидесяти четырем.

Нордхаузен не побоялся поделиться со мной этой догадкой, поскольку она принадлежала не ему, а была, как я потом узнала, изначально высказана в книге Тьерри Югенена. Но ко времени встречи с Нордхаузеном мне еще не удалось эту книгу найти.

Она как сквозь землю провалилась.

В издательстве мне ответили, что первый тираж книги разошелся по магазинам, а новый не планируется. В магазинах книги не было, и я направилась в центральную библиотеку Берлина, оснащенную самой передовой системой каталогизирования. Система была и впрямь отличная - в течение получаса я получила коротенький список провинциальных библиотек, где числилась книга Югенена. Однако телефонные переговоры с большинством этих библиотек меня разочаровали - в некоторых мне немедленно (очевидно, заглянувши в компьютер) сообщали, что книга куда-то исчезла, в других просили позвонить на следующий день только для того, чтобы сказать то же самое.

И все же мое упорство оказалось не напрасным - после недельных поисков книга Тьерри Югенена "54-й" была обнаружена на полке маленькой детской библиотечки (почему именно в детской - ума не приложу!), находящейся в отдаленном пригороде Восточного Берлина. Именно на полке, а не в компьютере - до этой захудалой библиотеки столь современная техника еще не добралась.

Я намеревалась записаться в библиотеку и, внося денежный залог в размере 30 марок, бессовестно умыкнуть драгоценную библиографическую редкость. Но деревенские библиотекари были на страже, - видно, сказалось ГДР-вская муштра, - они отказались включить меня

*в число своих читателей даже за деньги. К счастью, в вестибюле нашлась старенькая копировальная машина и мне после затяжной борьбы со штатом библиотеки, зорко охраняющим авторское право, и с толпой детей, копировавших иллюстрированные главы из исторических фолиантов, все же удалось заснять почти всю книгу Югенена. Всю не позволили - чтобы не нарушить это пресловутое авторское право.*

*Но это уже было полбеды - того, что я сумела прочесть, преодолевая немислимые нагромождения немецкой грамматики, с лихвой хватило для прояснения чудовищной картины жизни членов "Ордена Храма Солнца".*

*Вопрос о том, кому понадобилось изъять из обращения книгу Тьерри Югенена, так и остался непроясненным.*

---

## Карл

Напрасно Карл боялся, что Патрик будет возражать, когда он объявит ему о своем решении остаться здесь и дальше с ним не лететь. Как только они приземлились на заброшенном футбольном стадионе километрах в десяти от замка Инге, Карл начал репетировать свою прощальную речь. К тому времени, как они заправили самолет из специально припасенных Патриком канистр, речь уже была полностью готова. Но выяснилось, что все тщательно продуманные им доводы в пользу их неизбежной и взаимовыгодной разлуки были не менее тщательно продуманы самим Патриком. Ему по-видимому вовсе не улыбалась перспектива в случае принудительного приземления оказаться в одном самолете с навязанным ему Рыцарем, настоящего имени которого он не знал и знать теперь не хотел. Ему ни к чему были чужие грехи, с него было достаточно собственных.

И напрасно Карл прибегнул к сложной цепи уловок, чтобы незаметно вынести из самолета свою "беговую" сумку с тщательно выверенным и упакованным набором документов и грима, остаться без которой в этих условиях было бы почти смертельно. Потому что не успел он начать свою прощальную речь, направленную в затылок Патрика, завинчивающего крышку бензобака, как тот, не оборачиваясь, сказал с наигранным добродушием:

- Да не трудись ты так, не потей. Я же все понял, как только ты сумочку свою под полкой наружу вынес.

Сумку эту Патрик знал отлично, потому что все предыдущие дни Карл был вынужден хранить ее у того в кабачке, подальше от любопытных глаз. И хоть она была заперта тремя суперсекретными зам-

ками, Карл был почти уверен, что ловкий кабатчик как-то умудрился заглянуть в ее потаенные глубины. Однако заглянуть заглянул, а взять ничего не взял, это Карл торопливо проверил, как только они взлетели, и убедился, что все на месте. Да там, собственно, ничего путного для Патрика не было - ему вряд ли сгодились бы разноязычные паспорта и театральные гримы Карла. А внушительный чек на имя, вписанное в новый паспорт Патрика, Карл предусмотрительно носил во вшитом под подкладку кармане вместе с пачкой разномастных купюр всех национальностей, которую он приберегал для себя.

Чек он намеревался отдать Патрику, как только тот снова заведет свою коронную песню о потерянном кабачке. Долго ждать не пришлось, но едва он сунул руку в нагрудный карман пиджака, где лежал чек, правая рука Патрика стремительно рванулась к боковому карману его щеголеватой нейлоновой куртки, подтвердив таким образом подозрение Карла, что пистолет у того всегда наготове. Карл оказался проворней - он успел протянуть Патрику чек прежде, чем тот успел выхватить пистолет. Патрик был тоже не промах и соображал проворней, чем стрелял, - он сделал вид, что нырял в карман за носовым платком, который вытащил и тут же уронил, чтобы схватить чек.

Так что расстались они полюбовно и даже с некоторой сентиментальной слезинкой - дескать, приведется ли еще когда свидеться? Карл втайне надеялся, что больше не приведется, и не сомневался, что Патрик надеется на то же.

Когда серебристый силуэт самолета исчез за верхушками обступивших бывшее футбольное поле елей, Карл отступил в тень ветвей и закурил, соображая, какой дорогой лучше идти, чтобы покрыть изрядное расстояние до замка в максимально короткий срок. От соблазнительной идеи украсть в ближайшей деревне машину или велосипед он отказался сразу - любое брошенное на обочине шоссе транспортное средство могло навести на его след тех, кто будет его разыскивать. А разыскивать его будут. Да что там - будут, уже наверняка разыскивают, так что нужно поскорей добраться до убежища.

Легко сказать - поскорей, а вот как это сделать? Вечерело и в лесу было тихо, - позднее июньское солнце, изрядно склонясь к закатной черте, уже начало убаюкивать беспокойное население леса. И в этой полной, почти не нарушаемой обычными шумами лесной тишине явно прозвучал совершенно чуждый монотонный звук. Не шелест, не клекот, не чириканье, а некое однообразно-размеренное чавканье - "хлюп-хлюп-хлюп!", будто кто-то шлепал большой ладонью по тесту.

Неслышно ступая по влажной траве, Карл двинулся в сторону таинственных шлепков, но в мерцающем кружевном полумраке направление звука немедленно потерялось. Однако Карл продолжал двигаться по памяти и, как оказалось, правильно. Шлепки становились все громче, пока за кустами не обозначился яркий просвет, а в просвете обширная прогалина, по которой гуляла разнокалиберная пара справных лошадок.

Осторожно отодвинув пахнущую смолой еловую ветку, Карл выглянул на прогалину, - слева от лошадей виднелся сарайчик из свежеструганных досок, а за сарайчиком стоял небольшой выдавший виды грузовичок с откинутым кузовом. Оттуда-то и доносились сочные шлепки. Карл выглянул смелее и увидел ловко орудующую лопатой коренастую фигуру в резиновых сапогах, которая подхватывала у себя из-под ног какие-то коричневые комья и забрасывала их в открытый кузов. Работа шла споро, коричневые комья равномерно шлепались на дно кузова - -“хлюп-хлюп-хлюп!” Судя по запаху это был лошадиный навоз, судя по количеству его под ногами трудолюбивой фигуры - работы там оставалось ненадолго.

И в голове Карла начал созревать весьма подходящий план, основанный на том, что лошадь не велосипед - оставишь ее непривязанной, только ее и видели. Главное, нужно набраться терпения и дожидаться, когда фигура в сапогах, которая при ближайшем рассмотрении оказалась немолодой дамой с едва тлеющей в зубах сигаретой, - вероятно для нейтрализации запаха, - управится с навозом и уберется восвояси. Терпения у Карла было сейчас не много, но ему было чем себя занять. Он сделал пару шагов назад и, присев на поваленное бревно, раскрыл свою заветную “беговую” сумку. С удовольствием пробегая пальцами по тщательно упакованным тюбикам театрального грима, он прикидывал, в какой личине лучше всего предстать перед Инге. Задача была не из простых - он должен был выглядеть так, чтобы она узнала его сразу, а все другие, с кем ему неизбежно придется встретиться по пути, не узнали бы ни сразу, ни потом.

Он прикинул в голове несколько вариантов “за” и “против”, рассматривая свое отражение в увеличительном зеркале, вмонтированном в крышку коробки с гримом. Искусству максимального преобразования с помощью минимальных средств его тоже обучили в тренировочном лагере в Ливане, хоть и до того он неплохо управлялся с ножницами и кисточкой. Конечно в те славные времена, когда он, вдохновенно меняя личины, зачаровывал наивный буржуазный

мир своими отчаянными выдумками, у него не было ни такого отличного грима, ни таких виртуозных инструментов преображения. Но зато он был молод, бесстрашен и доволен собой. Не то, что сейчас.

Он прислушался - навоз шлепался на дно кузова с той же монотонной равномерностью, - и снова вернулся к усталому лицу в зеркале. Серые глаза Яна Войтека, сверкающие иронией за матовыми стеклами очков, были обрамлены волнистой седой шевелюрой. С очками он покончил одним четким нажимом башмака, сложнее было сменить цвет глаз. Отложив глаза на потом, он принялся за вьющиеся надо лбом серебряные пряди. Скосив их, как траву, ловкой маленькой косилкой, он перекрасил получившийся в результате забавный ворсистый бобрик в ординарный темнорусый цвет, от чего интеллигентное лицо чешского профессора не выясненных наук преобразилось почти до неузнаваемости в лицо простонародного жлоба с пристрастием к пиву и спорту.

Усилив этот эффект с помощью чуть загнутых кверху каштановых усов, Карл бережно открыл главное свое достояние - узкий пенал, в каждом гнезде которого притаилась пара цветных линз. Одним ловким нажимом больших пальцев он вынул из глаз серые линзы и вставил вместо них другие - в левый глаз коричневую, в правый - зеленоватую с желтыми точками по краям. Потом, поочередно прикрыв ладонью сперва одну половину лица, затем другую, решительно заменил коричневую линзу на зеленоватую и внимательно оглядел свое отражение, оценивая полученный результат. Теперь оставалось только укоротить и слегка обесцветить слишком длинные ресницы покорителя дамских сердец Яна Войтека, и новая вывеска готова.

Получившийся облик был бы почти идеальным, если бы не слишком сочные девичьи губы, которыми его наградил русский хирург во время пластической операции. Сволочи из Штази, отправляя его в Ливан, поскупились на полную перекройку его лица, необходимую для сокрытия следов Гюнтера фон Корфа, а ведь небось продали его новым хозяевам за хорошенькую круглую сумму. И подлец-хирург сделал с лицом Карла ровно столько, сколько ему за это заплатили, и ни черточкой больше. Так что чувственная розетка рта не совсем точно вписывалась в жесткий контур подбородка, подчеркнутый твердой линией крупного носа. Женщинам, правда, это нравилось, но проблем с женщинами у него не было и до операции.

Он продолжал внимательно всматриваться в свое обновленное лицо, постепенно к нему привыкая. Это была первая заповедь поведения

во вражеском окружении, - для предотвращения глупых промахов после поспешного изменения внешности следовало каждое мгновение помнить, как ты сейчас выглядишь. Второй заповедью было имя - следовало каждое мгновение помнить, как тебя сейчас зовут. Глядя в зеркало на стриженного бобриком любителя футбола, Карл прищурил зеленовато-желтый глаз и промурлыкал из-под фатоватых усов:

- Меня зовут Вилли Вебер, мне сорок четыре года, место рождения - город Оснабрюк.

И вздрогнул, - его слова, произнесенные почти шепотом, прозвучали неожиданно громко в наступившей тишине. Он как-то не обратил внимания, что шлепки прекратились. Боясь вернуться к прогалине и быть замеченным, он осторожно закрыл сумку и прислушался. Сначала тишину нарушало только еле слышное дыхание ветра в верхних ветвях, потом негромко заржала лошадь и женский голос ответил на ржание с нежностью:

- До завтра, Фрицци. Завтра я приеду за тобой на рассвете.

Фрицци явно не соглашался ждать до завтра, он на что-то жаловался скорее обиженно, чем сердито.

- Ну что с тобой, Фрицци? Ты ведь любишь спать в лесу и у тебя есть все, что нужно, - попыталась усюветить его женщина, но задерживаться из-за него не стала. Хлопнула дверца машины, заворчал мотор. Фрицци заржал еще громче, но безуспешно - машина уже отъехала, чуть погромыхивая кузовом на ухабах лесной дороги.

## Инге

Всю дорогу домой Инге спрашивала себя, зачем ей понадобилось наклеивать на себя новые проклятия Марты. Удивляясь, какая сила заставила ее сказать Хельке такую глупость, она так и не нашла ответа. Ведь не собиралась же она и впрямь тащиться среди ночи с Клаусом в Каршталь, чтобы присутствовать там на каком-то колдовском шабаше дурного вкуса? Однако паркуя машину, она подумала, что, пожалуй, следует предупредить Клауса о поджидающей его внизу мамке, но Клауса не было ни во дворе, ни в свинарнике.

Ральф, растянувшийся на пороге кухни, лениво помахал хвостом, но не встал. "Стареет мой верный пес", - с привычной печалью подумала Инге и спросила: "А где Клаус?", но Ральф зевнул и не ответил. Идти искать Клауса у Инге не хватило сил. Больше всего ей сейчас хотелось нырнуть в постель, закрыть глаза и утихомирить разбушевавшегося младенца. Но ничего этого она не могла себе позволить.

Наспех перекусив и переобувшись, она взяла фонарь и спустилась в трапезную. Плавным поворотом зеркала открывая секретную дверь, ведущую в подземный коридор, она вспомнила рассказ Хельки про мистическую зеркальную дверь в святилище Детей Солнца. Надо же, какое совпадение! Сердце испуганно колыхнулось - Инге не верила в случайные совпадения. И тут же обругала себя за то, что последнее время стала слишком пуглива. Ведь ничего общего у этих зеркальных дверей нет, - у них там дверь ведет куда-то в космос, а у нее всего лишь отделяет жилые помещения от маршрута туристских экскурсий.

Кое-как справившись с собственным малодушием, она вышла в подземный коридор и свернула в окаймленную гранитной балюстрадой галерею, наклонно уходящую вниз, в недавно отреставрированные подвалы, хранящие мрачные тайны рода Губертусов. Инге намеревалась проверить несколько эффектных трюков предстоящей сегодня вечером экскурсии, которые почему-то барахлили в прошлый раз. Обычно мелкий ремонт входил в обязанности Ури, но в его отсутствие это взяла на себя Вильма, и Инге была не уверена, что та сумеет справиться со всеми непослушными замками и пружинками.

Она прошла через круглый красный зал и на миг приостановилась на верхней ступеньке лестницы, ведущей в фамильную сокровищницу. Лучше бы она это не делала - этого мимолетного мига было достаточно, чтобы в зал проникли давно ушедшие из жизни участники происшедшей здесь драмы. Первым появился отец. Закинув голову на противоестественно вывернутой назад шее, он лежал в своем инвалидном кресле и глядел на нее одним невидящим глазом, тогда как второй был плотно залеплен еще не вполне засохшей кровавой коркой. Ей стало вдруг ужасно, непоправимо его жалко - "бедный, бедный папа, я виновата, виновата, прости!"

Усилием воли она отогнала это видение, и напрасно, - на смену ему явился пугающе реальный, почти физически ощутимый образ Карла. Не того, которого она любила в юности, и не того, которого научилась сцепивши зубы терпеть здесь, в замке, - с этими она еще могла бы как-то поладить. Но нет, за каждым поворотом коридора перед ее глазами возникал другой Карл, полузабытый, измученный и голодный, каким он предстал перед ней когда-то после своего побега из тюрьмы.

В какой-то неуютный миг Инге наново пережила те тревожные три дня, когда газеты, радио и телевидение без умолку твердили о его дерзком бегстве прямо из-под носа тюремной стражи. Тогда по всей

Германии был объявлен полицейский розыск, тюремные фотографии Карла не сходили с экрана телевизора и нудный голос диктора снова и снова повторял номер телефона, по которому должен звонить каждый, кто его увидит.

Инге не сомкнула глаз с той минуты, как услышала о его побеге. Она не знала, хочет или не хочет, чтобы он появился у нее в замке, но это было несущественно - она точно чувствовала направление его движения. Ей даже казалось, что она слышит его приближающиеся шаги, - она каким-то образом знала, что он не едет, а идет пешком. И идет сюда, к ней. Сперва шаги были едва различимы, как невнятный шепот, потом они стали громче, потом еще громче. А когда они загрохотали в ее ушах, как барабанный бой, она не выдержала и побежала к воротам. И за воротами увидела его - он стоял, прижимаясь лицом к чугунным прутьям калитки. Усталый, грязный, голодный, он лихорадочно искал способ, как, не привлекая внимания посторонних, известить ее о своем приходе. И, как видно, нашел - чем иначе можно объяснить вдруг охватившую ее неодолимую потребность подойти к воротам?

С трудом преодолевая лихорадочное предчувствие какой-то неведомой беды, Инге взяла себя в руки и терпеливо проверила основные стыки и соединения экскурсионного маршрута, тщательно продуманного и тысячу раз отрепетированного ею и Ури. Слава Богу, все они были в порядке. Можно было вернуться в дом и наконец-то позволить себе расслабиться.

Войдя в спальню, Инге откинула покрывало, с наслаждением сбросила туфли и, не раздеваясь, прилегла на белый накрахмаленный пододеяльник. "Черт с ним, к приезду Ури постираю", - устало пообещала она в ответ на свой собственный упрек. И приказала сама себе: "А теперь закрыть глаза и никаких ненужных мыслей!" Однако выполнить этот приказ было не так-то просто. Воспоминания, тесня друг друга, хлынули из какой-то внезапно отворившейся душевной прорехи, и недовольный участвовавшим ритмом материнского сердца младенец снова заворочался в животе, требуя внимания и покоя. Инге зарылась лицом в подушку, пытаясь умерить разбушевавшийся пульс и утишить звон в ушах.

Но стоило звону чуть поутихнуть, как сквозь него прорвался немолчаливый звук приближающихся шагов. Походка твердая, решительная, - цок-цок! цок-цок! - по паркету со стороны кухни, все ближе, все громче, все неотвратимей. Инге сжалась в комок и плотней

натянула на себя покрывало. Шаги уже звучали прямо на пороге спальни, дверь распахнулась и голос Вильмы произнес:

- Что с вами, Инге? Вам нехорошо?

## Хелька

Клауса не было так долго, что Хельке даже перехотелось в уборную. Пописать она все-таки решилась, втиснувшись в щель между камнем и скалой, а бушевавшие в кишечнике вихри как-то сами собой затихли, оставив тупую боль чуть пониже пупа. Зато вдруг ужасно захотелось есть. Под ложечкой образовалась зияющая дыра, которую необходимо было срочно заполнить чем-нибудь мягким и горячим. А Клауса все не было и не было...

Наверно фрау Инге все ему рассказала, и он решил задержаться в замке подольше, чтобы избежать встречи со своей настырной мамкой. Хелька даже начала было жалеть, что не приняла предложение фрау Инге поехать с ней наверх в ее машине. Но тут же сообразила, что, если бы фрау Инге рассказала Клаусу, что она ждет его на дороге возле моста, он ни за что не оставил бы ее сидеть тут в одиночестве до ночи.

Тень скалы стала длинной-длинной, от реки потянуло вечерним холодом. Хелька сжалась в комок, чтобы согреться, и наверно задремала, потому что когда она почувствовала на щеке дыхание Клауса, он уже прислонил велосипед к камню и наклонился ее поцеловать.

- Что случилось? Почему ты здесь сидишь?

"Так он ничего не знает!" - дошло до Хельки, но она спросонья забыла, что собиралась не рассказывать ему все сразу, а начать потихоньку с куста шиповника и с разбитого цветочного горшка. Все это время, пока она съезжившись сидела под скалой, она продумывала аргументы, при помощи которых она надеялась убедить Клауса избежать встречи с матерью. Но все аргументы куда-то испарились, когда ей ни с того ни с сего вдруг показалось, что Марта может избежать им навстречу в любую минуту, и надо поскорей предупредить Клауса, пока не поздно. Она обхватила его шею руками, усадила рядом с собой на камень и, захлебываясь словами и рыданиями, стала рассказывать ему обо всем, что она пережила за этот день.

В этом рассказе реальные события перемешались с вымышленными, их недавний отъезд из Каршталя в заваленном мешками овощном фургоне слился с ее сегодняшним бегством от настигающей ее Марты, в которое она тут же сама поверила. Клаус тихо сидел рядом с ней и слушал, не перебивая, - ему всегда требовалось некото-

рое время для осознания неожиданных происшествий. Наконец, Хелька кончила говорить и замолчала, тихонько поглаживая его ключий после недавней стрижки затылок. Она давно научилась прибирать его к рукам мелкими нежными касаниями, но на этот раз уловка не сработала - Клаус тяжело вздохнул, отвел ласковые Хелькины пальцы и решительно встал.

- Так я поеду к мамке, - сказал он и взялся за руль велосипеда. - Я ей обещал.

- А я? - не веря тому, что слышит, выдохнула Хелька.

- А ты приходи поскорей, как сможешь. Она же меня ждет, а не тебя.

Хелька мигом оценила ситуацию и поняла, что спорить бесполезно, а нужно действовать хитростью.

- Ну иди, - покорно согласилась она, не поднимаясь с камня. - А я еще тут посижу.

- Зачем тебе тут сидеть? - удивился Клаус.

- У меня нога сильно разболелась, я все равно так сразу не дойду.

- Ладно, если разболелась, так не спеши. Я с ней посижу, поговорю, пока ты доберешься.

- Вряд ли она станет дожидаться, пока я приду. Так что поцелуй меня на прощанье и иди.

Клаус потерся щекой о ее волосы, дольше он не мог дотянуться, не отпуская велосипед.

- Нет, не так, а по-настоящему. Может, это в последний раз. Может, мы больше никогда не увидимся.

Услышав это, Клаус выронил руль и велосипед со звоном грохнулся на шоссе.

- Что значит, никогда не увидимся?

Хелька немедленно воспользовалась этой минутной заминкой и притянула его к себе со всей силой, на какую была способна ее увечная рука.

- Никогда - значит никогда. Ты никогда не увидишь меня, а я никогда не увижу тебя.

- Но почему? - взвыл Клаус.

- Потому что она решила забрать тебя туда навсегда.

- Откуда ты знаешь?

На этот вопрос Хелька не могла бы ответить, - действительно, откуда? Однако знала она это наверняка и не собиралась его отпускать.

- Если тебя у меня заберут, - тихо, но твердо сказала она, - я просто умру.

- Как они могут меня там оставить, если я не захочу?

- Они завяжут тебе глаза, отведут в тот глубокий подвал и будут морить тебя голодом, пока ты не согласишься.

- Зачем я им нужен? - неуверенно произнес Клаус, не пытаясь, однако, высвободиться из объятий Хельки, хоть ему было страшно неудобно нависать над ней, изогнувшись в три погибели. Хелька воспользовалась этим и, нажав покрепче на его плечо, снова усадила его рядом с собой на камень.

- Им, может, и не нужен, а ей еще как! Ей главное, чтобы ты был с ней, а не со мной.

- Но она же моя мамка! Она обидится, если я с ней не поеду, ведь я обещал, - совсем беспомощно пробормотал Клаус, но Хелька уже знала, как ему возразить.

- Ведь если б я ее не увидела, ты бы даже не знал, что она за тобой приехала. На что же тут обижаться?

- Но ты же мне рассказала...

- А кто это знает? Только ты и я, правда?

- Что же делать? - спросил Клаус, уже сдаваясь, уже готовый, как всегда, следовать за Хелькой с закрытыми глазами. Ответ у нее был готов, недаром она целый день репетировала разные варианты этого разговора:

- Мы прокрадемся в церковь и спрячемся на колокольне... - шепотом, будто кто-то мог ее услышать. - Там она ни за что нас не найдет.

- Но она может перехватить нас по дороге.

Тоже почему-то шепотом.

- А мы по дороге не пойдем. Ты ведь знаешь все проходные дворы.

- А велосипед? Она найдет нас по велосипеду.

- Велосипед мы спрячем в кустах сразу за мостом. Пошли! Скорей перейдем через мост и спрячем, пока она сюда не примчалась.

## Карл

Хоть Карл и нашел в сарайчике неплохое седло с уздечкой, он решил, что благоразумней вывести гнедого жеребчика Фрицци из загона неоседланным. Конечно, скакать по хорошей дороге на оседланной лошади было бы куда комфортабельней, чем отбивать зад до синяков на ухабистых лесных тропинках. Но по зрелом размышлении Карл предпочел благоразумие комфорту, потому что местные тропинки он знал, как линии своей ладони, а управляться с любой лошастью, хоть с седлом, хоть без, его натаскали в тренировочном лагере в Ливане.

Брать седло ни в коем случае не следовало. Когда полиция запустит частый бредень розыска, любая мелочь - например, жеребчик, уведенный кем-то из лесного загона, - может навести ее на след. Значит, нужно создать впечатление, что жеребчик убежал сам, тем более, что он так возражал, когда его оставляли на ночь в лесу.

Для этого Карл первым делом выломал один из столбов, поддерживающих проволочную ограду. Потом, не жалея драгоценного времени, погнался Фрицци по кругу, чем придал разоренному загону такой вид, будто негодующий жеребчик метался там, пока не повалил столб и не вырвался наружу. В этот хорошо продуманный сценарий седло и уздечка не вписывались никак, разве что их похитил сам Фрицци. Но сценарий сценарием, а без уздечки обойтись было невозможно. К счастью, в верной "беговой" сумке нашелся туго свернутый шелковый шнур, который Карл всегда таскал с собой на всякий случай.

Когда он, наконец, преодолел сопротивление Фрицци и принорвался к скачке без седла, которую он мысленно назвал "отрадой мазохиста", до замка оставалось еще километров шесть. До сих пор все умственные усилия Карла были сосредоточены на решении неотложных практических задач, но мерное движение по хорошо знакомым ему долинам и перелескам не требовало столь полной интеллектуальной отдачи, оставляя простор для страхов и сомнений.

Достаточно ли продуманным было его решение очертя голову прыгнуть на лету с самолета и на неоседланной лошадке судьбы направиться в неизвестность? С первого взгляда эта затея выглядела глупой и дерзкой, но интуиция подсказывала Карлу, что срок его службы на Ближнем Востоке приближался к концу, а вместе с ним и его жизнь. Он неплохо изучил повадки своих коварных хозяев и знал, что в их мире не любят слишком шустрых. Там нет незаменимых и каждое выполненное задание сокращает время, оставшееся исполнителю. Так что пора было рвать когти.

Кроме того, Карлу очень быстро стало невыносимо шумное соседство Патрика Рэнди. Дело было не только в том, что нервы его были натянуты до предела, а Патрик ни на секунду не давал ему расслабиться. Главное, его наметанный глаз отметил в хитром бабочнике знакомое по напарникам последних лет терпкое сочетание упования собой и обиды на судьбу, которая не дает передышки и надежды на завтрашний день. Молодые ребята могли наслаждаться полученной в обмен на риск свободой, но с возрастом искристое вино наслаждения скисало и превращалось в укус, а Патрик был уже

сильно немолод. Как и он сам, - Карл без фамилии, Гюнтер без лица, Ян без единой родной души на всем белом свете.

Впрочем, не всегда было так, чтобы ни одной родной души. Вчера, например, - неужто это было только вчера? - у него была Клара, готовая жертвовать жизнью ради него. Но сегодня ее уже нет и завтра тоже не будет, и вообще неясно, была ли она вчера. Тем более, что сегодня ему нужна вовсе не Клара, а Инге, девочка-стюардесса, принцесса из замка. Найдет ли он эту девочку? Он, кажется, забыл, что она уже не девочка, что ей давно перевалило за тридцать, и неизвестно, как она жила все эти годы, кого встречала, кого любила.

Разузнать о ней ему удалось немного. Все его проверки и уточнения были хлипкие и опасные. Он знал, что за ним всегда следят и никогда не доверяют. Не потому, что он чем-то вызвал недоверие своих хозяев, - вовсе нет, они просто понятия не имели о том, что такое доверие. Вот и приходилось каждый шаг свой соразмерять с неоступно следующим за ним подозрительным взглядом. Его телефонные разговоры прослушивались, его корреспонденция регулярно прочитывалась чужими глазами. Сведения о жизни Инге он собирал урывками, пользуясь привилегиями, дарованными ему в связи с подготовкой к роли профессора Войтека - ему на короткий срок открыли доступ к европейской справочной литературе. Собрал он чистый мизер: узнал, что Инге все еще числится в телефонной книге под фамилией Губертус, и что Отто Губертус из книги выбыл, понятно куда.

И еще одну крупинку информации, крохотную, но бесценную, он добыл в библиотеке, дерзко нарушив главную заповедь поведения секретного агента на вражеской территории. На глазах у всех он вошел в телефонную будку и набрал номер Инге. Хоть он был обучен набирать любой номер так, что снаружи этот номер невозможно было засечь, он все равно рисковал жизнью в случае, если его боссы прослушивали даже английские автоматы. Правда, услышав голос Инге, он, не отзываясь на ее встревоженное "Алло!", тут же положил трубку, однако успел все же услышать, как она спросила еще тревожней: "Это ты, Ури?" Он вовсе не собирался с ней разговаривать, хоть и не прочь был бы узнать, чем она так встревожена и кто такой этот Ури, - или кто такая эта Ури? - по непривычному имени трудно было определить, женское оно или мужское. Карл решил выяснить это позже, при встрече, а пока ему только нужно было убедиться, что она по-прежнему живет в замке и сама отвечает на телефонные звонки.

И вот с этим скудным запасом сведений он, искусно избегая людных дорог, тряся на чужой неоседланной лошадке, чтобы поскорее очутиться у Инге, зная о ней только то, что ее отца уже нет в живых, а сама она по-прежнему живет в замке, носит девичью фамилию и отвечает на телефонные звонки. Теперь было уже не важно, опрометчиво он поступает или нет, потому что из этой точки все равно не было пути назад. Что ж, будь что будет, раз он еще не научился играть с огнем и его все еще возбуждает головокружительный привкус опасности.

С привкусом опасности все было в порядке - он ощутимо возрастал по мере приближения к замку. Карл подъезжал не со стороны главной дороги, ведущей через мост к спиральному подъему в гору. Он выбрал более сложный, никому кроме него, наверно, неизвестный путь - сначала вверх вдоль горной речки, выходящей в расщелине соседней долины, потом через поросший густым кустарником перевал. На перевале он спешился и, ласково развернув Фрицци, легким шлепком подтолкнул его обратно, туда, откуда они поднялись. Жеребчик секунду постоял, словно ожидая, что новый господин передумает, потом тряхнул гривой и веселой трусцой поскакал вниз по склону, оставляя на своем пути цепочку золотистых навозных катышек. Глядя на эти катышки, Карл почувствовал трудолюбивой хозяйке Фрицци - сколько добра пропало даром!

Итак, он был почти у цели. Оставалось только спуститься к заброшенной каменоломне, от которой давно нехоженная, поросшая травой тропка вела к узкому зеву его тайного подземного хода. Поскольку Карл не представлял, что ожидает его в замке, он намеревался проникнуть туда через подземный ход, а там оглядеться и выбрать образ действий в соответствии с обстоятельствами.

Но выйдя на знакомую площадку, зажатую между щербатым отрогом скалы и грубой кладкой сторожевой башни, он не нашел над ней и следа искусно замаскированного им когда-то входа в узкий трубчатый туннель, по которому он столько раз пробирался в замок. Бросалось в глаза, что стену недавно ремонтировали - все выломанные в течение веков камни были аккуратно возвращены в свои старые гнезда и закреплены цементным раствором. Работа была профессиональная и только опытный глаз мог заметить, что над внешним видом стены потрудился умелый реставратор.

Похоже, за эти годы здесь многое изменилось. Кто знает, не способны ли эти перемены превратить его дерзкую выходку в глупейшее самоубийство? Но деваться уже было некуда и не оставалось

ничего иного, как идти на разведку наверх, к воротам, - никто лучше Карла не знал, что другого входа в замок нет.

Наверху у ворот его ожидал еще больший сюрприз: на пустынной в его время площади перед входом искрилось и сверкало в закатных лучах солнца совершенно неуместное строение из красного камня и стекла, - то ли ресторан, то ли кафе. Прищурившись, Карл всмотрелся в готическую вязь вывески над дверью: "У крепостной стены". Чуть пониже и помельче значилось название популярного местного пива "Крумбахер".

У этой орошенной пивом "Крумбахер" крепостной стены было одно несомненное преимущество - здесь можно было не опасаться быть замеченным, так как площадь была полна людей. Они сидели за столиками ресторана, стайками бродили по древним булыжникам, закинув головы, разглядывали мозаику над входом или толпились у ворот, жадно покупая какие-то билеты. Нереальность происходящего была так велика, что Карлу на миг показалось, будто он ошибся адресом и попал в совсем другое место.

К счастью, привычка мгновенно анализировать ситуацию и принимать решения помогла ему довольно быстро справиться с замешательством. Небрежной походкой туриста он направился к мгновенно узнанному им столику из гостинной Отто, за которым сидела так и неузнанная им дама средних лет и продавала таинственные билеты.

Карл пристроился в хвосте небольшой многоязыкой очереди и, делая вид, что любуется зубчатой стеной, осторожно огляделся. Знакомых лиц в толпе он, к счастью, не нашел, зато заметил многоцветный гляцевитый плакат, приклеенный над головой билетерши. На плакате была весьма реалистично изображена все та же зубчатая стена с воротами в центре и примыкающий к ней кусок сторожевой башни. Поперек этой красоты было выведено золотой готической вязью:

***"Еженедельная экскурсия по красочным галереям  
и мрачным подвалам замка Губертус (XI-XVI век).***

*Каждую пятницу в 20.00.*

*Цена билета 20 марок".*

Если бы Карл не боялся привлечь к себе внимание, он бы громко присвистнул. Ну и ну - еженедельная экскурсия по 20 марок с носа! Ай да Инге, ай да молодец! Карл прикинул, сколько народу снует по площади и помножил это число на двадцать, - получилась довольно

круглая сумма. Неплохо, если вспомнить, с каким трудом Инге удалось сводить концы с концами в те времена, когда он изображал из себя ее наемного работника. Интересно, где она достала деньги на ремонт подвалов и что она там нашла? И что подумала, когда нашла то, что он оставил ей на память?

Тем временем подошла его очередь и он купил за 20 марок - никто не дал ему скидку по знакомству, - кремовый картонный квадратик, отворяющий перед ним заветные ворота замка. Квадратик, украшенный все тем же зубчатым силуэтом стены, выглядел вполне невинно и ничем не выдавал своей волшебной силы. До восьми оставалось чуть больше получаса, так что можно было еще успеть перекусить в ресторане и заодно попытаться разведать, какие перемены произошли в замке за годы его отсутствия.

Свободных столиков в ресторане не было - дела, как видно, шли неплохо. Любопытно, ресторан тоже принадлежит Инге? Выбрав столик, занятый двумя не слишком юными, нарядно одетыми дамами, Карл с наигранным стеснением положил руку на спинку свободного стула и вежливо спросил, может ли он разделить с ними стол. Дамы охотно прервали свой оживленный щебет и дружно вскинули на него умело подведенные оценивающие глаза. Удовлетворенные результатом осмотра, обе приветливо закивали. Карл отодвинул стул и сел.

Оказавшись в результате лицом к стойке бара, он немедленно увидел за стойкой знакомого - владельца деревенского кабака Вальтера. Хоть немного располневший и лишившийся заметной части пышной когда-то шевелюры, это был несомненно он. Карл хотел было передвинуть свой стул так, чтобы повернуться к Вальтеру в профиль, но вспомнил, что выглядит сейчас не как Гюнтер фон Корф, а как футбольный болельщик Вилли Вебер из Оснабрюка - а ведь он чуть было не забыл об этом в суете последних минут!

Эта непростительная забывчивость чуть не подвела Карла, когда перед ним возникло еще одно знакомое лицо, появления которого ему следовало ожидать как только он увидел Вальтера. Холодный пот выступил у него на верхней губе, когда он сообразил, что склонившаяся к нему сухопарая официантка не кто иная, как жена Вальтера, Эльза. Он чуть было не отшатнулся от нее в первую секунду, прежде чем осознал, что записывая в блокнот его заказ, она на него даже не смотрит, так она устала.

И все же, когда Эльза ушла, он испытал бесконечное облегчение и вдруг почувствовал, как ужасно он проголодался. Когда он ел в по-

следний раз? Кажется, вчера вечером, за ужином в библиотеке - неужели это было всего лишь вчера? - до того, как кто-то подбросил на рояль его давно потерянную красную тетрадь. С той минуты события закрутились с такой стремительностью, что кусок не лез ему в горло. У него даже не нашлось свободной секунды, чтобы подумать о том, кто и зачем мог эту тетрадь подбросить.

И лишь теперь, ожидая, пока ему принесут заказанный им венский шницель - лакомство, недоступное в его мусульманском раю, - он вспомнил случай с тетрадью и начал прикидывать возможные варианты. Маловероятно, чтобы это было уловкой одной из разведок, - зачем бы им понадобилось его предупреждать? Да если б кто-нибудь из них хоть заподозрил, что он Гюнтер фон Корф, ему бы вряд ли позволили долго наслаждаться приятной беседой за вечерним чаем. По всему выходило, что тетрадь подбросил кто-то другой, - но зачем, зачем? Скорей всего, чтобы запугать и шантажировать.

Впрочем, нет - если его хотели шантажировать, то почему не шантажировали? Значит, хотели только запугать, в чем, надо признаться, вполне преуспели. Что ж, такой изысканный зигзаг отлично вписывался в образ действий его недоверчивых восточных владык. Это так соответствовало их стилю - нюхом учуять его стремление от них сбежать и пресечь это стремление в корне, дав ему понять, коварно и сокрушительно, что им все про него известно. И при этом так изловчиться, чтобы его тайная тетрадь невесть откуда возникла из небытия и тут же исчезла, не оставляя сомнений, что как они ее нашли, так они и его найдут, если только захотят.

Карл, собственно, и не сомневался, что они, если захотят, найдут кого угодно и где угодно. Потому-то он и пошел на эту рискованную затею, что не надеялся от них спрятаться. Зато, имея в кармане столь ценную кассету, рассчитывал с ними сторговаться, - в чем-чем, а в торговле они толк знали. Именно для успешной торговли ему нужно было надежное, никому, кроме него, не известное убежище и верная женщина для связи. Оставалось выяснить, насколько эта женщина ему еще верна.

Краем глаза Карл заметил, что Эльза двинулась к кухонному окну, в котором появилась тарелка с его шницелем. Хоть она на него не смотрела и хоть был он не так уж и похож на прежнего себя, он все же предпочитал не сталкиваться с ней лицом к лицу. Чтобы избежать этого, он взял с подоконника оставленную кем-то газету и уткнулся в открытый его предшественником разворот. Очередная за-

поведь агента предписывала во избежание разоблачения обязательно читать газету, взятую в руки для прикрытия. И он начал читать, не слишком вдумываясь в смысл прочитанного, но все же запоминая его на случай, если кто-нибудь дотошный поинтересуется, что же он там вычитал.

Одна из статей привлекла его внимание, не столько замысловатым заглавием “Что скрывается за благочестивым фасадом?“, сколько большой, во всю ширину страницы, фотографией. На ней многолюдная вереница фигур, облаченных в светлые, вероятно, белые, длинные, до земли балахоны, втекала под сводчатую, уводящую в темноту арку. Перед аркой лицом к камере, воздевая вверх руки, словно для благословения, стояли двое, тоже в балахонах, - седовласый мужчина и молодая женщина в темных очках. Карлу показалось, что женщину эту он когда-то знал, - она была очень похожа на одну из двух нечесанных девиц, в визгливой компании которых он много лет назад, перед арестом, прятался в тайной квартире. Эту, кажется, тогда звали Лиззи.

В памяти тут же услужливо всплыло ее настоящее имя - Зильке Кранцлер. Помнится, полиции так и не удалось ее схватить. Конечно, это могла быть вовсе не она, фотограф ухватил ее лицо в полупрофиль, но сходство было поразительное. Может быть, не с портретом, напечатанным когда-то в полицейском листке, но с той вздорной, сексуально озабоченной девицей, которая больше всех отравляла жизнь Карла в невыносимые месяцы их добровольного заключения.

Прислушиваясь к шагам приближающейся Эльзы, он еще глубже погрузился в чтение газеты:

“Началось расследование, - писал некто Ф. Штадлер, - подозрительной финансовой деятельности руководителей религиозной коммуны “Детей Солнца“, поселившейся несколько лет назад в бывшем имении фон Хакке в долине Карштала.“

У его локтя звякнула раздраженно поставленная на пластик стола тарелка, и голос Эльзы проскрипел:

- Ваш шницель, господин.

- Да, да, спасибо, - пробормотал Карл, не отрываясь от газеты. Пока он вслушивался в деловитый шорох бумажной салфетки и легкое позвякивание стакана, вилки и ножа о поверхность стола, глаза его автоматически вбирали в себя разрозненные обрывки фраз: “...зубной техник, который был членом секты более десяти лет... отписал свой дом и все сбережения... по требованию адвоката... никакого ответа... скудный рацион и всенощные бдения... лишение сна...”

тяжелым изнурительным трудом без оплаты... проповеди о конце света... собственность на десятки домов... банковские счета..."

- Вы тоже собираетесь на экскурсию? - хорошо поставленный культурный голос одной из соседок заглушил шаги Эльзы, и Карл не мог бы сказать точно, отошла она уже или нет. Поэтому он полуобернулся на голос, все еще прикрывая газетой обращенный к Эльзе профиль:

- А зачем еще люди приезжают сюда?

- Ну разумеется, только за этим. Я просто так спросила... вижу, что ваш обед остывает, а времени осталось немного, вот я и подумала...

Карл бросил осторожный взгляд через плечо - слава Богу, Эльзы там уже не было! Он положил газету обратно на подоконник и придвинул к себе тарелку:

- И действительно, есть что посмотреть?

- Говорят, там можно увидеть настоящие чудеса, - ободренная его вниманием, заторопилась соседка. - Подумать только, этот замок простоял здесь сотни лет и никто даже не подозревал, какие культурные сокровища скрываются за этими стенами.

"Никто, кроме меня. Но мне бы и в голову не пришло делиться этими сокровищами с толпой. И старику Отто наверняка тоже, - подумал Карл, опуская вилку. - Кто же это, интересно, надоумил Инге торговать старыми семейными тайнами?"

- Да вы ешьте, ешьте, а то не успеете. Через пять минут уже начнут впускать внутрь.

И впрямь, через пять минут, наспех насладившись плохо прожеванным шницелем, Карл уже двигался в многоязыком людском потоке, вливающимся в ворота замка. Инге у ворот не было. Билеты проверяла уже виденная им билетерша и тоненькая девушка в облегчающем комбинезоне из гладкой струящейся ткани того же цвета, что и ее коротко остриженные волосы. С первого взгляда она показалась Карлу очень молодой и очень красивой. Однако подойдя поближе он заметил, что она не так уж молода и не так уж хороша собой, просто облик ее был настолько освобожден от мусора бытовых деталей, что в нем преобладала трепетная духовная компонента, свойственная обычно очень ранней юности.

Глаза девушки то и дело обшаривали толпу, с жадным интересом выбирая и фиксируя лица проходивших мимо нее людей. Уж не она ли зачинщица всех этих перемен? В ее манере была какая-то особенная окрыленная уверенность в своей власти - над кем и над чем, хотел бы он знать. Опасаясь, что она заметит и запомнит его - в дру-

гой ситуации он был бы очень даже непрочь, но сейчас это было во-все некстати, - Карл переместился в очереди так, чтобы предъявить свой заветный картонный квадратик не ей, а очкастой билетерше, которая на него даже не глянула.

Войдя в знакомый двор, непривычно залитый светом мощных прожекторов, Карл опять поискал глазами Инге, но ее не было и здесь. Двор почти не изменился - тот же строй тополей вдоль стены, те же истоптанные веками камни под ногами, те же пышные герани на окнах. Исчезли только штабеля камней, заготовленных им когда-то для постройки холодильника, зато рядом со свинарником приютился сам холодильник, по всей видимости достроенный кем-то другим. Все выглядело так, будто жизнь здесь отлично продолжалась и без Карла, если не считать, конечно, смерти старика Отто, но вряд ли тот умер с тоски по нем. От этих мыслей Карлу в который раз стало не по себе - уж не промахнулся ли он, рассчитывая на неизменность жизни замка и постоянство его хозяйки? Что ж, скоро ему предстояло это выяснить.

Наконец все обладатели билетов прошли контроль и по знаку властной девушки неорганизованно двинулись вглубь двора.

- Наш маршрут начинается с подземного коридора, - объявила девушка, неожиданно огорошив Карла своим высоколобым, истинно академическим произношением, ничем не напоминающим своеобразный местный диалект. Значит, она не из местных и не из простых. Что же это за птица и как она залетела в здешнюю глухомань?

- Коридор этот был прорыт в тринадцатом веке, - продолжала девушка, направляя толпу вдоль стены туда, где раньше располагались комнаты Отто, - еще до постройки стены, охватывающей оба здания крепости. Этот коридор давал возможность защитникам замка тайно переходить во время осады из одного здания в другое.

Внезапно прожектора погасли все разом и двор погрузился в абсолютную, ни единой искрой света не нарушаемую темноту. Это длилось не дольше одной-двух секунд, затем в дверном проеме возникла парящая в воздухе женская фигура со старинным фонарем в простертой над головами зрителей руке. Она казалась очень высокой - то ли от обрамляющей ее рамы бархатной тьмы, то ли от ниспадающего тяжелыми складками платья из золотой парчи, стоячий воротник которого сливался с волной ее ниспадающих на плечи золотых волос. Эффект был потрясающий, толпа восторженно ахнула и затихла.

- Добро пожаловать в замок Губертус, - произнесла золотая жен-

щина голосом Инге и медленным плавным движением подняла фонарь еще выше, в то время, как тело ее начало плавно приземляться, пока носки золотых туфель не коснулись невидимых в темноте камней двора. Приземлившись, она, грациозно наклонив голову, нырнула под низкий свод дверного проема. Публика плотной цепочкой потянулась вслед за ней. При входе очкастая билетерша вручала каждому свечу, которую она доставала из висящей на крюке плетеной корзины и которую тут же зажигала возникшая рядом с ней стриженная девушка в облегающем комбинезоне.

Зажав в руке слабо потрескивающую свечу, Карл протиснулся вперед, поближе к золотой женщине. Первой же остановкой при повороте в неизвестное ему, только что реставрированное ответвление коридора, он воспользовался, чтобы подойти к ней почти вплотную и заглянуть в лицо. Окончательно убедившись, что это Инге, он осторожно попятился - пока было еще рано попадаться ей на глаза. Что и говорить, не так он себе представлял их первую встречу. Впрочем, это ведь была пока не встреча, а всего лишь прелюдия к ней. У него еще оставалось время присмотреться к этой почти незнакомой женщине, от доброй воли которой зависела сейчас его жизнь.

Она изменилась за эти годы. Не то, чтобы постарела, - скорее наоборот, даже посвежела, но при этом в ее лице, да пожалуй, не только в лице, а в осанке тоже, появилась некая особая зрелая значительность, какой он не замечал у нее прежде. Или ему это почудилось - ну что можно сказать о лице, освещенном только дрожащими бликами свечи, горящей внутри стеклянной клетки фонаря? А может, все это его фантазии - просто она немного располнела?

Диковинной длинной процессией, озаренной трепетным пламенем свечей, они, словно тени, ведомые в ад, потекли по причудливым извилинам подземного коридора. Голос Инге, усиленный мегафоном, говорил что-то смутно узнаваемое из учебника истории, но Карл не мог сосредоточиться на произносимых ею фразах. Нежданно-негаданно на него навалилось прошлое. Сколько раз он прошел когда-то по этому коридору - назад и вперед, назад и вперед? Не считать и не упомнить. В памяти остался только тот незабываемый последний раз, когда он бежал, оскальзываясь на гладких камнях, и толкал перед собой кресло Отто, а старик, как безумный, повторял одно только слово: "Скорей! Скорей! Скорей!"

Инге тем временем провела их карнавальное шествие к широкой площадке, которая завершалась коротким лестничным маршем из

красного камня, низвергающимся в центр круглого зала, расположенного в основании сторожевой башни. Здесь после темноты коридора было почти светло - зал был скупо подсвечен спрятанными в стенах назойливыми электрическими светильниками. В их полусвете бросались в глаза следы недавней реставрации - в стенах не зияли, как когда-то, дыры от вывалившихся камней и пол не был усеян рухнувшими столбиками опоясывающей второй этаж зала балюстрады. Все было аккуратно заделано, заштопано, замазано, сохраняя при этом, однако, зримые признаки старины. У подножия лестницы, охраняя вход в круглый зал, стояли два рыцаря в полных доспехах, при копьях и мечах.

Инге остановилась на лестничной площадке и повернулась лицом к публике. Где-то наверху вспыхнул яркий прожектор и осветил стену у нее за спиной. В руке Инге оказалась длинная указка, ловко орудуя которой она начала представлять публике развешенные на стене фотографии, изображающие полуразрушенные лестницы и заваленные камнями галереи, знакомые Карлу по прошлому.

Внезапно взгляд Инге на краткий миг скрестился со взглядом Карла и тут же скользнул мимо, но ему показалось, что в воздухе между ними вспыхнул и погас электрический разряд. Инге, конечно, его не узнала, но электрический толчок почувствовала несомненно, от чего черты ее исказились мимолетной гримасой то ли боли, то ли страха. Она прервала свою пояснительную речь почти на полуслове, поставила указку в угол и приложила руку ко лбу, будто пыталась вспомнить какое-то ускользающее из памяти слово. Это длилось недолго, всего какую-то долю секунды и, возможно, никто кроме Карла этого не заметил.

- Дамы и господа! - насильственно улыбаясь сказали губы Инге, тогда как в глазах ее все еще таился ужас. - Пришло время спуститься вниз и посетить недавно открытые и отреставрированные подвалы замка, более пяти веков хранившие мрачные тайны моих предков. Вы воочию сможете убедиться, что теперь они выглядят не так, как на photographиях последних лет, а так, как они выглядели в те далекие времена, когда бароны Губертус владели этим краем. Я передаю слово профессору Вильме Шенке, автору готовящейся к печати монографии о средневековой германской архитектуре, которая расскажет вам о тех далеких временах.

Тут она кивнула в сторону стриженной девушки, которая опять вынырнула из темноты и оказалась рядом с Инге, поддерживая ее под локоть, словно оберегала от падения. Кто бы мог подумать, - оказывается, эта обтекаемая пигалица не какая-нибудь секретарша, а уче-

ная дама, автор монографии! Значит, он правильно угадал, вся эта затея - ее рук дело. Интересно, как она вышла на Инге с ее сокровищами клана Губертусов? И почему она так бережно подхватила Инге под локоть?

- Дорогие друзья, - отчеканила фрау профессор на хох-дойч своим истинно профессорским голосом. - Сейчас вам предстоит необычное и увлекательное путешествие по подземным лабиринтам замка Губертус. Я надеюсь, нервы у вас крепкие?

В толпе раздалась веселые голоса, клятвенно заверяющие фрау профессор, что нервы тут у всех, как канаты.

- Вот и отлично! - Вильма Шенке взяла у Инге фонарь и его неуверенный свет на миг озарил лица стоявших в первых рядах. Застигнутый врасплох Карл поспешно попятился и шарахнулся вглубь галереи, наступая на ноги тем, кто теснился вперед мимо него. К счастью, все были так захвачены разыгрывавшимся на площадке спектаклем, что никто не обратил на него внимания.

- Готовы ли вы к опасностям и головокружительным новым впечатлениям? - спросила Вильма и толпа дружно отозвалась:

- Готовы!

- Тогда пошли! - задорно воскликнула Вильма. - Но только чтобы потом никаких жалоб, вы сами захотели!

И повела оробевшую процессию вниз по лестнице.

Карл, который счел благоразумным пристроиться в самом конце, среди натужно ковыляющих старушек, заметил, что некоторые участники спектакля, изрядно струсил и начали озираться по сторонам в поисках удобного выхода. Он бы и сам стал озираться, если бы не знал, что все известные ему, искусно замаскированные выходы из круглого зала были куда страшней и опасней, чем приведший их сюда невинный извилистый коридор.

Инге чуть отступила, уступая им дорогу, и Карл примедлил шаги, стараясь избежать встречи с ней. Слава Богу, она не стала долго задерживаться, а выудивши еще один фонарь из какого-то скрытого от постороннего взгляда хранилища, зажгла его одним ловким движением и последовала за Вильмой. Глядя на ее умелые крупные руки, Карл вдруг вспомнил естественную сноровку ее ладного тела, восхищавшую его в часы их кратких свиданий, до краев насыщенных ее любовью. Осталось ли у нее что-нибудь от этой любви?

Стараясь по мере сил не опережать своих старушек, Карл в хвосте процессии спустился в круглый зал, где обнаружили даже неко-

торые экземпляры грубо сколоченной древней мебели. В его времена зал был не просто пуст, - мебель выглядела бы совершенно неуместно в его затянутых паутиной и продуваемых всеми ветрами просторах. Впрочем, и теперь, хоть паутину в основном смахнули и дыры в стенах заделали, ветры могли по-прежнему свободно гулять под потолком, врываясь в произвольно разбросанные по стенам бойницы.

Будь он проклят, этот зал, из которого он совершил когда-то роковой прыжок во мрак своей теперешней жизни, своего ненавистного посмертного существования. В памяти замелькали непрошенные картины из той, казалось бы начисто вытесненной, но оказывается вовсе не забытой поры, когда он проводил здесь целые дни. Картины эти были настолько яркими, живыми и почти осязаемыми, что он напрочь пропустил мимо ушей всю лекцию профессора Вильмы, которую остальные слушали разинув рты.

Очнулся он только, когда толпа зашелестела, зашуршала и двинулась по окружности зала к хорошо знакомому Карлу узкому простенку, в торцовой стене которого скрывался тайный вход в подвал. Вильма, ни на секунду не прерывая своих хорошо отрепетированных объяснений, с ловкостью опытного регулировщика выстроила экскурсантов в четыре полукруглых шеренги, стоящих в затылок друг другу, и вызвала вперед смельчаков, желающих проявить смекалку. Хоть Карл и не слышал, в чем именно их смекалка должна была проявиться, его собственная смекалка подсказала ему, что им предстоит обнаружить секретный замок, отворяющий заветную дверь.

Значит, реставраторы замка эту дверь нашли и открыли, чего, собственно, и следовало от реставраторов ожидать, если они хоть чего-нибудь стоили. А раз первую дверь открыли, так, небось, и вторую тоже. А может, вторую все же не смогли? Ведь ключ от нее остался на дне воющего колодца в связке других ключей, поспешно брошенных им в тот суматошный день в смрадное чрево ловушки. Карл вспомнил, как бросив связку вниз, он со стесненным сердцем дожидался звона от удара ключей о камень, дожидался, несмотря на спешку, дожидался долго и тщетно, пока не сообразил, куда, вернее на что, упали ключи, так и не зазвенев. На что или на кого, - как точнее назвать то, на что они упали?

Но если дверь все же открыли, то скорей всего нашли там весь набор, - и ключи, и то, на что они упали. А это значит, что Инге считает его мертвым. Надо этот факт учесть и использовать при инсценировке их встречи. Неудержимый поток мыслей Карла, абсолютно отключивший его от разворачивающихся у него на глазах событий,

был прерван громким воплем многих глоток. Особенно вдохновенно и пронзительно звенели голоса его престарелых соседок, которые были вне себя от восторга, смешанного с упоительным ужасом.

Огромным усилием воли Карл заставил себя вернуться к реальности. Четверка смелых и догадливых - хорошенькая блондинка, два спортивных юнца и упитанный господин средних лет, - выстроились перед зрителями спиной к черному зеву отворенной двери в подвал, гордо воздев в воздух победно сплетенные руки. Карл не следил за временем и не знал, как долго продолжались поиски секретного замка, но он не сомневался, что организаторы экскурсии позаботились о том, чтобы смелые и догадливые справились со своей задачей не позднее, чем это было запланировано. Как это похоже на Инге - четкость замысла и точность его исполнения!

- Отлично! - воскликнула Вильма и в руке у нее появилось нечто вроде маленького букета на красных стеблях.

- Всем участникам команды-победительницы полагаются скромные призы!

Она проворно надела на шею смелых и находчивых красные шнурки с пластиковыми копиями ключей от разных дверей замка. Карл вспомнил, что каждый ключ не похож на другой и являет собой истинное произведение древнего кузнечного искусства. Он только запечатлел, как Инге называла свою коллекцию антикварных ключей, всегда висевших на стальном обруче в простенке между кухонными окнами. Кажется, каким-то смешным именем из сказки, вроде "Двенадцати лебедей". Нет, не лебедей, а каких-то других птиц, из другой сказки, но вот каких птиц, из какой сказки?

Карл почувствовал, что сойдет с ума, если не вспомнит, кого же там было двенадцать, а может, вовсе не двенадцать, ну конечно не двенадцать, а тринадцать - в этом все дело! В голове прояснилось и вслед за злонамеренной цифрой тринадцать из заросших травой забвения глубин вынырнуло имя связки ключей - "Чертова дюжина красавцев". Один из этих красавцев - как раз тринадцатый - обладал уникальным свойством: он отпирал ту страшную дверь. Когда здесь, у входа в круглый зал, змеиноголовый Отто недрогнувшей рукой вручил ему тринадцатого красавца, он не только заранее знал, он самозабвенно предвкушал, что должно произойти с Карлом за этой дверью. Он не знал только одного - что Карл тоже это знал.

И Карл с накатанной привычностью, от которой, как ему казалось, он наконец избавился в последнее время, в сотысячный раз представил

себе, что бы с ним стало, если бы он за тот год не облазил и не выучил наизусть все закоулки коварного замка Губертус. Как он смеялся - безмолвно, конечно, - над старым интриганом, пока катил его кресло вниз по подземному коридору, притворяясь, что готов доверить ему свою жизнь и с благодарностью принять из его рук тринадцатого красавца, открывавшего ему дорогу к верной и мучительной смерти! Жаль, что старик уже умер, так и не узнавши правды, и Карлу не удастся пронзить его сердце своим вполне материальным появлением.

Тем временем артистичная профессорша средневековой архитектуры перестроила своих подопечных в длинную вереницу, которую с помощью Инге направила на узкий, неизвестный Карлу мостик, ведущий на просторный балкон, парящий в полутьме над стеклянной площадкой. Карл был уверен, что этой площадки в его времена здесь не было. Одного взгляда на эти скрепленные стальными рамами стеклянные квадраты было достаточно, чтобы оценить их возраст, - они, вне всякого сомнения были продуктом современной индустрии, хоть скрывали под собой следы вековых преступлений.

Для чего настланы эти плиты? Что скрывается под ними сегодня, что убрано, что оставлено на обозрение? Вильма прервала взмученный тревогой поток мыслей Карла:

- А сейчас мы будем искать тайный вход в фамильную сокровищницу Губертусов. Для этого мне нужен один смельчак. Только один смельчак, но истинный, готовый на головокружительно опасную авантюру! Имейте в виду, что немало народу погибло в поисках этого входа. Кто готов сегодня рискнуть?

Неужто они хотят заманить кого-то из публики в ловушку? Безумная идея на миг затмила сознание Карла - а что, если ему вызваться? Он-то знает отлично, что его там ждет, и не провалится, зато сумеет заглянуть в ту отвратную бездну и узнать, что лежит на дне. Скорей всего, они давно нашли ЭТО и убрали, - но вдруг нет? Не то что не нашли, но не обратили внимания, мало ли мусора там скопилось за века? Или наоборот - не только нашли, но почистили и аккуратно разложили под стеклянным колпаком, чтобы впечатлять доверчивых обладателей билетов ценой в двадцать марок.

Пока он боролся с дуррацким детским соблазном, дюжина рук взлетела вверх:

- Я!!

Вильма обвела глазами обращенные к ней лица и поманила к себе кого-то из толпы:

- Идите сюда! Нет, нет, не вы, а ваша соседка, - остановила она высокого рыжего парня, который начал торопливо протискиваться к ней.

Соседка парня оказалась такой же высокой и такой же рыжей, как он сам. Окинув жестким оценивающим взглядом спортивную фигуру девушки, облаченную в джинсовый костюм и белые кроссовки, Вильма удовлетворенно кивнула ей и спросила, готова ли та к неприятным сюрпризам. Девушка радостно подтвердила свою полную готовность к любым испытаниям, обнаружив при этом ярко выраженный американский акцент.

- Тогда пошли! - воскликнула Вильма, пренебрегая хором мужских голосов, обиженно протестующих против ее выбора. Но уводя американку по мостику обратно в зал, где все светильники вдруг погасли, она не выдержала и обратилась к разочарованным представителям сильного пола:

- Я вижу, вы все еще думаете, что мужчины в чем-то превосходят женщин? И это после того, как мы с баронессой Губертус наглядно доказали вам, что женщины способны справиться с любой сложной задачей. Ведь вы видели, как замок выглядел всего несколько лет тому назад и как он выглядит теперь!

“О господи, так наша фрау профессор - феминистка!” - догадался Карл. А как же Инге? У нее, похоже, не было к этому никакой склонности, она всегда была женщина от кончиков пальцев до мозга костей. И все же как-то странно: прошло столько лет, а она все еще не вышла замуж - при ее-то красоте и прочих достоинствах, не говоря уже о сказочном замке Губертус, перешедшем в ее владение после смерти старика Отто. Карлу вдруг ясно представилось, как полчаса назад Вильма бережно подхватила Инге под локоть, будто она фарфоровая. С чего бы это? Что там за отношения? Пожалуй, пора было отрываться от экскурсантов и отправляться на разведку.

Он сделал было шаг назад, намереваясь потихоньку протиснуться среди старушек, проскользнуть на мостик и раствориться в сумраке красного зала. Но в этот момент стеклянные плиты у подножия балкона дрогнули и начали медленно расходиться в стороны, открывая под собой узкий туннель коридора, в котором тут же вспыхнул яркий свет. Сверху было хорошо видна рыжая грива отважной американки, которая за то время, что Карл обдумывал отношения Инге и Вильмы, успела отпереть наружную дверь тринадцатым красавцем и переступить порог коридора.

Сделав несколько осторожных шагов по надежному на вид ка-

менному полу, девушка остановилась и внимательно оглядела стены. Не найдя в них ничего примечательного, она сперва постучала по ним кулаками, а потом начала систематично нажимать на выступы и расщелины в поисках тайного входа. Убедившись, что с налету эту задачу решить не удастся, она переменяла тактику и смелее двинулась вперед. Все случилось так внезапно, что публика не сразу осознала, что девушки в коридоре уже нет - один из булыжников вдруг ушел у нее из-под ног и она, не успевши даже вскрикнуть, исчезла в разверзшейся под ней черной дыре. Толпа остолбенело помолчала секунду-другую, а потом дружно завывала. Даже у Карла, заранее предвидевшего, как это произойдет, перехватило дыхание.

Лампы в коридоре погасли и несколько женских голосов зашлись в истерическом визге, но тут сильный луч прожектора, прорезав тьму, нацелился точно в зияющий среди камней провал и высветил джинсовую фигуру американки, довольно удобно сидящей в поролоновом кресле, хитроумно вплетенном в сетчатый гамак. Лицо ее, вначале ошеломленное, стало быстро расслабляться, стремительно озаряясь восторженным сиянием. Карлу было хорошо знакомо это чувство блаженного обновления застывшей от ужаса крови, когда смертельная опасность осталась позади. Много лет он делал все для того, чтобы испытать это чувство снова и снова. Но последнее время смертный шок уже не проходил окончательно, а надолго оставался в теле безрадостной терпкой оскоминой.

И сейчас давно пережитый шок отозвался стеснением сердца и Карлу стало мутно при мысли, что придется продефилировать в общем строю через эти меченные недоброй памятью подвалы. Да еще весьма кстати подвернулось мудрое подозрение, что в круглый зал они уже больше не вернуться, так как их ждет лишь поступательная дорога вперед к новым аттракционам и к наново пробитому выходу куда-нибудь за пределы замка. Организаторы и распорядители этой чудо-экскурсии проявили слишком богатую изобретательность, чтобы не выпроводить ее участников восвояси без лишней головной боли из-за их попыток проникнуть в замок на обратном пути.

По всему выходило, что его первоначальное интуитивное побуждение покинуть общество любопытных старушек и красноречивой феминистки Вильмы следовало немедленно претворить в действие. Что он и выполнил, выбрав удобный момент, когда экскурсанты, слегка тесня друг друга, стали по очереди протискиваться в коридор с разинутой в центре пола пастью ловушки, на которую поло-

жили узкую металлическую доску, так что каждый, проходя по ней, мог содрогнуться при виде бездонной глубины у себя под ногами.

Вежливо уступая дорогу доверчивым старым дамам, уже успешным проникнуться к нему симпатией за его подчеркнута джентльменскую вежливость, Карл оказался замыкающим в длинной очереди желающих заглянуть в сокровищницу Губертусов. Дальше все было проще простого, - убедившись, что никто не обращает на него внимания, он слегка отстал от остальных, а потом быстрым решительным рывком взлетел вверх по ступенькам, пересек лестничную площадку и нырнул под темные своды подземного коридора. Там он свернул налево, в направлении комнат Инге.

## Ури

Ури бродил по тускло освещенному библиотечному залу, беспорядочно сдвигая и раздвигая скользящие по рельсу полки с книгами. За каждой отодвинутой полкой он обнаруживал втиснутое среди книг скрюченное тельце Брайана, одетое в потертый коричневый пиджак с замшевой заплаткой на локте. Он поспешно задвигал полку, открывая при этом новый зазор, в котором неизменно появлялся тот же коричневый пиджак с той же замшевой заплаткой на локте. Пытаясь избавиться от этого наваждения, Ури все быстрее и быстрее бежал вдоль бесконечного ряда полок, сдвигая и раздвигая их со все возрастающей скоростью, так что постепенно бег его превратился в дробную канонаду ударов дерева по дереву.

Когда деревянная канонада стала совсем невыносимой, он открыл глаза и обнаружил прямо перед собой ногу в черном башмаке на шнурках. Нога нацеливалась и, чуть подрагивая в икре, небольно пинала его в плечо.

- Хватит, - сказал он хриплым спросонья голосом. - Я уже не сплю.

В ответ над ногой возникло симпатичное средневропейское лицо, декорированное тонкой полоской усов. Усы изогнулись в улыбке над ртом, безуспешно пытающимся выдавить из себя немецкие слова:

- Вставать надо. Идти телефон.

Телефон? Сон разом слетел с Ури, он вскочил и устремился к выходу. Джимми заворочался на полу, но не проснулся. Дверь за Ури захлопнулась, и он оказался в коридоре, откуда его быстро провели в чей-то кабинет с креслом и письменным столом. На столе потрескивала снятая с рычажка телефонная трубка. Ури схватил ее и прижал к уху, краем глаза заприметив, что сопровождавший его поли-

цейский деликатно вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Ну конечно, слушать их разговор здесь, в кабинете, вовсе не обязательно, его можно прекрасно прослушать по параллельному аппарату.

- Ульрих Рунге? - зазвучал в трубке знакомый голос.

- Да, это я, - сдержанно ответил Ури, лихорадочно пытаюсь припомнить, откуда он так хорошо этот голос знает. Загадка разрешилась сама собой, когда его собеседник перешел на иврит,

- Как тебя туда занесло, хотел бы я знать?

Сомнений не оставалось, - это был Меир, как, впрочем, и следовало ожидать.

- А разве мать тебе ничего не рассказала? - спросил Ури, предполагая, что это очередная игра Меира, - ему, дескать, ни к чему посредники, он хочет все узнать из первоисточника.

- Мать? - голос Меира вдруг сорвался, словно он поперхнулся этим словом. - Твоя мать, что ли?

А чья же еще, интересно? Меир молчал, только дышал в трубку, можно было подумать, что он нарочно тянет время, неясно просто, зачем.

- Ну ясно, что моя! Она что, ничего тебе не рассказала?

Меир наконец справился со своим сбившимся дыханием и проговорил невнятно:

- Так получилось, что мне не удалось с ней поговорить.

Он опять немного помолчал и объяснил:

- У нас тут началась такая карусель, что мне было не до разговоров с ней.

Что там началась карусель, Ури не сомневался, но как это Меир не выслушал Клару?

- До такой степени ты закрутился?

Меир опять поперхнулся словами:

- Представь себе, до такой. - Он так глубоко вдохнул воздух, что трубка зажужжала, словно пчелиный улей. - Но ты все еще не ответил на мой вопрос.

На это Ури ответил новым вопросом:

- А Лу у тебя тоже не нашлось времени выслушать?

- Лу я, конечно, выслушал, но понять ее было трудно. У нее в мозгах что-то заиклилось, так что в ее рассказе концы с концами не сходятся.

- Что же именно не сходится?

- Она просто помешалась на идее, что миссис Муррей убил какой-то бабочник. У нас полчаса ушло только на то, чтобы выяснить, что бабочником она называет местного кабатчика, Патрика Рэнди. Но вот зачем

ему это понадобилось, выяснить не удалось. Она совсем потеряла голову, тем более, что Джерри устроил ей страшный скандал из-за машины.

- А что случилось с машиной? - насторожился Ури.

На Меира опять накатил приступ спазматического кашля, - зубочисткой своей он подавился, что ли?

- Он расвирепел от того, что она без спроса отдала тебе ключи, - промямлил он, прочищая горло.

- Это в момент, когда убили Брайана? Кстати, что она сказала о его убийце?

- Она ворвалась ко мне в истерике, выкрикивая, что Брайана убил Ян Войтек, но сама не знала, откуда она это взяла.

- И ты ей, разумеется, не поверил? Зачем же ты тогда приказал перехватывать все частные самолеты? Чтобы остановить меня?

- Да я понятия не имел, что ты тоже улетел, пока мне не прислали из Меца фотокопию твоего немецкого паспорта! Я глазам своим не поверил.

- Значит, ты все же хотел перехватить Яна Войтека?

- Не столько его, сколько кабатчика. Он-то улетел наверняка, это мы проверили, но вот был ли он один или с кем-то другим?

- Вот и спросил бы у Клары. Она-то знает, что с ним был пассажир.

На этот упрек Меир ответил не сразу. Он засопел, зашуршал, - похоже, закурил сигарету и, наконец, громко выдохнул:

- Предположим, ты прав и он улетел с пассажиром. Но откуда ты взял, что это Войтек?

Ури похолодел, - все это время он в глубине души надеялся, что пограничники успели перехватить самолет бабочника.

- То есть, меня вы сумели задержать, а его нет?

- Пока нет, - сокрушенно признался Меир.

- Ничего себе пока! Да он уже давно приземлился!

При мысли о том, где Карл мог приземлиться, Ури охватила бесильная ярость:

- Немедленно прикажи отпустить меня, - выкрикнул он, нарушая все правила субординации. - Один раз ты уже его прошляпил, так не повторяй своей ошибки!

Похоже, и Меиру было не до субординации. Вместо того, чтобы рассердиться, он сказал устало:

- Тише, тише, не кипятись! Сейчас тебя отпустят, только сперва объясни, ты что - погнался за Войтеком? Почему за ним? Как он связан со смертью старухи?

- Разве Лу тебе это не рассказала?

- Я тебе уже говорил, что в рассказе Лу не хватает слишком многих звеньев, чтобы вышло что-то связное.

Это правда, Лу тут была ни при чем, она ведь толком ничего и не знала.

- Я повторяю - хочешь понять, расспроси Клару. А пока, распорядись поскорей, чтобы эти французы немедленно меня отпустили, а не то Войтек и от меня улизнет. Если уже не улизнул.

- У тебя что, есть сведения, куда он направился?

На этот вопрос Ури сейчас ответить не мог - он не хотел еще и Инге впутывать в это дело. Попозже он придумает какую-нибудь невразумительную полуправду, которую можно будет попытаться выдать за правду. И в которую Меир скорее всего не поверит, но это будет потом, когда это будет не так уж важно. А сейчас нужно любой ценой выбраться из идиотской ловушки, расставленной Меиром для Карла.

- Наверняка сказать не могу, но кое-какие соображения имеются. Только все они ограничены временем, еще немного - и будет поздно.

- Для чего поздно?

Чтобы вырваться из бульдожьей хватки Меира, нужно было рубить сплеча:

- Если Войтек удерет к своим хозяевам, он унесет с собой заснятую им в хранилище киноплёнку.

Этого Меир не ожидал. Даже сквозь потрескивание эфира можно было почувствовать крутой всплеск напряженности его электромагнитного поля:

- Откуда у тебя эта бредовая идея?

- А для чего еще ему понадобилось такой ценой добывать секретный ключ миссис Муррей?

- А как он эту пленку, по-твоему, умудрился заснять?

- Я подозреваю, что он ухитрился установить камеру в хранилище древних рукописей.

- В хранилище? - не поверил Меир. - Когда?

- Где-то за пару дней до приезда принца.

- Но как он туда вошел? Ему же не дали пропуск!

- Оказалось, что Брайан как-то ночью тайком водил его туда на экскурсию.

В этом месте Меир взвыл, как от зубной боли:

- Откуда ты знаешь?

Ури сообразил, что потеряет еще полчаса, если примется сейчас

описывать ночной эпизод в хранилище, про который он как-то запомнил рассказать Меиру в тот проклятый нервный день, - неужто это было только вчера? Мысленно браня себя последними словами за недосмотр и лживость, он однако пошел по проторенному пути и подло воспользовался тем, что слова его никто уже не сможет проверить:

- Брайан мне сам покаялся.

- И ты не поднял тревогу?

- Хочу тебе напомнить, что тревогу я как раз поднял.

- Но про посещение Войтеком хранилища промолчал!

Выхода не было - если уж врать, так врать до конца:

- Он рассказал мне об этом вчера вечером, но ты отказался со мной встретиться.

Что хорошо было в Меире, это чувство справедливости - осознав правоту Ури, он сразу согласился принять вину на себя.

- Вчера мне было не до тебя, да и вряд ли бы это что-то изменило, - вздохнул он, давая понять, что все равно бы не поверил подозрениям Ури. И ведь все из-за Клары! Оба безмолвно признавали, - верней, признавались, - что Меир бы так не ощетинился вчера из-за Яна Войтека, не будь здесь замешана Клара.

Ури глянул на часы - ужас, они проговорили уже десять минут!

- Хватит тратить время, Меир, - взмолился он. - Ведь ты обещал сделать так, чтобы меня отпустили!

- Так и не скажешь, куда? - голос Меира поразил Ури странной смесью кротости и печали, словно произнесенное вслух напоминание о Кларе лишило того власти над ним. Потом, позже, когда ему открылась страшная правда, воспоминание об этом кротком голосе и о судорожном кашле Меира в начале их разговора всякий раз надрывало сердце Ури неискупимым чувством вины. Но сейчас он ни о чем таком не подумал, он знал только одно - он должен вырваться отсюда и мчаться в замок, пока Карл не сотворил чего-нибудь с Инге.

Правильно оценив молчание Ури, Меир сдался:

- Ладно, езжай. Я сейчас распоряжусь.

И заботливо предложил:

- Хочешь, чтобы местная полиция дала тебе тремп?

“Все-таки надеется хитростью выяснить, куда я поеду”, - пронеслось в голове Ури, но машина-то была ему и впрямь необходима.

- Нет. Пусть лучше дадут мне свою машину, я сам поведу, - сказал он твердо, пользуясь необъяснимой покладистостью Меира, но

почему-то не удивляясь ей, чего он сам впоследствии никак не мог понять. Равно как и простить себе эту непонятливость.

- Ладно, бери машину, - покорно согласился Меир, - но все же держи со мной связь.

Где-то на задворках сознания промелькнула полумысль-полудогадка, что и по машине его можно будет засечь, но так и погасла, не добравшись до поверхности. Какая разница, что будет потом?

Несмотря на обещания Меира, не менее получаса ушло на выполнение дурацких бюрократических формальностей. Когда Ури вывел, наконец, за ворота выданную ему под расписку полицейскую машину, к нему подскочил взъерошенный Джимми. Значит, и его тоже отпустили!

- Подкинешь меня до самолета? - взмолился он.

Хоть Ури было его жаль, сейчас ему было не до благотворительности.

- Только за тысячу фунтов, и ни пенсом меньше, - отмахнулся он от Джимми. - Такси обойдется тебе дешевле! - крикнул он на прощанье и нажал на газ.

## Карл

Идти в полной тьме было не слишком приятно, но Карл не решился воспользоваться неизменно хранящимся в сумке фонариком, - кто знает, а вдруг у них тут есть охранник, который следит за тем, чтобы никто не пустился на самочинную экскурсию по закрытым для публики переходам. Он еще хорошо помнил этот отрезок туннеля, исхоженный когда-то сотни раз, и мог обойтись без фонарика. Правда в конце пути, не слишком полагаясь на свои представления о пройденном расстоянии, он все же замедлил шаг и выставил вперед руки с растопыренными пальцами. Последние метры он прошел с трудом, словно брел под водой, стараясь не поддаваться панике при мысли о том, что хитроумные реставраторши могли сменить тайный замок зеркальной двери.

Но, слава Богу, замок остался прежним и Карл беспрепятственно проник в рыцарскую трапезную. Там он нашел наощупь бесконечно древнее деревянное кресло, которое как ни странно стояло там же, где и раньше, и тяжело опустился в него, чтобы прислушаться и перевести дыхание. В комнатах было темно и тихо. Уставший от темноты Карл начал уже шарить в недрах сумки в поисках обшитого фетром пенала с фонариком, как вдруг его настороженное ухо уловило невнятный шорох и он застыл, упершись руками в твердые подлокотники кресла.

Шорох приблизился и Карл, готовясь к сопротивлению, отпустил

подлокотники, неясно сознавая, какого рода опасность на него навигается. Однако он еще не успел выпрямиться, как тяжелая мохнатая туша навалилась ему на плечи, и по лицу его заскользило что-то мокрое, горячее, пахнущее болотным перегноем. И тут его осенило - да ведь это верный Ральф, как он мог про него забыть? Пес узнал старого друга и поспешил к нему - поздороваться и выразить свою неизменную собачью любовь!

Стараясь не упасть под напором этой любви, Карл обхватил руками могучую шею и благодарно прижался щекой к поросшей шелковистой шерстью морде:

- Ральф, старый дружище, ты не забыл меня? - прошептал он в трепещущее от радости собачье ухо, думая при этом: "Хорош бы я был сейчас, если бы он меня забыл!"

Ясно было, что в квартире никого нет, так что можно было вытащить фонарик и оглядеться. В трапезной практически ничего не изменилось, за исключением исчезновения двух рыцарей в доспехах, - наверно это их он видел давеча у входа в круглый зал. В сопровождении Ральфа он поднялся по лестнице и прошел в спальню Инге. Там кое-какие мелочи, вроде прикроватных тумбочек и торшеров были заменены новыми, более современными, но в остальном все осталось, как было.

Впрочем нет, не все - постель была не убрана, покрывало сдернуто и, скомканное, свисало с одной стороны до самого пола. Зная безумный педантизм Инге в вопросах чистоты и порядка, Карл нашел это странным. Он внимательно обследовал кровать, она тоже оказалась новой, добротной, с жестко присоединенными тумбочками. Подушек на кровати было две, обе смятые и сдвинутые к центру, навстречу друг другу, тумбочки были использованы несимметрично - в одной скученно толпились все те же знакомые ему баночки с кремами и флакончики с душистыми маслами, зато вторая была абсолютно пуста. Для кого, интересно, хранила ее Инге в столь незапятнанной девственности?

То же самое он обнаружил в наново обустроенном стенном шкафу - одну его половину занимали аккуратно разложенные и развешанные вещи Инге, вторая зияла сиротской голизной незаполненного ничем пространства. Обыскивать покои баронессы Губертус было непросто - каждый раз, когда Карл наклонялся или протягивал куда-нибудь руку, он наткался на трепетный мокрый язык Ральфа, тут же начинающий равномерно облизывать любой подвернувшийся участок обнаженной кожи. Что это, пес еще не насытился восторга-

ми встречи или в такой форме выражает недоумение по поводу странного поведения внезапно возвратившегося божества?

Карл бегло глянул на часы - времени до конца экскурсии оставалось совсем немного, нужно было спешить. Осмотр остальных комнат мог бы хоть немного приоткрыть завесу над сегодняшним бытом Инге.

Карл решил начать с кухни, - Инге очень любила эту просторную комнату, украшенную древней печью, которая кормила когда-то десятки прожорливых ртов. После того, как Инге лично спланировала и осуществила замысловатый проект модернизации, кухня, конечно, выглядела совершенно иначе, чем в рыцарские времена, и печь теперь служила не более, чем декорацией.

С декоративной точки зрения кухня поражала воображение, как и прежде, но интерес Карла был отнюдь не эстетическим. Первым делом он осмотрел стол, тоже неубранный - это что-то новое у Инге, раньше она ни за что не оставила бы на столе немытые блюда и чашки с кофейным осадком на дне. Чашек было две, но это еще ни о чем не говорило - Инге вполне могла перед экскурсией угостить фрау профессор чашечкой кофе.

Никаких признаков, указывающих на то, что здесь живет еще кто-то, кроме Инге, Карл не обнаружил, но разлитая по квартире атмосфера покоя и благополучия никак не соответствовала предполагаемой тоске одиноких женских ночей. Карл знал, что Инге начисто лишена легкомысленной склонности к однодневным любовным интрижкам, - как же жила она все эти годы, неужто ни с кем не делила стол и постель?

Не найдя ответа на этот вопрос на кухне, он пустился в дальнейшее путешествие по пустой беззащитной квартире, которая когда-то служила ему прибежищем. Сразу по приходе его наметанный глаз зарегистрировал новую дверь в конце коридора, там, где в былые времена короткий лестничный марш обрывался заградительной стальной пластиной. Теперь мраморные ступени были отремонтированы, пластина убрана и на ее месте сверкала обитая кожей дверь.

Карл направился к ней, Ральф припустил впереди, весело помахивая хвостом, - словно его ожидало там что-то приятное. Дверь отворилась с одного толчка мягко и бесшумно - в зыбком свете заоконных фонарей Карлу открылся отлично оборудованный гимнастический зал. Чего-чего, но этого он никак не ожидал. Посверкивали хромом хитроумные тренировочные приборы, над горизонтальной стойкой, где выстроились гантели всех размеров, висели кожаные пояса

для поднятия тяжестей, а на торцовой стене красовалась мишень, не любительская, а настоящая, профессиональная, похожая на ту, на которой они тренировались в ливанском лагере. Карл подошел поближе и осветил мишень фонариком - она была многократно прострелена, причем следы пуль кучковались вокруг яблочка.

Карл представил себе Инге с пистолетом в руке, - вышло не так уж плохо, - рука у нее несомненно твердая и глаз точный. И все же что-то мешало ему поверить, что это она так классно изрешетила мишень. Да и к чему бы ей? Он отворил дверцу стенного шкафа, на нижней полке стояли две пары спортивных туфель, обе размера Инге, на крюках висели тренировочные майки и синий купальный халат. Карл поднес к носу махровый рукав, - от него пахло то ли хорошим мылом, то ли дезодорантом.

Карл медленно прошелся по залу, выхватывая лучом фонарика разные углы и закоулки, но ни один не выдал ему свою тайну. Неужто Инге построила и оборудовала все это для себя одной? Он снова вернулся к шкафу и еще раз обследовал обе пары спортивных туфель, - может, одна из них принадлежит ученой феминистке? Карл представил себе маленькие профессорские ноги, уверенно ступающие по плитам красного зала, - нет, маловероятно, у нее размер гораздо меньше, чем у Инге. А если бы она даже тренировалась в этом зале, что это меняет, о чем говорит?

Ральф неотступно следовал за Карлом, то и дело выискивая возможность любым способом выразить свою преданность.

- Что мне толку от твоих восторгов, друг, - упрекнул его Карл, утирая со щеки очередную порцию любовной слюны, - если ты молчишь о главном? Кому еще ты лизал руки, пока меня здесь не было?

Вместо ответа Ральф вдруг наострил уши и с лаем бросился в коридор, призывно оглядываясь на Карла. Он явно приглашал дорогого гостя поспешить вместе с ним навстречу хозяйке, чтобы поскорей сообщить ей радостную новость. Но Карл разочаровал верного пса, - он не только не пустился вслед за ним, но еще отгородился от него дверью, которую, впрочем, прикрыл не плотно, а оставив узкую щель.

Он успел как раз вовремя, - в кухню, судя по голосам, с шумом ввалились все три дамы-распорядительницы экскурсии и, не обращая внимания на возбужденный визг Ральфа, увлеченно продолжали затеянный раньше спор. Громче всех настаивал на чем-то простонародный голос билетерши:

- ...я вас уверяю, я ведь, когда раздаю свечи, всегда считаю!

- Милая фрау Штрайх, даже вы могли ошибиться, - утешительно проворковала фрау профессор. - Особенно когда народу так много, как сегодня.

- Уверяю вас, уверяю! - заволновалась фрау Штрайх, повышая регистр. - Один человек остался в подвалах! Я ведь, когда раздаю свечи, всегда считаю!

Карл сообразил, что речь идет о нем.

- Я не сомневаюсь, что вы точно сосчитали свечи. - Инге, как всегда, владела ситуацией. - Но могли ли вы сосчитать всех выходящих...

...особенно при такой прорве народу! - подхватила Вильма. И тут же добавила почти сердито:

- Ну что вы стоите, как чурбан, Инге? Боком повернитесь, боком! Тяните подол на себя, фрау Штрайх! Видите, верхний крючок заело, я уже ноготь сломала, никак не расстегну.

“Вот зачем они здесь, - догадался Карл. - Помогают Инге выбраться из золотого платья!”

Наступило напряженное молчание, после чего крючок, вероятно, расстегнулся и мысли Вильмы потекли в более приятное русло:

- Мне кажется, экскурсия сегодня удалась на славу!

Тут Ральф громко ворвался в беседу, требуя, чтобы его наконец выслушали, и Карл возблагодарил всевышнего за то, что людям не дано понимать собачий язык. Напрасно пес надрывался, искренне желая донести до любимой хозяйки то, что знал он один, - его усердие не было вознаграждено. Беднягу в конце концов выставили в коридор, чтобы не мешал разговаривать, и кухонная дверь захлопнулась. Так что конца беседы, посвященной исчезнувшему из общего строя злоумышленнику, Карлу подслушать не удалось. По всей вероятности, было решено, что фрау Штрайх попросту обсчиталась, потому что спустя несколько минут, щедро оркестрованных обиженным скулежом Ральфа, два женских силуэта спустились с крыльца и устремились к чуть поблескивающему в сумраке силуэту автомобиля. Взревел мотор, распахнулись и затворились ворота, и Карл наконец остался наедине с Инге.

Наедине, если не считать Ральфа.

*Лев Лосев*

★★★

*Искать адреса не по плану, а по роману  
Достоевского - топография пойдет веером.  
Та улица станет неприлично коротка,  
а та удлинняется, удлинняется, дура,  
и одно преступление происходит  
сразу по трем адресам.*

*Так наз. реальность  
оборачивается срамом.*

*Мы хотели увидеть панораму  
Дельфта, увиденную Вермеером.  
Но не туда текла река,  
параллельные улицы пересекались, архитектура  
отряхивала готику, и стало ясно,*

*что увидеть вермеерову панораму рая  
можно, только грохнувшись перед  
несуществующим в Петербурге храмом.*

## ЛЕНИНГРАД. ИЮНЬ 1972 ГОДА

*Тлели кнуты, плавилась пряники.  
Толковища наши стали тишать.  
Горели в округе леса и торфяники.  
Нечем стало дышать.*

*Жару объясняли протуберанцами,  
происками ЦРУ из озоновых дыр,  
а интеллигенция - засранцами  
типа Брежнева и др.*

*Из вокзала плацентой из роженицы  
с копейками, слипшимися во рту кошелька,  
брели туда, где на месте мороженицы  
сладкая лужица молока.*

*Что делать в стране, покинутой гением?  
Вдавливаться с обрубком толпы  
в красный трамвай, где по сидениям  
ползут клопы.*

*Активность солнца. Пассивность нации.  
Клопов мутации. Мусора  
в серых мундирах прилипли к рации.  
Период стагнации. Жара.*

## КОНЦЕРТ НА НЕБЕСАХ

*Ведь это невозможно  
Представить и в мечтах:  
Какой концерт, ребята,  
Идет на небесах!  
Какие там гитары  
Сегодня собрались!  
А кто сидит в партере,  
По-братски обнявшись!  
Лексан Сергеич Пушкин  
С Самойловым сидят,  
И тот ему толкует,  
Кто Галич, кто Булат.  
Иосиф Алексаныч,  
Без устали куря,  
Кричит: "Эй, Клячкин! Женька!  
Пой - только не меня!"  
Сергей же Алексаныч,  
Наклюкавшись опять,  
Все рвется за кулисы -  
Володю повидать:  
- Проведите!  
Проведите меня к нему!  
Я хочу видеть этого человека!  
А Юрий Осич Визбор  
Спел "Милую мою"  
И вышел просвежиться  
У неба на краю  
(Мартынова с Дантесом  
Слегка пихнув плечом,  
Которым вход на праздник  
Навеки воспрещен).  
Глядит на нас оттуда  
Наш славный капитан  
И говорит негромко:  
"Ребят! Ну? Где вы там?"*

*- Мы скоро, Юрий Осич!  
Потерпишь, не беда.  
Там - петь мы будем вечно.  
А здесь еще когда...*

## **МОСКОВСКИЙ РАЗГОВОР**

*- Ну чем? чем? чем ты так доволен?  
Чему ты рад, как идиот?  
Ведь ты и сам кругом виновен,  
Что мы хлебаем это вот!  
Нам катастрофа угрожает!  
Бардак! развал! крошечный ад!  
- Зато за книжки не сажаят.  
Зато за слово не казнят.*

*- Зато разгулье беспредела:  
Казну сливаем за бугор,  
Страну коррупция разъела,  
В обнимку вор и прокурор  
На белом мерсе разъезжают,  
Продать Курилы норовят...  
- Зато за книжки не сажаят.  
Зато за слово не казнят.*

*- И это губельно для духа!  
Ты оглянись, отец и муж:  
Кругом чернуха и порнуха,  
Растление неокрепших душ!  
Ни прошлого не уважают,  
Ни в будущее не глядят!..  
- Зато за книжки не сажаят.  
Зато за слово не казнят.*

*И всех надежд моих основа  
Давно описана. Вот здесь.  
Читай:  
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО.  
Осталось только произнести.*

★★★

В.

*Слова не надо торопить,  
а просто вслушиваться в хаос, -  
печалюсь или усмехаясь,  
в себе звучания копить.*

*И год, и два, и десять лет  
пускай лежат в укромных клетках,  
чтоб в некий день, из самых редких,  
поднявшись, обозначить след.*

*И тут забрать себя в кулак  
и повести судьбу по следу,  
ни поражение, ни победу  
не принимая в счет никак.*

*Судьбу не надо торопить  
и гнать ее от боя к бою, -  
она откликнется собою,  
в ладони вкладывая нить.*

*И с этой нитью, не боясь,  
в пещерах, чащах, лабиринтах  
бродить, отыскивая в ритмах  
со звуком истинную связь.*

*Но неуютно одному,  
когда идешь на поиск сути:  
кто и поймет, и не осудит,  
и снова соберет суму?*

*Любовь не надо торопить,  
мечта о ней - и то немало:  
она приходит запоздало,  
чтоб все потери искупить.*

*Судьба с любовью строят дом,  
где есть труды и есть суббота.  
А что слова? Не в них забота -  
слова появятся потом.*

★★★

*Дине Альпер*

*Авторский фильм: сценарист, режиссер, оператор,  
честь, композитор, художник - и все это я.  
Несоразмерны усилий и нервов затраты  
с тем, что потом отсчитается для бытия.  
Кто мне мешает поставить комедию масок,  
впасть в мелодраму, затеять крутой детектив?  
Но на своем же лице ощущаю гримасу,  
только подумав и замысла не довинтив.  
Вот и снимаю полночный приход почтальона,  
мыслящий куст и костелом пронзенный эфир,  
дом деревянный, на круче зависший наклонно,  
мглистые дебри моих коммунальных квартир...  
И на экранчике куцем в просмотрном зале  
тайно и быстро, порой не снимая пальто,  
снова и снова с восторгом смотрю и слезами  
фильмы, которые в мире не видел никто.*

## КАРАВАН

*- Поторопи верблюдов, проводник!  
Смотри - передний головой поник:  
шестые сутки не даем воды им.  
Пешком и в месяц не пройти пески;  
падут верблюды - от ночной тоски  
увянут наши жены молодые.*

*Мне отвечает мягко проводник:  
- Совсем неподалеку есть родник,  
который слух Господень услаждает.  
Да, господин, - верблюды могут пасть,  
но пусть пустыня разевает пасть:  
кто не рискует - тот не побеждает!*

*И он ударил пяткой жоака,  
и тот раздул опавшие бока  
и побежал, шатаясь, будто спьяну.  
И шел от жажды пьяный караван,  
замедленно взбираясь на бархан,  
чтоб опуститься к новому бархану.*

*Подъем и спуск, и так десятки раз,  
и длинный день в конце концов угас,  
и сразу же рассвет зажегся новый,  
и мы почти в беспамятстве ползли, -  
и тут, казалось, прямо из земли  
возник гортанный клекот родниковый.*

*И, по закону первым, проводник  
к воде одним движением приник -  
и отошел: ему глотка хватило.  
Верблюды пили, пили седоки,  
а я на расстоянии руки  
стоял,  
и солнце мне в глаза светило.*

*Все смаковали воду, как вино,  
лишь я не пил - мне было все равно,  
что там потом со мною приключится.  
Наверно, я рехнулся по пути,  
и, если к цели суждено дойти,  
мне никогда к себе не возвратиться.*

*Я был иным, пускаясь в этот путь;  
восторженной души мне не вернуть -  
ее убили спуски и подъемы.  
Зачем же я мечты свои копил?  
Зачем же я верблюдов торопил?  
Чтоб молча постоять у водоема?!*

*Пройти пустыню - и такой итог!  
Я наклонюсь и сделаю глоток,  
чтоб вымолвить единственное слово,  
и тихо скажет мудрый проводник:  
- Ты видел жизни настоящий лик -  
на этом свете не найти другого.*

*Его рука, суха и горяча,  
легко коснется моего плеча,  
и я ему скажу на грани слома:  
- На горизонте городок возник, -  
поторопи верблюдов, проводник,  
чтоб на закате оказаться дома.*



*Жил я там, где ворон ворону  
глаз не выест из-под век,  
где ступил два шага в сторону -  
и считалось, что побег.  
В молодые годы ранние  
выбивался, лез из жил,  
а потом пришло сознание:  
жизнь не прожил, а изжил.*

*И тогда сменил пугающе  
все основы бытия,  
и под солнцем обжигающим  
вновь возникла жизнь моя.  
А отпущен был из милости  
и с поклажей небольшой -  
только с тем, что поместилось  
в голове да за душой.*

*Справедливость, правосудие -  
непонятные дела...  
Лишь дотронулся до сути я,  
Тут и старость подошла.  
Жалок вид пустого невода -  
протекли мои года  
между русским словом НЕкуда  
и ивритским некуда.*

*Лев Аннинский*

**ПЕСНЬ ПЕПСИ В УТРОБЕ ПОКОЛЕНИЯ,  
КОТОРОЕ СМЕЯСЬ РАССТАЛОСЬ  
СО СВОИМ БУДУЩИМ**

**- Перестаньте, а то вырвет!**

*Виктор Ерофеев.  
“Русская красавица”, глава 15*

**- Нас всех тошнит, тошнит, тошнит...**

*Владимир Сорокин. “Голубое сало”,  
глава “Достоевский-2”*

**- Не надо... Меня вырвет сейчас.**

*Виктор Пелевин. “Generation “П”,  
глава “Бедные люди”*

Не помню уже точно, кто пустил в ход характеристику поколения, которое выбрало пепси, - я это впервые услышал от Александра Тимофеевского-младшего под лязг танковых гусениц, когда Россия прощалась с Советской властью.

Пепси - “западный” напиток, разрешенный этой обессиленной властью, - означал нечто большее, чем теплое пойло, разлитое по бутылкам в Новороссийске и поглощаемое на пионерском пляже: тут обозначался принципиальный отказ защищать падающую систему, а заодно и систему, рвущуюся ей на смену. Это был символ беспредельного самовыражения, абсолютной неангажированности и готовности начхать на все.

Младшим в поколении было несколько легче, чем старшим: младшие не успели поверить ни в одну из химер. Те, что постарше, должны были кое с чем рассчитаться. И прежде всего - похоронить главную в словесной сфере химеру: соцреализм.

Занялся этим делом Виктор Ерофеев. Шум вокруг его похоронной статьи вышел изрядный. Ерофеев к тому времени уже был блестящим литературным журналистом и хорошо подкованным филологом. Он же и засеял расчищенное кладбище, опубликовав при начавшейся Гласности программный роман, уже несколько лет ходивший по рукам и читавшийся по кухням. Название романа, при всей демонстративной идеологической невинности, звучало неуловимой издевкой над похороненными монстрами: “Русская красавица”.

## **Русская красавица от плеч до чресел**

Первое, чем можно было засеять опустевшее поле, - абсценная лексика, или, просторечно выражаясь, матюги. Правда, банк к этому времени уже успел сорвать Юз Алешковский, забросивший в СССР из эмиграции своего “Николая Николаевича”, а на абсолютный рекорд матерной плотности шел парижанин Михаил Волохов с “Игрой в жмурики”. Ерофеев это учел. Русская красавица, разумеется, сквернословит, но как-то между прочим, не делая из этого проблемы.

Другой кодовый знак наступившей вольницы - водка. Она действительно хлынула на поля русской словесности, едва плотины соцреализма пали. Но и здесь рекорд был поставлен и банк сорван другим Ерофеевым, Венедиктом, который поехал к своей красавице по маршруту Москва - Петушки. Так что Виктору пришлось потчевать героиню дозами весьма умеренными, и не самогонной какой-нибудь дрянью, а тонких марок шампанским, что при ее статях вышло даже естественнее.

До пепси тогда не дошло, этим пробавлялись юные пионеры, и им еще предстояло сказать слово в конце 90-х годов. А пока в атаку на святош пошла русская красавица, подняв в качестве знамени не стакан, а ответственнейший человеческий орган, каковой в романе награждается от имени героини разнообразными ласковыми определениями. Я эти определения цитировать не буду, за исключением одного чисто филологического словца, которое автор адресовал самой повествовательнице: она - фаллократка. Действие же романа заключается в следующем:

- Антоновна, беда! Только что слышал, мол, про твою дочь... Она, говорит, в журнале “Америка” на первой странице в чем мать родила, дальше не понял: слышимость нынче плохая - то ли ее в Петропавловскую крепость, то ли куда подальше, только сорок миллионеров, собравшись, за нее задаток внесли... и тогда ее обменяли на границе на пять центнеров кукурузы и один компьютер для прогноза погоды...

Цитирую - для иллюстрации филологического шарма, коего исполнен ерофеевский текст: рассказывает о ситуации, заметьте, не сам автор, а Антоновна, провинциальная баба с завивкой, а ей рассказал - сосед, такой же провинциальный монстр, но и он все это слышал от соседей, которые слышали по радио "Свобода", причем сквозь помехи, и вся эта обросшая небылицами жуть передана нам в свою очередь дочерью Антоновны - той самой русской красавицей, которая вышла из медвежьего угла на мировой подиум и через сознание которой (а у нее, как сказано, "лобок сильнее, чем лобик") Виктор Ерофеев пропускает все свершающиеся в романе события.

Проза филолога! Одно просвечивает сквозь другое. Опоясано, окутано, оплетено, охвачено, отуманено, охмурено, отделано. И все кольцами, кольцами. Вокруг героини - кольцо ухажеров. Изысканные, импозантные, в кожаных пиджаках и замшевых куртках. Скрипучая дача, индивидуальный каток, залитый на теннисном корте, прислуга, убирающая посуду. Седовласые джентльмены, дипломаты, скрипачи, виолончелисты. В центре этого круга - содрогающееся от оргазма женское тело.

Дальше - еще одно кольцо: там "всякое быдло", блюющие мужики, мычащий скот, набитые битком электрички. Едешь - "через все это".

Еще дальше - там, откуда с помехами долетают радиопередачи, - миллионеры и исходят течкой перед портретом нашей красавицы. В этом смысле перед ней стоит философский вопрос: "быть или отбыть?" И если не отбыть, а остаться здесь, в России, чтобы ее, Россию, спасти подобно Жанне Д'Арк, - так ведь не успеешь: какой-нибудь жлоб затащит в кусты, "туда, где наши пенсионеры играют в домино", и вместо откровения эроса случится вульгарное насилие.

Что делать? - стоит уже не гамлетовский, а наш рахметовский вопрос. Ответ: динамить, дебоширить, шантажировать любовников, но - не преступая замшево-кожаного, виолончельно-скрипичного, шампанско-теннисного круга.

Лучшие страницы прозы Ерофеева - там, где "электрон перескакивает с уровня на уровень". Отъезжаешь от Москвы - и появляется на лицах особая подмосковная злоба: "околостолличный пояс шпаны и вечернего хулиганства, нелюбовь к дачникам и презрительная зависть к столичной публике... Телогрейки с туфельками, бублики с махоркой..."

Цитирую, чтобы показать точность пера и зоркость глаза, прорывающиеся у Виктора Ерофеева сквозь оргиастическую вязь монолога красавицы. В его речи чувствуется простота уверенности, но в речи его героини, увы, чувствуются филологические занятия по теме "Достоевский

и французский экзистенциализм“ (диссертация Ерофеева, вышедшая в США отдельной книгой), а также опыт аспирантской работы о маркизе де Саде (статья Ерофеева, ставшая журнальной сенсацией 1973 года). Так что прежде, чем запахи дерьма и блевотины достигают до извивов сознания героини (а они достигают), вы успеваете засечь вполне литературное происхождение этого, лесковски выражаясь, онёра. Когда Ерофеев пишет: “брюхатая, полная жизни и смердящая”, - вам понятно, что оплодотворение образа произошло не в чреслах Ирины Таракановой, как величают русскую красавицу, а в недрах Елизаветы Смердящей, чей грех осознан меж братьев Карамазовых.

Само по себе это ни плохо, ни хорошо. И даже не очень важно. Важно другое - внутренняя причина: почему смердит? А потому, что есть пустота, которую надо заполнить. Героиня “брюхата”, но не родит. Она “полна жизни”, но жить не хочет. Кстати, самоубийство ее на последних страницах, - вполне опять-таки литературное, на снурке, явно оставшемся от Ставрогина. А вот тоска, неприкаянность - нашенские, теперешние. Утрата смысла - наша. Или, как формулирует философски подкованный автор: “осмысленная бессмыслица”. Вслушайтесь:

“Наша основная вина расположена в отношении к смыслу, но мы часто проецируем ее по отношению его природных носителей и тем самым качества смысла перекладываем на их плечи...”

Поняли что-нибудь?

Ну, поправьте плечи на чресла. Теперь понятно? На что перекладывается смысл... иначе говоря: что у нас на месте смысла? На месте смысла у нас - “природные носители”. И среди них, представьте, “Бог”.

- Боже! Я стою перед тобой на коленях и в первый раз произношу Твое имя...

Что это с ней? Не потому же пошла она в церковь, что вокруг все бывшие активистки, как по указу, перекрестились в прихожанок. У красавицы - жизненная нужда в Боге. Чтобы разрешил грешить. Чтобы не наказывал адом. Чтобы признал невиноватой.

Если Бога нет, то просто “не к кому обратиться”. Пустота. А если Бог есть, спрашиваю я, - что, пустота исчезнет? Боюсь, что нет. Бог здесь - просто контролер. “Подошла к образам. Пустота”. Он, конечно, притягивает. Но “ты притягиваешь сильнее” (реплика поклонника, обращенная к статям красавицы).

Вообще говоря, можно бы и не припутывать сюда религию: не оттягивать “резинку трусов”, чтобы святая вода “и туда” лилась. Есть однако душа... Я не про красавицу, у нее душа известно где, и молится она

известно на что: на “корень жизни”. Я про интеллигентного автора, который в сущности и вызывает к воображаемому Богу: пустоту заклать. Это и есть реальность.

А замены ее “природными носителями”?

С трепетом решаюсь, наконец, и на самое последнее предположение: а что, если гипертрофия эроса у интеллигентного автора есть не что иное, как компенсация интеллигентной застенчивости? Это было бы так понятно, так близко...

Как и гиперкомпенсация недоеденного и недопитого - в победоносном списке поглощаемой еды. Конечно, поколение, дорвавшееся до пепси, не голодало так, как многоруганные “шестидесятники”, у которых детство пришлось на войну... И все-таки аппетит налицо.

Одним, знаете ли, голубые дали, другим...

## **Голубое сало в нижней части спины**

На первой странице романа Владимира Сорокина - “гадят и мочатся”. На второй - “обустраивают туалет в Якутии”. На третьей обустраивают секретную лабораторию “между двух громадных сопок, напоминающих ягодицы”. Еще ни одного неприличного слова - а духом уже шибает.

Это не значит, что у Сорокина вообще нет ненормативной лексики. Есть. Матюгов у него приблизительно столько же, сколько у Ерофеева, и стеснения никакого. Но у Сорокина есть еще кое-что. Время от времени он роняет непонятное: “Все-таки пеньгань этот Глогер, а?” - и отсылает нас к словарю в конце романа. В словаре мы объяснений не находим, а находим еще кучу пеньганей. Если вы знаете знаменитую шутку Щербы: “Глокая куздра штеко будланула бокра...” (а Сорокин ее наверняка знает), то вас не затруднит расшифровка бредовин типа: “Ты совсем V-2 потерял, старый сятоу”. Вы повторите вслед за Сорокиным: “Таков наш дахуй, как говорят за Великой Китайской Стеной”, и признаете автора “Голубого сала” чемпионом не столько по абсценным выражениям (тут до абсолютного рекорда далеко), сколько по умению представить как неприличность все, что попадает на глаза. Причем представить не прямо, а через неуловимые и неподсудные намеки.

Сорокин вообще мастер прорисовывать действие невзначай роняемыми штрихами. Говорит: “Послезавтра привезут объекты... придется торчать в реактивной”. Что за объекты? “Толстой-4, Чехов-3, Набоков-7, Пастернак-1, Ахматова-2 и Платонов-3”. Ясно? “Все объекты на биосе, так что с едой и дефекацией проблем нет”.

Не понимаете, что такое дефекация? Полезайте в словарь... нет, не в сорокинский, а в медицинский. Впрочем, не обязательно. Все, что надо, вы и так чувствуете. Из тел классиков что-то вытапливают. Что-то секретное. Так что лишнего выспрашивать не будем. Придет срок - объяснят.

Пока же обратимся к другой знаковой позиции отечественного пост-модернизма: к сексу. Это у Сорокина тоже имеется. Но тоже не так, как можно было бы ожидать по общепринятому раскладу, и как эта энергетика задействована у того же Виктора Ерофеева. Ерофеев материализует эрос с верой в то, что это есть реальность, "корень жизни".

А Сорокин?

А Сорокин рассказывает про то, как мужики вонзают свои былинные (пропускаю слово) в "Теплую Землю Единства нашего... на теле которой живем мы, спим, дышим, мочимся и (пропускаю слово)... Не дарами Земли едиными жив русский (пропускаю слово), но любовью к Матери Сырой Земле..."

За такое издевательское землеложество патриоты могут и обидеться... но либералам достается от Сорокина еще и покруче. Причем - с таким же мимоходным пренебрежением. Потому что ни программа патриотов, спасающих Мать Сыру Землю, ни программа либералов, моделирующих собой права человека и поэзию как залог этих прав, Сорокина не интересуют. Его интересуют силуэты. Силуэты современных деятелей. Силуэты классиков. Из классиков топят голубое сало, которым можно питать современность. Это и есть сюжет, на который нанизано действие романа. И нацелено оно на следующий кульминационный вопрос: а что сделали бы из этого "сала" Сталин и Гитлер, окажись оно в их распоряжении? Наверное, объединились бы и трахнули по старушке-Европе! Но если вы думаете, что Сорокина интересуют геополитические пасьянсы (как пошла бы история, если бы Третий рейх и Советский Союз оказались во Второй мировой войне по одну сторону), - вы ошибаетесь: это его тоже не интересует. Так что же, наконец?

Да "хруст костей", раздавленные внутренности и "хриплые крики" дерущихся из-за сала деятелей. Столкновение их материальных тел, масс, туш.

Если Ерофеев полагал, что он фаллократ, то Сорокин очень точно говорит о себе, что он - биофилолог. Если Ерофеев устами героини жаловался на тоску по смыслу (а Пелевин увидит смысл в том, чтобы сооружать и низвергать химерические фигуры в эфире виртуальности), то Сорокин предпочитает лепить роман в "биомассе". "Мысль" у него реализуется не в "словах" и "идеях", а в разрастающемся веществе

мозга, которое пучится и заваливает Землю. И секс символизирован не столько совокуплением, сколько демонстрацией гениталий, потрясающих своими размерами (опускаю подробности). И из классиков выжигается здесь не концепция, а эта... как ее... рипс лаовай... Во что превращается классический текст при таком употреблении? По-русски это называется пародией.

На мой вкус, пародии Сорокина грубоваты даже там, где они приличны, а по сверхзадаче однообразны. "Обмарались кулаки". "Рвотные массы". Это - Ахматова и Набоков. А вот Толстой: "Князь почувствовал, как струя горячей мочи ударила ему в поясницу". И все же эти пародии - наиболее внятные в художественном отношении куски "Голубого сала"; я встречал читателей, ценящих роман Сорокина именно за них.

Большую же часть литературные адреса и персональные ярлыки не имеют в тексте собственной ценности: они берутся под намеренно сбитый прицел. Допустим, сказано: Женя, Белка, Андрюха, но сказано без фамилий, и хотя дальше идет полив мочой, - не придерешься. Или, напротив, фамилии названы: Шостакович, Эйзенштейн, Сахаров, - но первый изображен толстым флегматиком, второй - щеголеватым альбиносом, а третий - широкоплечим атлетом. Подобные антипортреты сообщают картине общий антиадрес, так что к исторической истине это не имеет никакого отношения. Тощий Геринг и тучный Гиммлер - это не исторические фигуры и не сатирические образы, это - знаковые символы антиреальности. Сказано: "Иосиф". В предыдущем эпизоде Сталин "жрет" блюдо из человечины и беседует о применении кала при сексуальном акте, в следующем эпизоде Бродский бежит по утренней Москве и мочится на тротуар, но фамилий нет как нет; два эпизода держатся, как на шарнире, на словечке "Иосиф".

Подозреваю, что Владимир Сорокин гордится этой композиционной находкой.

Так все-таки: есть хоть какая-то реальность в этом биофилологическом иллюзионе? Есть!

Демонстрирую текстуально:

Зал Большого театра представляет собой главный отстойник московской канализации. Люди, поверхностно знакомые с фекальной культурой, полагают, что содержимое канализации - густая непроглядная масса экскрементов. Это не совсем так. Экскременты составляют лишь 20 процентов. Остальное - жидкость. Она хоть и мутная, но при сильном освещении вполне позволяет обозревать весь зал, от усталого коврами пола до потолка со знаменитой люстрой...

Люди, поверхностно знакомые с творчеством Сорокина, скорее всего свяжут эту симфонию с его ранней прозой, где изображалось заседание парткома или завкома в полном соответствии со стилистикой социалистического реализма, но добавлялась на стол заседаний куча дерьма, чем задавалась для традиционной фактуры новая точка отсчета. Теперь масштаб расширился до Торжественного заседания в Большом театре (читай: до всего мира), а точка отсчета та же. Раньше дутыми фигурами были члены завкома-парткома, теперь надутой оказывается вся реальность, реальность как таковая... то есть реальность материальная, потому что для Сорокина другой нет.

Пересоздается же она - если идти не от конца, а от начала, то есть не от "сортира в Якутии", а от Франсуа Рабле ("Голубому салу" предпослан эпиграф из "Гаргантюа и Пантагрюэля"), - то началом всего и вся является здесь обеденное меню, по матрице которого и отливаются все дальнейшие пули. Насчет пуль есть подсказка: "Баб допрашивать - все равно, что из говна пули лепить". Не смею подчищать цитату: слишком уж хороша. Но скажу: про баб у Ерофеева интереснее. А здесь - про "обильную русскую закуску".

Как и у Рабле, перечисление блюд занимает гигантское место. И не дай Бог, если "в ресторане ЦДЛ не окажется маслин, куриных котлет деволай". Зато какой кайф, когда они есть! "Жрите, друзья мои!" Реплика вложена Сталину. Люди, даже поверхностно знакомые с событиями 1941 года, могут сообразить, какая именно речь вождя здесь пародируется. А если кого от таких пародий все-таки стошнит или еще как-нибудь развезет, - так "куда интеллигенту сморкаться, как не в антрекот?"

Так что не будем слишком упираться на финальные фекалии, хотя они торчат везде. Это для Сорокина просто способ слепить мир как целое. Опять подсказка: "Если с утра говно, то и весь день говно. Полное говно" (не смею редактировать цитату).

Итак, оценим полноту бытия. С утра - никакой молитвы. И о Боге ни слова, честно. Притом ощущение такое, что жизнь - переполнена. Чувствует ли Владимир Сорокин, что он заполняет - пустоту? Не думаю: он слишком одержим пересозданием мира по раблезианскому рецепту. Так что если должным образом читательски настроиться, то можно все это и переварить.

Но некоторый перегруз пищеварительного тракта все-таки ощущается. Тяжелый стол, тяжелый стул. Слишком много крутой еды. Не каждый выдержит. Так что я могу понять тех идеологов поколения, которые, оказавшись перед необходимостью выбора, назвали не "гипер-

устрицы“ и не “буйволиные почки в сгущенной мадере“, а такую понятную, культурную, теплую, цивилизованную, западноевропейскую вещь, как бутылочка пепси. Но это уже Пелевин.

### “Generation “П” = 3,141592653...

Я был изрядно разочарован, поняв, что буква “п“ в названии романа “Generation “П” означает всего лишь мифологическую собаку, которая всех пожрет. Имя собаки, совершенно неприличное, я привести здесь не могу, но скажу, что каждый человек, побывавший местах коллективного проживания (включая пионерские лагеря), хорошо знает это слово, ибо оно выкрикивается хором в конце каждого прожитого дня и означает, что дню этому пришел конец.

Все это очень пикантно, но по началу романа кажется, что Пелевин обещает что-то более интересное. Начало такое: “Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу - и выбрало пепси...”

Когда-то... Быстро же летит время для беспечальной души. Конечно, я не такой простака, чтобы поверить, будто крутой кризлтер, герой пелевинского романа, и впрямь улыбается морю и солнцу: пепси здесь выставлено для отвода глаз, а на самом деле греческая буква “пи“ должна скрывать тайну. Почему греческая, а не русская? Да потому же, почему родимое поколение зафайлено здесь латынью: оно повзрослело как раз к моменту, когда под нашими осинами появились первые компьютеры.

“Пи“ было бы совсем не плохо: трансцендентное число, бесконечный ряд цифр, диаметр, безуспешно бегающий по окружности, поколение, потерявшее стержень и разбегающееся по маргинальным границам... В Пелевине есть что-то философское.

Но вождь крутого поставангарда никогда не оказался бы инициирован на это место, если бы не мыслил теми кодами этого направления, которыми оно дразнит и доводит до тошноты чистую публику. Напоминаю. Сперма. Дерьмо. Блевотина.

Поначалу кажется, что сперма тут еще и покруче ерофеевской. То есть, что она вприснута в текст Пелевина как субстанция реальная. Настолько реальная, что когда появляется “негр“ и готовится посыпать порошком кокаина свой...

- Понял, не надо! - прерывает рассказчика главный герой. - Меня вырвет сейчас.

Может, и вырвет, но скорее всего нет. Ибо этот деланный ужас - не что иное, как реклама: следующей фразой рассказчик преспокойно доканчива-

ет описание того, что посыпает у себя кокаином негр. Я это, естественно, опускаю. Мне интересно другое: то, что открывается у Пелевина за этим кодовым знаком. Дело в том, что секс тут - вовсе не та онтологическая реальность, которая вдвигается на место рассыпавшихся идеологий, секс тут - именно знак, символизирующий то, что должно стоять "за ним". В этом отличие Виктора Пелевина от прочих певцов либидо: те уверены, что мачо, вытеснивший с авансцены литературы идейного героя, есть лицо реальное, Пелевин же мобилизует эротику совсем с другой целью. У него "символические изображения фаллоса и вульвы", красующиеся на стенке сортира (можно и в Якутии), свидетельствуют отнюдь не о качестве сортира и не о реальной жизни его посетителей, а о готовности их поддаться "шизосуггестированию". Что? А то, что в "сексуальную неудовлетворенность" сублимируется у "мыслящего интеллигента" именно вышеозначенная готовность.

У Сорокина, как мы помним, возникало сублимированное желание высморкаться в антрекот. У Ерофеева - честная похоть. Пелевин, как я уже сказал, склонен к философствованию. У него не биофилология и не фаллоκραтия, а - шизотехника. Тоже красиво.

Впрочем, ученого волапука у Пелевина тоже в меру: не больше, чем матюгов. А смысл такой же. Матюги, попутно возбуждающие читателя, указывают на некую неизъяснимость, матюгами окаймляемую. Ученые прибабасы вроде "шизосуггестирования", озадачивающие (подначивающие) читателя тоже попутно, означают невозможность выразить в нормальных словах и понятиях, что же такое реальность и есть ли она.

Сорокин, имея в виду нашу бучу, боевую и кипучую, говорит, что все это дерьмо. Дерьмо у него - реальное, а отнюдь не окаменевшее, как у советского классика. Пелевин же, мимоходом живописуя изгаженный экскрементами двор, который "совок" созерцает всю жизнь, - тотчас переводит описание в виртуальный контекст: малоимущий американец тоже всю жизнь созерцает изгаженный двор, но американец, сидя в дерьме, знает, что он сидит в дерьме, а "совок" этого не подозревает. Дерьмо, таким образом, оказывается у Пелевина чистой философией. Вопрос состоит в том, "почему наша жизнь так устроена", что проехать даже на "мерседесе" можно только из одного дерьма в другое (я смягчаю выражения). Ответ такой: потому что ты сам становишься таким дерьмом, "что ничего тебя уже не испачкает".

Заметим этот синтаксический разворот: размен источника на результат. Оболочка и видимость меняются ролями. Идет игра объемов, "не ведающих", какое содержание ими объемлется. Это - стилистическое клеймо Пелевина.

- Все в руках Аллаха, - говорит мусульманин.

- Как это все? - возражает буддист. - А сознание Будды? Руки Аллаха ведь существуют только в сознании Будды. С этим вы не станете спорить?

Конечно, спорить он не станет. А вся фишка в том, что сознание Будды все равно покоится в руках Аллаха.

Не будем преувеличивать богословскую значимость этого спора, но отдадим должное философскому чутью Пелевина: речь о том, кто же заправляет хаосом жизни, если в жизни нет ни начала, ни конца. Применительно к шизоструктурам, имеющим в своем составе межбанковские комитеты, этот ход выглядит так: "комитеты-то межбанковские, да только банки эти - межкомитетские". Та же фишка. В переводе на современный базар: жизнью управляет не кто, а что.

Сияясь определить это что и втягивая в поиск читателя, Пелевин отлично знает, что ловит в темной комнате черного кота, которого там нет. Существен сам процесс поиска - продажа воздуха, как сказали бы старые евреи. И автор романа честно продолжает свою игру, то есть свой путь, то есть маршрут, то есть тракт, - вокруг чего и концентрируется у него то, что можно назвать человеком.

В соответствии со стилистикой шизосциентизма, Пелевин соединяет латинские слова *or* (*oris*) и *anus* (*analís*). Рождается ученый кентавр: *oranus*, что на русский язык тотчас же переведено (тут, прошу прощения, скажу как есть: такое слово из песни не выкинешь): "ротожопие". Этот орально-анальный тракт и есть то, что представляет собой человек, вернее, то, что он о себе понимает.

Вариация: тракт орально-оральный. То есть: съеданное не переваривается, а выблевывается. Не буду кормить читателя этой субстанцией текстуально (текстуально эти вещи более впечатляют у Сорокина, который все это смакует всерьез). Для Пелевина же это только праздник воображения. У него человек для того и жрет наркоту, чтобы думать о себе хоть что-нибудь. Он кайфует в виртуальном пространстве. На самом деле там ничего нет.

Тут мы подходим к ядру пелевинской мироконцепции, к тому, что делает его (и заслуженно) лидером современных отечественных постмодернистов. Те могут верить, что в основе реальности лежит эрекция, или дефекация, или еще что-нибудь, осязаемое на ощупь или на понюх. Пелевин говорит: там нет ничего. Пустота. Или, как он сварьировал в другом своем романе: ПустОта.

Как?! А деньги?

А деньги как раз и есть главный морок, в котором эта пустота мате-

риализуется, а потом опять дематериализуется. Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип “Чероки” и восемь ящиков “Смирновской”. Когда “Смирновская” кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит - в три раза больше первого...

В конце этого детально описанного орально-анального пути - “контрольный выстрел” в висок и выбрасывание в мусор такой временной эфемерности, как тело. В Пелевине все-таки дремлет реалист (как, впрочем, и в других авторах, похоронивших соцреализм): впечатляет любовная точность, с которой фиксируются формы, приемы, детали этого вырывания денег у пустоты и исчезновения их в пустоте. В сущности, роман Пелевина - энциклопедия виртуального хапка, и уж во всяком случае - уникальная коллекция рекламных клипов, среди которых встречаются и остроумные (не хуже, чем сорокинские имитации классиков).

По печальной обязанности литературного критика я вынужден сказать следующее. Постмодернисты зорки, у них хорошее близкое зрение. Иногда они бывают увлекательны на протяжении сцены. Но сквозное романическое действие все время у них стопорится, вязнет, буксует. Следить не за чем, потому что нет характеров, а есть демонстрация зоркости при нуле объемного зрения.

У Пелевина сюжет в сущности состоит в том, чтобы раздуть то, что заведомо окажется пустотой, а потом выпустить воздух. Буквально: в телестудии надуваются виртуальные миражи (с именами, не менее вкусными, чем у Сорокина): Ельцин, Радуев, Березовский. Пока вышеозначенные деятели в силе, это щекочет нервы. Бывает и остроумно. “Купишь пару улиц, а потом выясняется, что там люди живут” - то, что сентенция приписана Березовскому, придает ей дополнительный шарм. Сорокин действовал грубее, Ерофеев - осторожнее (он описал в числе любовников своей красавицы какого-то члена Политбюро, но так тонко, что не угадаешь, кто это). Пелевин тонок и бесстрашен, потому что у него заранее известно: это не люди, а просто “единички и нолики” - у читателя интерес к таким дутостям вянет. Потому что читатели - это как раз люди, которые “там” живут, и по ходу чтения они начинают подозревать, что “шизосуггестированию” подвергаются они сами, то есть имеется некий “заказчик”, который внедряет “шизоблоки” в их читательское сознание. Да еще и потешается:

- Никакой сущности у мира не было и нет. Люди просто вспомогательная форма, которую по использованию выбрасывают. Сидение перед телеящиком - опыт коллективного небытия, воздушный замок, в

фундаменте которого - пропасть. Надо решать конкретные вопросы: добывать деньги и тотчас их протрачивать, - не задумываясь над тем, на что все это опирается, и кто "сценарист", надувающий муляжи. Лучший способ бытия - сидение перед ящиком. Который не включен.

Таким образом, философский "эфир", которым заполнено мнимое существование человека в этом мире, становится тем "эфиром", в котором минута рекламного времени стоит столько-то баксов и в пространстве которого "идея мочи соприкасается с понятием кожи".

- Понял? - в очередной раз тычет в меня пальцем рассказчик.

- Понял, не надо! - очередной раз пытаюсь я увернуться от этого шизоанса.

- Надо, Федя, надо! - успокаивает меня автор в духе известного "кубинского" анекдота, слышанного им еще в пионерлагере. На обложке романа - Че Гевара в позе мооровского красноармейца тычет пальцем: "Ты все понял?"

Че предупреждает об опасностях, которые были актуальны в его время и которые нынешний постмодернизм включает в систему своих страшилок. Пустота, зияющая под виртуальными "дутьостями" жизни, заполняется у Пелевина очередными химерами. Появляется среди прочих "копирайтеров" некий Малюта и впихивает в рекламный ролик... русскую национальную идею. "Размером примерно страниц на пять. И короткую версию на страницу". Чтобы, рекламируя всякое заграничное дерьмо, бороться с масонским заговором. "За каждым бабками на самом деле стоит какая-нибудь национальная идея".

Ничего себе новость. Мы-то думали, что за бабками не стоит ничего, кроме других бабок... Разумеется, мы понимаем иронию. Разумеется, издевка над русскими патриотами может принести Пелевину (как и Сорокину) лавры либерала. Такое в постмодернизме бывает, причем в обе стороны; Ерофеев вот так же виртуально прошелся насчет евреев, и нашлись же простаки, поверившие, что он антисемит. У Пелевина в одном из эпизодов русского дурака метелят представители гордого мордовского народа, - найдутся же простаки, которые поверят, что тут задействован интернационализм. Одно мешает: все эти идеи загодя, заведомо дезавуированы как химерические. Вешать на эту шизотехнику идеи - все равно, что одевать скелет, надувать куклу или совокупляться с глюками (прошу прощенья у читателя: на меня таки действует виртуальная аура пелевинской прозы, я иногда выражаюсь в стиле ее главного героя). В финале романа автор раскрывает, наконец, "сценариста" всей этой шизократии: он рисует нечто вроде тайного собрания посвящен-

ных, где коронуют... как его там... “земного мужа” эфирной “богини”, и все это пестрит прибабушками вроде “глаза в треугольнике”.

Что-то не нравится мне эта лажа, то есть ложа. Ощущение такое, что автор теряет самообладание. Уж если ты сел задом наперед на “русскую идею”, так и кати дальше! Тогда “масонский заговор” для тебя - чушь собачья. А то тут что-то слишком всерьез. Испугался, что ли? Собачка пятиногая по этому масонскому клубу бегаёт. Вот-вот укусит. Интересно все-таки.

Толстой в “Войне и мире” описывает масонское собрание свободно и без дрожи. Его пугают, а ему не страшно. Постмодернист описывает - с дрожью. Ему действительно страшно. Причем страх - чисто виртуальный. То есть умственно моделируемый. Достоевский созерцал обе бездны: верхнюю и нижнюю. Это разрывало ему душу. Постмодернист время от времени поминает Достоевского (ну, в таком духе: “скоро со ступеней в Мурманске сойдет ракетно-ядерный крейсер “Идиот”). Но постмодернист бездны созерцает с изумительным внутренним спокойствием. Вот так: заговора боится, а бездны не боится. Потому что бездна виртуальная, а заговор... вдруг всамделишный?

На всякий случай сказано: “Я плохо и неправильно живу”. Ну, может, хоть в этом признании есть онтологическая реальность? Хочется все-таки, чтобы было так. Талант, знаете, редкость, на дороге не валяется. Должен же хотя бы невзначай наткнуться на живое.

Однажды натывается. “Сев перед клиентом”, сочинитель рекламных клипов пробует “вдохновиться деталями его бизнеса”. Дурак-клиент лепит про “какие-то поддоны с фторовым покрытием, к которым ничего не прилипает”.

Я подумал: а вдруг клиент не врет? Сколько же должны были наглотаться химии этого фтора, сколько знаний вложить, сколько сил...

Нет, проскочило. Не липнет реальность к виртуальным бабкам. Понесло героя дальше на волнах шизозефира.

Но ведь воззвал же как-то раз, Господи! Нет, не в церкви. Это ерофеевская красавица по наивности к попам бегала и ничего у них не нашла. Пелевинский умник ищет смысл жизни, не отходя от своих реторт.

Так вот: мучился он мучился, и огурчиком воображаемым наркоту свою закусывал, и пультом щелкал. Никак. “Помолиться, что ли? Вдруг поможет?” Вынул блокнотик и прыгающим паучьим почерком записал: “Господь для солидных господ”. Потом поднял заплаканные глаза в потолок:

- Господи, тебе нравится?

Все-таки одаренная душа этот Пелевин. Пробыло наконец! И меня, читателя, пробыло.

У меня тут есть одно личное воспоминание, потому и подействовало. Помните католическую легенду о циркаче-жонглере, у которого дочь болела и помирала, и он, встав перед Богоматерью, стал делать для нее то единственное, что хорошо умел: жонглировать. И Богоматерь заплакала.

А личная ассоциация у меня такая. При советской власти я, жонглируя словами, дурачил редакторов (которые все понимали), протаскивал свои тексты сквозь их страхи, уверял, что жажду беллетристики, и т. д. Инна Соловьева, понаблюдав этот цирк, заметила:

- Жонглер Господа. Стоит перед Богоматерью на голове...

И прибавила после паузы:

- Но в этом нет кощунства.

Я был счастлив.

Можно стоять на голове, на руках, на ногах, на чем угодно. Можно стоять перед иконой, перед телящиком, перед унитазом. Можно смеяться расставаться со своим прошлым, настоящим, будущим. Кончится смех - придут слезы. Это и будет истина, об "исчезновении" которой твердят постмодернисты. Это и будет реальность. Слезы, а не пепси.

**P. S.** *Объяснение по процедурному вопросу. Читатель видит, что я, анализируя тексты, набитые матюгами, из всех сил избегаю нецензурных слов, в том числе и в цитатах. Причина этого следующая.*

*Человек, употребляющий непотребные слова в приличном обществе, попадает в ситуацию двойного риска.*

*Или к его грубостям привыкают, то есть перестают их замечать, и тогда смысл их употребления теряется. Потому что смысл как раз в том, чтобы задеть, вывести из себя, оскорбить.*

*Или к матюгам не могут привыкнуть, чувствуют себя задетыми.*

*Это - мой вариант. Но тогда происходит то, о чем пронизательно сказал один юморист: "Сколь бы культурно ни было общество, но если оратор употребит слово "задница", общество услышит только это слово, и ничего больше".*

*Вы поняли?*

## ВЛАСТЬ ВООБРАЖЕНИЯ

“Если змея - редкий случай! - проглотит самое себя, останется ли после нее пустое место?” Этим каверзным вопросом венгерского писателя-абсурдиста Иштвана Эркеня вполне уместно задаться в сегодняшней литературной ситуации. Ее обозначают обычно вызывающим изжогом словом “постмодернизм”. В сущности, словом-посмешищем. Вкладываемые в него значения столь многообразны, что смысловой знаменатель понятия оказывается обескураживающе тавтологичен: сейчас есть постмодернизм; постмодернизм - это то, что есть сейчас.

К счастью, существуют и более строгие, более инструментальные определения, которые выделяют и “метят” конкретные литературные стратегии, подчеркивают их специфические свойства. Одна из таких дефиниций - “метафикциональность”.

Хоть слово “метафикциональность” и дико, но оно покрывает довольно знакомую область литературного опыта. К метафикциональной прозе принадлежат произведения, в которых, помимо прочего, речь идет о самой литературе, о правилах и рецептурах выделки художественных текстов, а также о пресловутом соотношении “реальности” и творческого вымысла, их взаимодействии и взаимовлиянии.

Так это же весьма почтенная традиция! Она восходит к “Дон Кихоту” с его пародийностью, хитроумными повествовательными уловками, отсылками к фиктивному авторству Сида Ахмета Бен-Инхали... Тут же вспоминается и охальник Стерн, любивший залезть под юбки чопорной даме-литературе и выставить на всеобщее обозрение ее исподнее, ткань и швы повествовательных приемов и условностей.

И на русской почве, нужно заметить, такие построения издавна культивировались. В начале прошлого века “стернианство” было в России в большой моде, заметно повлияв на творчество Бестужева-Марлинского и Одоевского, Сенковского и Вельмана. В хрестоматийнейшем нашем “Евгении Онегине” - даром, что это роман в стихах, а не в прозе - присутствует весьма изощренная авторская игра с героями, чита-

телем и законами жанра. Достаточно вспомнить о парадоксальной - если вдуматься - ситуации общения автора романа с его заглавным героем. "Даль свободного романа" то скромно мимикрирует в пейзажи окружающей реальной жизни, то вызывающе демонстрирует свою принадлежность к иному порядку бытия, ко "второй природе".

Да и вообще, как замечено специалистами, склонность смотреться в самое себя как в зеркало - родовое свойство литературы и, в особенности, романа, который вырос из пародии и с младенчества любил забавляться с собственными конвенциями и кодами.

При всем этом, однако, надо признать, что именно в XX нашем уходящем веке метафигуральная стратегия не только расцвела количественно, но и обрела новый драматизм, новый, прежде ей не свойственный статус. Во времена зарождения этого приема самосознание литературы пребывало еще в состоянии наивности. Писатели, склонные к такого рода ходам, беззаботно резвились, нарушали установления, обманывали читательские ожидания, получая от этого непосредственное удовольствие. В прозе новейшего времени (начиная, пожалуй, с "Фальшивомонетчиков" А. Жида) литературное самосознание становится намного более серьезным и сосредоточенным. Фокус внимания все более перемещается с воспроизведения объектов внешней действительности на самый процесс создания литературных отображений мира - процесс мимезиса.

Миметическая, "подражательная" природа литературного творчества со времен Аристотеля служила основой любых теоретических построений. Целью традиционного реализма было создание словесных аналогов объектов реальности: предметов и явлений с их качественными характеристиками, человеческих фигур с особенностями внешности и поведения, с узнаваемыми психологическими чертами. Такое стремление к повторению "готовых" образов и форм мира можно назвать "мимезисом результатов".

Но изображать, воспроизводить можно и сам процесс художественного претворения реальности, самое литературу. Ведь последняя - такой же элемент нашего мира, как и дерево, океан, город или, скажем, конкретный писатель, Эдуард Лимонов, например. Метафигуральные автопортреты, авторепрезентацию литературы можно тогда обозначить как "мимезис процесса".

К произведениям, явно или скрыто анализирующим (или обыгрывающим) собственную "артефактную" природу и вытекающие из этого следствия, обычно относят джойсовского "Улисса", иронично-невозму-

тимые тексты Набокова (“Приглашение на казнь”, “Бледный огонь”, “Подлинная жизнь Себастьяна Найта”, и др.), многочисленные опусы Борхеса, сочинения французских новых и “новых новых” романистов (Саррот, Роб-Грийе, Рикарду, Симон), книги американских постмодернистов вроде Барта, Пинчона и Бартельма, а также романы европейцев Кальвино, Павича, Фаулза, латиноамериканцев Карпентьера, Кортасара, Маркеса и многих, многих других. Здесь не упомянуты обычно маргинальные для западной литературоведческой мысли российские авторы советского периода: Булгаков, Вагинов, Каверин, а в более близкие к нам времена - Трифонов, Битов, Маканин, Стругацкие, Пелевин... Но о них - разговор особый. Отмечу, кстати, что своеобразная модель саморефлективного, самокомментирующего повествования на еврейский манер представлена в романе Я. Цигельмана “Шебсл-музыкант”.

Однако почему же именно в последние десятилетия эта литературная стратегия, в течение долгого времени существовавшая укромно и маргинально, вдруг переместилась в центр критического (а отчасти и читательского) интереса?

Исследователи называют несколько общих духовно-культурных моментов, обусловивших такую метаморфозу. Один из них - это распространенное некоторое время назад убеждение в исчерпанности тем и средств литературы, в близкой смерти романа. С этой точки зрения метафикциональность является эксплуатацией последнего ресурса, разработкой новой, доселе неприкосновенной тематической жилы, хотя такое объяснение и отдает самоедством.

Другая причина - это новое понимание соотношений литературы, языка и действительности. В последнее время активная, самопорождающая и творческая способность языка стала воистину “притчей во языцех”. Словесные знаки, грамматические и синтаксические конструкции признаются теперь главными первоэлементами литературной вселенной, а отнюдь не темы, идеи, мировоззренческие принципы писателей. Именно в языке, согласно современным представлениям, заложены самые глубинные возможности и ограничения литературного выражения, создания fiction. Больше того, все более распространяется убеждение в том, что весь человеческий опыт познания мира и ориентации в нем пропущен через фильтр языка, опосредуется и обуславливается им.

С этим связано и разрушение постулата наивного реализма, согласно которому достоинство литературного произведения измеряется степенью его “истинности” - прямого соответствия окружающему миру, степенью похожести на него. На смену ему приходит более скромная,

но по-своему дерзкая и амбициозная идея эстетико-смысловой автономии и “связности” текста. Это значит, что последний строится в соответствии с определенными правилами и кодами, которые автор сам для себя (текста) устанавливает. При таких условиях возникает соотношенный с внеположной реальностью, но имеющий собственную внутреннюю организацию и независимое бытие художественный мир.

Метафигиональная литература отказывается от наивного иллюзионизма, предполагающего, что текст - прямое подобие, или продолжение другими средствами внесловесной реальности. Точнее, она сознательно и внятно заявляет о том, что и так известно всем сторонам, вовлеченным в “литературный процесс” (книга - не жизнь, а вымышленное словесное построение), но о чем по обоюдному согласию часто склонны забывать. Сама творящая активность автора признается вполне законным и достойным предметом изображения.

Другой краеугольный камень, на котором зиждется прозрачное и призрачное здание метафигиональности - это новая концепция читателя, отводящая последнему гораздо более активную, чем раньше, роль в процессе восприятия литературного текста. Впрочем, восприятие, усвоение - это устаревшие понятия, отсылающие к низменной сфере гастрономии, чтобы не сказать пищеварения. Раз литература - замкнутый мир со своим строем и чином, то и читатель становится, наряду с автором, одним из устроителей этого неведущественного мира, гарантом его существования. Ему, читателю, в соответствии с экзистенциалистским канонам, предоставляется, а точнее, вменяется свобода, и сопряженная с нею ответственность - упорядочить этот мир, “вчитать” в него смысл и ценность.

По мысли сторонников современных теорий чтения, процесс чтения является параллельным и взаимодополняющим с процессом письма, и не уступающим ему по своей важности. Именно метафигиональная проза призвана научить читателя правилам игры, правилам поведения в этом умозрительном мире, его топологии, логике и механике, не имеющим аналогов во внеположной, внетекстовой действительности.

Тут, впрочем, возникают сомнения, вопросы к идеалистически настроенным теоретикам-литературоведам. Хорошо известно, из житейского опыта, насколько неохотно человек взваливает на себя постылую обузу свободы, тем более, если она сопряжена с бременем ответственности, самостоятельных решений и актов. Скорее уж девиз нашей постмодернистской эпохи - бегство от свободы. И к литературе это относится не меньше, чем к любой другой жизненной сфере.

Мне кажется, что вовсе не экзистенциалистская концепция свободы и не стремление вовлечь читателя в хоровод самодеятельного сотворчества служат главными стимулами развития метафигциональности. Что эта стратегия действительно способна сделать - так это до предела заострить и ярко осветить те непростые отношения, в которых пребывают автор и текст, автор и его герои, творческое воображение и "объективная реальность".

В частности, метафигциональная проза - авангард современной литературы - решительно ополчается на расхожее и бесполетное мнение, будто литература вторична, производна по отношению к эмпирической действительности и по своему онтологическому статусу уступает миру объектов. Ее претензии на равенство - по меньшей мере равенство - основываются не только на том, что книги, порождения творческой фантазии - такие же явления реальности, как помидоры, автомобили или чековые книжки. Нет, амбиции литературы - гораздо более высокого и изощренного порядка.

Стратегия литературного самопознания начинает как будто со скромного дезиллюзионистского акта, признаваясь в своем нетождестве с изображаемой ею реальностью, и декларирует погружение в самое себя. Но очень скоро она переходит к горделивому посягательству на онтологический паритет, а то и приоритет по отношению к действительности. Как же совершается этот переход?

Тут мы встречаемся с классической - и универсальной - схемой эмансипационного процесса. Сначала субъект эмансипации - будь то поработенный народ, угнетенное сословие или литература, обреченная на вторичность и зависимость от жизни - задумывается о себе, о своем уделе, своей ситуации в окружающем мире. На следующем этапе начинается борьба за собственное достоинство, за независимость или автономию. В случае литературы - это утверждение своей особой, специфически языковой природы, обнаружение того фундаментального факта, что референтами литературных знаков являются не предметы и явления объективного мира, а фиктивные же, воображаемые феномены. На этой стадии кристаллизуется представление о литературном произведении как "гетерокозме", не являющемся копией окружающей действительности.

Но у процесса есть и продолжение. После достижения независимости начинается борьба за первенство, за "жизненное пространство". При этом литература сражается, так сказать, на два фронта в этой войне. Первое направление - это атака на безусловность и несомненность

“объективной реальности”, подрыв безотчетной убежденности читателя в прочности окружающей его действительности, неизбежности ее законов, ее “вменяемости”.

Уже давным-давно высказывалась мысль о том, что жизнь есть сон или порождение чьей-то фантазии. Не вдаваясь слишком глубоко в историю вопроса, можно сказать, что это представление было распространено еще в эпоху барокко и особенно расцвело в искусстве романтизма. В XX веке эта концепция возрождается в литературе с новой силой и при помощи более тонкого, богатого набора приемов и инструментов.

Самый знаменитый из пропагандистов такого подхода - это, конечно, Борхес. К мысли о том, что эмпирическая наша действительность - не более чем иллюзия, он возвращается во множестве своих рецензий, эссе и рассказов. В знаменитом рассказе “Тлен, Укбар, Орбис Терциус” Борхес создает сложную модель ущербности, зыбкости нашего эмпирического мира. Там страна/планета Тлен, порожденная воображением участников некоего “заговора”, “плана”, постепенно заменяет собой в сознании человечества нашу, земную реальность и историю. Ключевой для Борхеса тут является фраза: “Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить”.

В этом опусе аргентинский писатель варьирует одну из излюбленных своих философских тем - о Книге (будь то Тора, Коран, Веды или энциклопедия Тлена), лежащей в основе эмпирического бытия, созидающей мир. Миру тем самым приписывается свойство фикциональности, выстроенности по законам текста - представление, весьма характерное для современных лингво-философских концепций.

Борхес прибегает и к другим способам доказательства своего центрального тезиса об ирреальности, “фиктивности” повседневной действительности. В эссе “Скрытая магия в “Дон Кихоте” он прямо соотносит эту идею со специфическими повествовательными приемами: “Почему нас смущает, что дон Кихот становится читателем “Дон Кихота”, а Гамлет - зрителем “Гамлета”? Кажется, я отыскал причину: подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены”.

В литературе нашего века можно найти еще множество демонстраций обманчивости, “податливости” действительности. Тут и солипсистские упражнения Л. Пиранделло; и опыты М. де Унамуно, в романе которого “Туман” герой в беседе с автором высказывает сильные сомнения в реальности последнего; и магические пассы К. Вагинова, автора “Козлиной

песни“ и “Трудов и дней Свистонова“, направленные на развоплощение и дискредитацию реальности, обнаружение ее зависимости от литературы; и рассказы и романы Х. Кортасара (в особенности “Непрерывность парков“, “Остров в полдень“ и “62. Модель для сборки“), в которых демонстрируется сугубая субъективность форм человеческого восприятия мира.

Впрочем, и в прошлом столетии встречалось немало предвосхищений этой парадигмы: неразличимость сна и яви у Гоголя, фантастические построения Амбруаза Бирса. В шутивно-теоретической форме положение о вторичности мира по отношению к искусству формулировал О. Уайльд.

Очень популярна практика расшатывания, размывания реальности и в сегодняшней российской, постсоветской литературе. Самое яркое ее воплощение мы найдем в прогремевшем недавно романе В. Пелевина “Чапаев и Пустота“. На сотню ладов, с утомляющим разнообразием и технической изощренностью доказывает автор иллюзорность и фиктивность повседневной жизни, ее мыльную радужную прозрачность, легкость и вздорность. Главным методом доказательства здесь служит принципиальная неразделимость реальности и бреда. Заглавный герой романа, Петр Пустота, никак не может разобраться, какая из двух ипостасей его шизоидной личности более “подлинна“: та, которая в годы гражданской войны участвует в фантастических приключениях Чапаева со товарищи, или же та, которая проходит курс интенсивной терапии в психбольнице Москвы 90-х. Две эти сюжетные сферы свободно проникают друг сквозь друга и взаимно аннигилируют.

Мне могут возразить, что все эти примеры не несут в себе ничего нового, специфически метафикционального и миропотрясающего. Здесь, мол, ставится обычная для всякой, в особенности фантастической литературы задача: завлечь и поразить читателя богатством авторской выдумки, яркими небывальщинами. Отвечу. Во-первых, во всех вышеотмеченных произведениях прослеживается явная установка на подрыв читательского “доверия“ к миру с помощью не просто вымысла, а вполне определенных литературных приемов. Кроме того, в них как правило явно звучит мысль о том, что стройность и упорядоченность мира - суть иллюзии “литературного“ происхождения, что мир “сочиняется“ и выстраивается человеческим восприятием по правилам повествования, текста.

А во-вторых - можно говорить о другой, более радикальной разновидности метафикциональной прозы, может быть, о более высокой фазе ее саморазвития. Эту литературную стратегию, о которой дальше и пойдет речь, я определяю, как стратегию повествовательного парадокса - СПП.

Под этим я подразумеваю такую ситуацию, когда само развертыва-

ние повествования ставит перед читателем трудноразрешимые противоречия логического и онтологического плана, апории. При этом затрудняется ориентация читателя в соотношениях степеней “реальности” отдельных фрагментов внутри текста, а также самого текста и внеположной действительности.

Вот рассказ Кортасара “Непрерывность парков”. Безымянный герой в тиши кабинета увлечен перипетиями романного сюжета. В нем женщина и ее любовник составляют план устранения мужа путем убийства. Любовник берется за осуществление плана. Крадучись он пробирается через парк в дом будущей жертвы, блуждает по его коридорам, находит нужную дверь и, обнажив кинжал, входит в кабинет, где у окна сидит погруженный в чтение человек - герой рассказа.

В полустораничном опусе Кортасара возникает головокружительная петля, когда повествование, зародившись на одном внутритекстовом “уровне реальности”, перебрасывается потом на другой, связывая их воедино лентой Мебиуса, соединяя несоединимое.

Другой пример этой стратегии представлен в фантастическом романе братьев Стругацких “Отягощенные злом” (да-да, и в советской литературе встречались порой суперсовременные ходы и приемы). Там развиваются, чередуясь, две сюжетные линии, представленные двумя рукописями. Первая - дневниковые записи, которые делал юный выпускник педагогического колледжа Игорь Мытарин, когда в его родном городе развернулись некие драматические события. Главным героем этих записок является учитель Игоря, великий педагог Георгий Анатольевич, в сущности, новый Иисус, при котором Игорь состоит в евангелистах. Вторая линия - это рукопись некоего Сергея Манохина, озаглавленная “ОЗ”. События, в ней описываемые, происходили лет за сорок до времени основного повествования. Эту рукопись Игорю вручил сам Георгий Анатольевич, наказав внимательно ее прочитать. В структурном плане “ОЗ”, таким образом, выполняет функцию “текста в тексте”.

В этом еще нет ничего необычного, как и в том, что между двумя повествовательными планами возникают смысловые переклички и символические перемигивания. Для нас интересно то, что ближе к финалу романа сам Георгий Анатольевич появляется на страницах “ОЗ”. Один же из персонажей рукописи Манохина соскакивает с ее страниц в “реальность” Игоря Мытарина. Снова, как и у Кортасара, происходит “короткое замыкание” разноуровневых планов текста, обмен объектами между ними.

Почему эти примеры СПП свидетельствуют о борьбе литературы за онтологический приоритет? Прежде всего, за счет сознательного и рассчитан-

ного разрушения внутренних рамок повествования привносится неопределенность в читательское восприятие текста. Вместе с тем размывается и ясная на первый взгляд граница между пространством книжного текста и объемлющей его внетекстовой реальностью. Ведь модель “текст в тексте” по-своему воспроизводит взаимоотношение “книга-жизнь”. Прорыв рамок, нарушение границ во внутритекстовом пространстве порождает в читательском сознании сомнение в непроницаемости границ также между текстом и бытием, в “первородстве” второго по отношению к первому.

Так структурно-повествовательные парадоксы исподволь воздействуют на наше “чувство жизни”, побуждают пересматривать незыблемые постулаты - например, о первичности “действительности” по отношению к “книге”.

Но и в более прямом смысле СПП демонстрирует властные претензии литературы. Магические упражнения, подобные описанным выше, не просто создают эффект “головокружения”. Они показывают, что литература способна порождать ситуации, перед которыми пасуют здравый смысл и формальная логика. Вербальные, фикциональные миры превосходят по своей сложности, структурной организованности тот мир, с которым мы имеем дело в повседневности. А литературные приемы, сама природа процесса рассказывания оказываются более активными, “дееспособными”, чем внетекстовая действительность, служащая только объектом приложения их возможностей.

Одним из главных условий воплощения этой стратегии служит, как уже ясно из предыдущего, сложная, многоуровневая и многорамочная структура текста. Это может быть книга, которую пишет (или читает) герой метафического произведения, “найденная рукопись”, или любая другая конфигурация иерархически соположенных текстов. Один из часто встречающихся вариантов этой стратегии - использование приема *mise en abyme*. Очень приблизительно смысл его можно перевести как “нисхождение в бездну”. Само французское выражение относится к геральдическим рисункам, когда на одном из полей щита изображается тот же щит целиком. Ввел его в употребление А. Жид, который и применил эту технику последовательно в своем романе “Фальшивомонетки”. Уподобить ее можно структуре матрешки или “китайской шкатулки”.

В романе Жида есть персонаж - писатель Эдуард, который пишет свой роман, тоже называющийся “Фальшивомонетки”. Его заметки, наброски, планы занимают немалую часть объема исходного романа. Но главное в том, что свойства и характеристики предполагаемого произведения Эдуарда, его темы и повествовательные ходы реализуются как раз в об-

рамляющем тексте, в романе Жида. Таким образом, текст, который мы читаем, оказывается тем самым романом, над которым трудится Эдуард. Возникает спираль повторов и уподоблений, внутренний текст объемлет внешний, часть поглощает целое - змея проглатывает самое себя.

Примерно такой же механизм действует в романе К. Вагинова "Труды и дни Свистонова", увидевшем свет лишь несколькими годами позже "Фальшивомонетчиков". Здесь тоже присутствует автор (Свистонов), пишущий роман о писателе (Вистонове), пишущем роман о писателе... Последовательность удвоений-отражений уводит в бесконечность. Характерно, что в финале "Трудов и дней..." происходит поглощение текстом внешней реальности: роман, как воронка, втягивает в себя эмпирическую действительность.

Надо сказать, что наличие взаимопересекающихся и взаимопоглощающих текстов - не единственная форма реализации "повествовательного парадокса". Внутренняя неодноточность текста может быть представлена, например, сном, грезой, бредом, просто вымышленной "альтернативной реальностью". Главное условие - чтобы и в этих случаях происходили пересечения между разными онтологическими уровнями или их немислимое совмещение. Борхес дает несколько изящных примеров такой техники. В "Тлене, Укбаре, Орбис Тертиус", о котором здесь уже шла речь, происходит очень тонкая "смена" изобразительных перспектив по ходу повествования. Рассказ начинается буднично, с воспоминаниями и житейскими деталями (в том числе с упоминаниями реальных лиц) из биографического прошлого повествователя, Борхеса. Дальше эти квазидокументальные послышки разворачиваются в на редкость экстравагантную фантастическую картину - оставаясь, однако, в хронологической и семантической перспективе "нашего мира". При этом в нее начинают проникать объекты из невероятной реальности Тлена. В финале же возникает хорошо рассчитанный шоковый эффект: из "постскриптума" следует, что Тлен, якобы невинная выдумка досужих умов, проникла в "наш мир", изменила его до неузнаваемости, так что действительности, к которой относится начало повествования, больше нет - истаивает понемногу даже память о ней.

К повествовательным парадоксам я отношу также возникающие по ходу разворачивания текста эффекты, которые нарушают фундаментальные конвенции, нашу привычную ориентацию в мире: три измерения пространства, однонаправленное течение времени, самоидентичность личности и т. д. Такого рода эффекты довольно широко применяются и в научной фантастике и *fantasy*. Однако их действие оказывается намного более сильным, когда они вводятся в определенные структурно-

композиционные точки произведения. Так, в рассказе Борхеса “Форма сабли” развивается линия “предателя и героя”, причем рассказчик отождествляется с героем, истинным патриотом Ирландии, которого выдает английским властям презренный трус и демагог. Лишь в последних строках рассказа выясняется, что “я” и “он” надо поменять местами: рассказчик-то и оказывается предателем Муном. Этот трюк выполняет не только сюжетную или психологическую функцию. Читатель призван испытать ощущение потери ориентации, уверенности в том, что  $X = X$ .

Сильному испытанию подвергается интеллектуально-вестибулярный аппарат читателя и в рассказе Борхеса “Сад расходящихся тропок”, с его идеями ветвления времени, набора параллельных и скрещивающихся временных измерений - миров. Еще один вариант стратегии повествовательного парадокса - создание циклических, рекуррентных повествовательных структур, реализующих метафору “вечного возвращения”. В пьесе Макса Фриша “Санта Крус” явь, воспоминание и мечта образуют ажурнейшую ловушку для времени. Три главных героя пьесы, Эльвира, Пелегрин и Барон, олицетворяют основополагающие начала человеческой природы: женственность и готовность отдаваться любви, авантюристичность и волю к свободе, ответственность и чувство долга. Когда-то, 17 лет назад, Эльвира, соблазненная Пелегрином, бежала с ним на пиратском корабле. Потом Пелегрин, не способный к постоянству и оседлой жизни, бросил ее на некоем условном карибском острове. А спас ее, конечно, Барон, аристократ, благородный человек, не способный оставить женщину в беде. 17 лет спустя, в “настоящем времени” пьесы, Пелегрин является в замок, где живут Барон и Эльвира - и исходная ситуация, ситуация любви-обольщения-предательства-спасения - воспроизводится заново, складываясь из реальных событий, снов, вырывающихся из глубин подсознания устремлений. Инвариант этот свободно может быть продолжен на любое число циклов в прошлое и будущее.

Образцы СПП можно множить, приводя примеры из новых и новых произведений Борхеса и Фриша, Кортасара и Маркеса, Воннегута и Джона Барта, Битова и Набокова. Суть, однако, уже ясна. Остается выяснить, каковы социокультурные корни подобной борьбы литературы за повышение бытийного статуса. Служит ли эта линия развития выражением некоего имманентного, безличного по сути процесса - или здесь мы сталкиваемся с целенаправленными усилиями конкретных авторов?

Ясно, что литература во второй половине века пребывает в постоянном кризисе, как имманентном, так и связанном с ее общественным статусом. Литературу вымысла теснят со всех сторон: журналистика,

документальные жанры, телевидение, компьютеры с их неисчислимыми информационными сетями и неограниченными игровыми возможностями. Жизненная ниша литературы постоянно сужается.

И вот это перманентное и все усиливающееся давление приводит к взрыву. Взрыву негодования, протеста, бунта против условий существования литературы в нашем мире. Этот бунт, с одной стороны, служит модификацией вполне традиционного утопического противостояния литературы и литераторов несовершенству и несправедливости жизненного порядка. Утопизм в явной или скрытой, превращенной форме, присущ, на мой взгляд, всякой литературной активности.

В наше время старые формы утопизма, связанные с поисками идеального переустройства мира на новых политических или социальных основах, выглядят все более устарелыми, одновременно слишком брутальными и недостаточно радикальными. Уже давно в центр критико-утопической активности переместилось “чувство жизни” современного (западного по преимуществу) человека, формы его восприятия действительности, способы организации жизненного и интеллектуального опыта.

Общее недовольство “олитературенного сознания” положением дел в мире, осязаемая угроза самому дальнейшему существованию литературы и культурных ценностей вообще (страх перед этой угрозой ощутим в таких уже давних и несхожих между собой текстах, как “Игра в бисер” Гессе и “451 градус по Фаренгейту” Брэдбери), общий кризис культурной самоидентификации человечества (в категориях традиционного гуманизма) и приводят совместно к тому, что литература переходит в контрнаступление, начинает активно и агрессивно самоутверждаться.

Частично описанный здесь инструментарий метафикциональной и “парадоксалистской” литературы - зеркала и лабиринты, бесконечные регрессии и циклические последовательности, “мертвые петли”, захлестывающие разные планы бытия - воплощает в себе стремление утопического сознания к вечности, обретению всемогущества и магической власти над реальностью. И, думается, нельзя сказать, что этот инструментарий подстать реквизиту фокусника-иллюзиониста, власть которого над публикой улетучивается с окончанием сеанса. Пожалуй, эффект современных литературных стратегий может оказаться более долгосрочным и глубоким. Речь, конечно, не идет о завоевании и подчинении своему влиянию самой широкой публики. Большинство из тех, кто все еще читают книги, как и раньше предпочитают продукцию традиционную и легкоусвояемую, дарящую покой, отвлечение от повседневных забот, иллюзию всамделишности происходящего и возмож-

ность сопереживать. Хотя и тут, надо заметить, не все так просто. Метафикциональные приемы все чаще проникают сейчас в низовые жанры (да в рамках постмодернизма иерархия жанров вообще почти сошла на нет): в детектив, истории любви, *fantasy*.

Важнее, однако, то, что литература в своих авангардных и воинствующих проявлениях, ополчаясь на незыблемость миропорядка и привычные основы мировосприятия, по-своему отвечает требованиям жизни. Ведь место человека в мире, его понимание мира радикально меняются в наше время - этого нельзя отрицать. Атомная энергетика и космические полеты, тотальная электронизация и озоновые дыры, информационные сети, незримо окутывающие мир, и виртуальная реальность, скрывающаяся в недрах компьютеров, геновая инженерия - все это говорит о том, что человечество стоит на самом пороге будущего, может быть, катастрофического, может быть чудесного, но радикально нового.

Те изменения, которые сама литература и, в особенности, литературная теория претерпевают в последние десятилетия, - стремительная смена парадигм, торжество модернизма, а вслед за тем постмодернизма, расцвет семиотики, структурализма, деконструктивизма - не культурное ли это выражение той неуверенности, того головокружения, которое человечество испытывает на этом краю? Может быть, литература занята сейчас тренировкой человеческого интеллекта, да и всего его родового биологического наследия к перегрузкам и трансформациям, которые ожидают их в близком будущем? Неразрешимые апории, уходящие в бесконечность удвоения/отражения, обозначение границ между разными уровнями реальности с немедленным их нарушением, развоплощения и перевоплощения героев и авторов - вся эта смущающая, запутывающая демонстрация могущества литературы, потенции повествования, быть может, призвана подготавливать нас к неизбежности странного, альтернативного мира. Появятся ли у нас в этом мире новые органы, новые чувственные и интеллектуальные способности, новые способы ориентации? Кто знает.

Пока же самым радикальным из утверждений новейших литературных теорий, строящихся на основе метафикциональной и "парадоксалистской" литературы, является мысль о том, что если не сама действительность, в которой мы существуем, то наши формы восприятия этой действительности и упорядочения нашего жизненного опыта являются "фикциональными" - они сродни процессам повествования и чтения, зависимы от них. И это само по себе обосновывает самые высокие притязания литературы на ранг и статус в нашем мире.

# ДО-ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Анатолий Добрович

## НЕВШАТЕЛЬСКИЙ СУД

### *Краткое введение*

*Разбирая старые папки - не возить же хлам с квартиры на квартиру - я наткнулся на текст, который написал более чем за 10 лет до приезда в Израиль (понятно, он не мог бы быть опубликован в СССР), и нашел, что этим стоит поделиться с читателем. Пусть текст говорит за себя.*

Невшательский суд - вот что нужно; был же Нюрнбергский! Заселили сушу, прорезаем воздух и воды, прибираем к рукам вещество и энергию - ну и существа! Светящимися роями скоро метнемся за пределы планеты. А все не созрели для того, чтобы одолеть стихию совместного бытия, все не соскрежем налет героики и тайны с политического бандитизма. Невшатель, чистый городок над чистым озером в незадымленной Швейцарии (ее, увы, я никогда не увижу) - вот место, которому выпало в моих фантазиях стать Международным Центром Расследования Политических Преступлений. Вижу огромный Дворец Правосудия среди озера, на искусственном острове. Напротив, на берегу - в шахматном порядке - здания Исследовательского Института. Полощутся флаги наций. Охрана не бросается в глаза, но составляет половину населения и оборудования: службу несет элитарное соединение ООН; противоракетный зонтик раскрывается в считанные секунды. Государства, проголосовавшие против создания Невшательского суда (либо воздержавшиеся при голосовании) тут же переходят в категорию подсудных.

Что такое "политическое преступление"? Вот там это и определяют - с не меньшей точностью, чем структуру молекулы или физическую суть сверхпроводимости. Ну, очевидно же, что в определение попадают: насильственный захват государственной власти - под прикрыти-

ем фальсифицированных выборов или без; физическое устранение противников путем убийства или высылки; установление режима, исключающего действия оппозиции; лишение народа прав на неинспирированные сверху собрания, на добровольные организации с независимой программой, на устные и печатные высказывания против властей, на получение информации из других стран, на обсуждение и пересмотр законов, на выезд граждан за рубеж, на защиту неправительственными адвокатами. И прочее, и прочее. Да что я ломлюсь в открытую дверь!

Одно только, по-моему, осталось додумать: НАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ за диктатора! Массы, кричащие ему “ура” и отдающие ему душу и тело, НЕ ДЕЛЯТ с ним ответственности за политические преступления. Эти массы - такие же его жертвы, как и замученные в тюрьмах или погибшие в затеянных им войнах. Мы ведь легко согласились бы снять обвинение с масс, с бесчисленных поклонников Вождя, стань нам известно, что Вождь распорядился постоянно закачивать в водопроводы своей страны некое психотропное вещество, ведущее к массовому безумию. Однако газеты, книги, радио, телевизор - те же водопроводы! И безумию почти невозможно противостоять, если им заражены все вокруг и если отказ плыть по течению означает концлагерь или пулю в лоб! Массы, пребывающие в страхе, - не что иное как вещественное доказательство политического преступления. А страх, как известно, легко преобразуется в восторг и самопожертвование.

Невшатель мог бы определить и продемонстрировать свои принципы, развернув теоретические слушанья дел умерших преступников; на этом фоне шли бы суды над здравствующими. Робеспьер и Пиночет, Наполеон и Сталин оказались бы в одной компании. Факты должны быть собраны со всей тщательностью; отсутствующему на суде преступнику (разве какой-нибудь Пол Пот или Ортега согласятся прибыть на расправу в Невшатель?) полагается первоклассный защитник; решение выносится присяжными. Гуманистические цели, коль скоро они двигали преступником (если это убедительно раскрыто адвокатом), не являются оправданием и могут лишь смягчить приговор. Осужденному три раза подряд (с интервалами в три месяца) предлагается сложить власть и вверить себя международному юридическому органу в Невшателе. После трех отказов автоматически вступает в силу приговор к ликвидации... Не говорите мне, что это “бесчеловечно”!

Разумеется, политический преступник всегда окружен совершенной охраной. Его свита и “его народ” (словно народ - чья-то собственность!) требуют невмешательства в суверенные дела “его государства”. Миллионы людей могут быть брошены в бой за сохранение преступного режима; многие из них гибнут - горе нам! - с глубочайшим убеждением в своей правоте. Как исполнить Невшательский приговор? Реально ли это? И справедливо ли бросать огромные армии против армий диктатора, возвеличивая его имя массовым кровопролитием? Стоит ли он этого, господа хорошие? А на кой черт нам тогда технический прогресс?.. Вот что я нафантазировал.

Ракета-невидимка бесшумно проникает в заданный район. Пять ракет. Нет, двадцать - для надежности. Упав на землю, ракета выпускает из себя сотню микро-роботов, исполнителей приговора. Они передвигаются и замирают. Они способны приклеиваться под сидение стула или к ветке дерева. Они самоуничтожаются, если их схватывают. Это насекомообразные автоматика, натасканные на... голос диктатора. Он может годами не выходить из бункера, слать вместо себя двойника на трибуну, но ни разу не раскрывать рта он не может! А голос потрясающе индивидуален. И задача “насекомого” - максимально приблизиться к источнику голоса и, опознав живое (а не магнитофон), - ужалить. Вывести из строя, если не убить.

Жизнь в вечном страхе перед каждым сучком, стебельком и предметом мебели едва ли придется диктатору по вкусу. Он попытается уничтожить Невшатель или бросить народ на “священную” (а то как же!) войну против всего мира. Его террористы обнаружатся в любом уголке планеты, готовые взорвать что угодно. С Невшателем надо спешить. Новому претенденту на диктаторскую власть станет куда как ясно, что этот пост - не сахар. Секретные лаборатории по производству “насекомых” должны быть расположены неизвестно где и подчиняться только Международному Центру Расследования Политических Преступлений.

Надо спешить!

И то сказать: рискуя жизнью целой команды, “берем” какого-нибудь насильника, маньяка-одиночку, грабителя, а тех, кто насильничает над миллионами, “взять” не способны! Колошматим эти миллионы, а он отсиживается в логове... В технический прогресс я верю; мои фантазии осуществимы. Хуже с этическим прогрессом. С нашим самопониманием. С неискоренимой потребностью создавать себе кумиры. С любовью к негодям, позволяющим себе то, на что мы сами не решились

бы. Избавимся ли мы от этого в двадцать первом веке? В двадцать втором?.. Вообще?..

Гляньте-ка, ведь и этот морализирующий текст, на поверку - фантазия об убийстве!

1979

### **Краткое заключение**

*С тех пор, как это было написано, миру явили себя Хомейни и Саддам Хусейн - не считая диктаторов калибром поменьше. Может, и вправду, "надо спешить"? И хотя я добросовестно ловлю себя на пившем эту фантазию неприглядном желании - желании видеть предмет ненависти убитым либо искалеченным, - хотя с этической (иудео-христианской) точки зрения моя позиция достаточно уязвима, в ней, по-моему, больше человечности, чем в расчете, что, скажем, замученный народ Ирака со временем "дозреет" и "сам скинет" своего "Великого вождя". А по-вашему, читатель?..*

**Борис Голлер**

## **ФЛЕЙТЫ НА ПЛОЩАДИ**

*(Избранное)*

---

*Книга Голлера - редкое явление в наше время всеобщей расслабленности и самоуспоения этой расслабленностью. Тексты Голлера побуждают нас сосредоточенно вглядываться в прошлое, затрачивать интеллектуальные усилия. Они пробуждают ностальгию по истории...*

*Марк Амусин. "Вести" ("Окна"), 3.8.2000.*

---

В книгу драматурга, прозаика, эссеиста вошли три "драмы истории": "Сто братьев Бестужевых"; "Плач по Лермонтову, или Белые олени"; "Привал комедианта, или Венок Грибоедову"; проза "Петербургские флейты", два эссе: "Грибоедов в меняющемся мире" и "Слово и театр".

---

*472 стр. Издательство "ГИРА", Иерусалим.*

*Цена: в Израиле - 35 шек., для Европы и США - 10 долларов.*

---

*Заказы направлять автору, по адресу:*

*P.O.B. 1568. Qiriat-Arba - Hevron, Israel,*

*или E-mail: best2000@barak-online.net*

Эдуард Бормашенко

## ИСТОРИЯ ИСТИНЫ

(Окончание. Начало в №119)

### Поиски истины: от Декарта к Ницше

*“Архимеда будут помнить, когда Эсхила уже забудут,  
потому что языки умирают, но не математические идеи.*

*Возможно бессмертие и глупое слово, но, по всей  
видимости, математик имеет наилучший шанс  
на бессмертие, что бы оно ни означало“.*

**Дж. Г. Харди**

Хорошо все-таки возвращаться к исходным посылкам. Завораживающая эстетика циклов не отпускает воображения. А говорили мы об утрате математикой определенности (“Математика - утрата определенности” - назвал свою замечательную книжку педагог и математик Морис Клайн). Последнее прибежище ясной истины - математика, последний островок определенности уходит под воду. Математические структуры - суть последние, предельные абстракции, отделенность математики от мира и ясность ее истин абсолютны. Как же объяснить непреходящую страсть мистиков всех поколений к математике? Пифагор, Платон и Виленский Гаон настойчиво требовали от своих учеников прочных математических знаний.

Здесь стоит остановиться на интеллектуальном творчестве Пифагора, первым соединившим в себе математика и мистагога. Рассел в “Истории Западной Философии” пишет: “Пифагор понимал слово “теория” - “страстное и сочувственное созерцание”, как интеллектуальное созерцание, к которому мы прибегаем также в математическом позна-

нии. Таким образом, благодаря Пифагору слово “теория” постепенно приобрело свое теперешнее значение, но для тех, кто был вдохновлен Пифагором, оно содержало в себе элемент экстатического откровения. Это может показаться странным для тех, кто немного и весьма неохотно изучал математику в школе, но тем, кто испытал опьяняющую радость неожиданного понимания, которую время от времени приносит математика, тем, кто любит ее, пифагорейский взгляд покажется совершенно естественным, даже если он не соответствует истине. Легко может показаться, что эмпирический философ - раб исследуемого материала, но чистый математик, как и музыкант, - свободный творец собственного мира упорядоченной красоты“.

Дело в том, что математика по сути своей место встречи, перекресток истин глубоких и ясных. Помимо абстрагирующих процедур, отделяющих математические структуры от мира, математик предполагает абсолютную универсальность выполняемых им операций. Как сказал тот же Рассел: все математики под словами “да” и “нет” понимают в точности одно и то же. Так это в самом деле или нет - дело другое (я, вот, полагаю, что это не верно). Но для того, чтобы что-то делать, математик должен думать именно так. Кажущееся очевидным математику А, должно казаться столь же очевидным не только математику В, но и некоему универсальному математику. То есть мышление математика соразмерно мышлению обо всем мире математических объектов вообще. Интимное, сокровенное знание, рождающееся в индивидуальном акте математического творчества, оказывается соизмеримо “мышлению вообще”. Мы уже знаем, что вот это осознание соразмерности макро- и микрокосмов и есть источник непреходящего мистического вдохновения. “Опьяняющая радость понимания”, о которой пишет Рассел, становится вполне понятной, и она весьма сродни мистическому озарению, позволяющему мистика видеть мир из конца в конец. Та же математика служит и основным источником уверенности в существовании истины ясной. Узенький мостик между вечной, абсолютной истиной и истиной прозрачной набрасывается также и музыкой. Шаткость этого мостика прекрасно ощущалась и изумительно выражена пророком Элиагу, когда он говорит: в утверждении о том, что Вс-вышний - один, слово “один” не имеет привычного числового значения. Числа, какой бы высокой абстракцией они ни были, есть лишь продукт нашего разума, и заставляют мистика созерцание Тв-рца.

Любопытна и вполне мистическая тяга математики к анонимности. Лорд Бертран Рассел (на дух не переносивший мистического) предпринял в начале века претенциознейшую попытку изложить всю матема-

тику языком одних лишь символов, вовсе вымета из ее хрустального дворца словесную шелуху и навсегда изгнав из математики несообразности и противоречия, вносимые в нее столь несовершенным рудиментом человеческого знания, как язык. Эта книга должна была бы стать венцом порыва к ясности, но по сути представляет образец мистической тяги к предельной анонимности. Провал расселовского проекта характерен: для понимания написанного все равно потребовался грешный всеми своими грехами человеческий язык. Жажда предельной ясности носит у математиков мистический характер.

Судьба сыграла с великим атеистом (Рассел был последовательным и остроумнейшим борцом с религией. В тяжелое для ясного разума время усилия Рассела, требовавшего ответственного, прозрачного мышления, неоценимы) злую шутку. Творчество Рассела (как и творчество Мейстера Экхарта или Рабби Шнеур Залмана из Ляд) немедленно узнается - почерк каждого из великих мистиков неповторим. Нотный лист, исписанный Моцартом странными значками, (а расселовские "Принципы математики" выглядят именно так) вполне анонимен, но начните наигрывать мелодию и вы немедля узнаете автора. Невытравимость из математики личного, персонального обусловлена уже тем, что на самом деле не существует двух математиков, понимающих под словами "да" и "нет" в точности одно и то же. Современные психологи, изучающие работу головного мозга, утверждают, что вероятность существования двух интеллектов в абсолютно идентичных состояниях ничтожно мала. Только возможность усреднения и огрубления создает в математике возможность актов понимания. Там же, где огрубляющие процедуры перестают работать, находится и предел математической ясности.

На предельной отделенности математических объектов от мира подвешена ясность математики, на возможности человеческого разума ими оперировать - ее невыводимая мистичность. Отделенность человека от мира и его соразмерность миру спрятаны в математике одновременно, и именно потому математика так "непостижимо эффективна в естественных науках" (Е. Вигнер). Мистическая назойливость, с которой математические структуры всплывают в физике, говорит о многом. Можно без особой натяжки говорить, что любая, самая диковинная математическая структура, найдет свой прототип в реальном мире. Мы пришли к месту встречи истинности и подлинности (слава Йохану Хейзинге, оттенившему различие между ними, и русскому языку, позволяющему этот нюанс передать).

Первым размотал клубок истинности и подлинности рационалист (по мнению Мераба Мамардашвили первый и последний гениальный рацио-

налист) и мистик - Декарт. "Наш конечный ум может понять в качестве возможных... те вещи которые "Бог соизволил действительно сделать возможными"... я могу понимать мир, потому что это один из тех возможных миров, который Бог действительно, эмпирически сделал возможным". То есть я могу понимать мир потому, что Б-г создал его таким, что он не превосходит возможностей моего понимания, соразмерен мне. А после того, как это понято, пишет Декарт в "Правилах для руководства ума", наша обязанность - выработать о мире суждения ясные, и путь к этому - математика. Способность же математики генерировать соразмерные миру структуры - эмпирическое доказательство соразмерности человека миру.

"Тот, кто сможет в воодушевлении обнаженного момента истины... хорошенько расспросить себя (что едва или почти невозможно), тот опишет всю Вселенную" - так мыслит соразмерность мира и мыслителя Декарт в интерпретации Мераба Мамардашвили. Но в действительности одним мистическим усилием, ставящим философствующего один на один с миром, не обойтись. Соизмерив себя с миром, следует отойти от него, отстраниться и выработать о нем ясные суждения. Всегда вежливый Декарт в "Правилах для руководства ума" жестко рекомендует: "Нужно заниматься только такими предметами, о которых наш ум кажется способным достичь достоверных и несомненных познаний". Декарт настолько ценил прозрачность мышления, что советовал интеллектуалам учиться у ремесленников: обойщиков, столяров, работа которых требует концентрации внимания, дисциплины и постоянного внутреннего напряжения, приучающих к ответственности за каждый сделанный шаг.

Картезианская идиллия истин ясных и глубоких длилась недолго (такова судьба всех идиллий). Но недолгое время мирного сосуществования наук и умозрительного созерцания истины недаром названо классической наукой. Послдекартовская наука поражает своей скрытой внутренней гармонией, ее пропорции в самом деле классичны. Ньютон, Гюйгенс и Лейбниц равно прекрасны в своих физических и метафизических штудиях.

Удар по картезианскому единству мира был нанесен с неожиданной стороны: экспериментальный метод доконал наметившуюся гармонию. Оказалось, что истину можно производить в лаборатории, не задумываясь об основах устройства мироздания. Для посткартезианской эпохи характерна фигура Майкла Фарадея, чародея физической лаборатории, ученого философски глубоко невежественного, испытывавшего смутное беспокойство при разговорах о всяких метафизических умствованиях. Экспериментальное мастерство Фарадея - бесприммерно, но виртуозность его лабораторной работы вовсе не нуждалась в подпорках, предо-

ставляемых умозрением. Вслед за ним и Лаплас уже позволит себе объявить: “Я не нуждаюсь в гипотезе о Боге”. Декартовское “страх Божий - источник всякого познания” начинает звучать пустою фразою, ибо теперь я сам, ученый-экспериментатор, по своему изволению вызываю из пробы черта (“джинна”) истины. Появление Канта с его агностицизмом становится неизбежным. Кант покажет, что чистый разум обречен блуждать в антиномиях: любому утверждению, лежащему в поле созерцательного мышления, не опирающегося на опыт, может быть противопоставлено суждение прямо противоположное. Тем самым признается принципиальная ограниченность способности чистого разума постигнуть истину. Источником ясной истины был призван стать опыт, заменивший логику. Торжество кантианства как системы не случайно совпадет с построением грандиозного здания теоретической физики. Уравнения Максвелла - продукт чистого математического умозрения - прекрасно спроецируются на экспериментальный пир Фарадеевского эксперимента.

Первыми почувствовали порчу в блистающем мире науки девятнадцатого века Фридрих Ницше и Вильгельм Дильтей. Ницше принадлежит тот выдающийся взгляд, что традиционная идея истины - соответствие мысли и вещи - возникает и падет вместе со спиритуалистической идеей Бога... В отличие от ученых, которые спокойно подписываются под утверждением “Бог умер”, но в своей жизни и работе признают ценность чистого познания истины, условием осмысленности которого является как раз то самое утверждение, которое они отрицают, он ставит радикальный вопрос о смысле и ценности так называемой истины самой по себе. Но и Вильгельм Дильтей приходит к тому же, когда пишет “Рационалистическая позиция приобрела сегодня значимость главным образом благодаря школе Канта. Отцом этой позиции был Декарт. Он придал суверенитету интеллекта победоносное значение. Согласно этой позиции, разум есть принцип конструкции мира, а не эпизодический феномен, характерный только для Земли. Однако сегодня никто не может не заметить, что этот грандиозный религиозно-метафизический фон не является более чем-то само собой разумеющимся... Религиозная связь между творцом и творением не является для нас больше принудительным фактом”. Дильтей пишет и о том, что решающий удар по декартовской гармонии нанесли Дарвин и Лаплас, сделав избыточными “предпосылки конструктивного разума как принципа” (М. Шеллер. “Человек и История”).

Разумеется, не одни лишь Ницше и Дильтей сигнализировали о кризисе. Рождение и вспухание экзистенциализма с его жадной возврата к вере Авраама, Ицхака и Иакова и опорой на абсурд, было попыткой

восстановления разорванной связи между творцом и творением, попыткой реабилитации истины глубокой, место которой экзистенциалисты определили в человеческом сердце, не слишком доверяя попавшему под подозрение интеллекту. Тяга к истине глубокой - неугасима, но ставка на абсурд означала уже изначально подчиненное положение истины ясной и свидетельствовала о кризисе в человеческом познании.

Самый тяжкий удар по гармонии истин глубокой и ясной нанес сам экспериментальный метод. Число объектов и методов исследования к концу XX века так возросло, что оказалось возможным заниматься честным исследованием и ощущать себя причастным (и по праву!) к поиску научной истины, вовсе не соотносясь с первыми принципами устройства мироздания, или имея о них самые дикие представления.

Для вящей точности следовало бы сказать: я, ученый, ограничиваю свою скромную миссию поиском подлинных решений, а до такого перегруженного метафизикой предмета, как истина, мне нет дела. Сегодня ничто не мешает приличному профессору физики или химии быть одновременно приверженцем самого фантастического культа, и при этом быть принятым в почтенном ученом сообществе. "Тирания количеств", так называют это явление электронщики, приводит к бешеному экстенсивному развитию научного знания, опирающегося на все те же ставшие слабыми кантовские ножки. Только окончательный уход ясной истины в лабораторию мог породить попперовскую концепцию фальсификации: всякая теория лишь в том случае имеет дело с истиной, если возможно ее опровержение, фальсификация. То есть ясная истина всегда преходяща, относительна и может быть опровергнута. Она всегда локальна и недолговечна. Декартовские ясные суждения претендовали на вечность и универсальность, сегодня подобные претензии есть лишь у истин глубоких, впрочем, мы знаем, что они неопровержимы изначально, ибо, по Нильсу Бору, им противостоит не ложь, а другая истина.

Декартовско-кантовский космос разрушен - это верно, но так ли уж верно, что миры истин ясных и глубоких разделились окончательно и бесповоротно?

Нет, конечно. Непостижимая эффективность математики в естественных науках остается мистическим и ниоткуда не следующим элементом современного мышления. Созерцание этого единства миров математических знаков и мира реальных объектов доставляет посвященным неизъяснимое религиозное и эстетическое наслаждение. Генрих Герц, изучая электромагнитную теорию света, "созданную гением Кларка Максвелла, испытывал такое чувство, что в математических формулах есть

собственная жизнь. “Они умнее нас, - писал Герц, - умнее даже, чем их автор” (М.Алданов. “Загадка Толстого”). Бросается в глаза сходство ощущений Герца с экстазом, переживаемым мистиком, созерцающим священный текст. Гершом Шодем показал, что никто не сделал так много для становления современного научного мышления, как средневековые мистики с их неистовой волей к последней истине. Утрата этой воли - истинная катастрофа, подстерегающая западную цивилизацию.



На протяжении всего нашего размышления мы ни разу не поставили вопрос: “что есть истина?” Я вслед за Бертраном Расселом не верю в абсолютную полезность для философии наилучших определений. И все же послушаем, как трактует понятие истины сам лорд Рассел, в данном случае определение помогает схватить суть дела: “Истина заключается в определенном отношении между верой и одним или более фактами, иными, чем сама вера”. Разумеется, для Рассела понятие веры вовсе не сводится к вере в Бога, но здесь не место расширять дискуссию о точном употреблении слова. Стоит обратить внимание: чуть выше об истине как о соответствии говорил Макс Шелер. Видимо, все адепты ясного мышления согласятся с этой скромною трактовкою, и неслучайно любители поиска истины в глубоких омутах, начиная с Хайдеггера, нападают на истину-со-ответствие.

Нынешний кризис истины - именно кризис отношения, соответствия. Ничто не мешает мне сегодня высказывать истины глубокие, лежащие в области веры (в том числе и религиозной). Ничто не мешает мне и накапливать и сортировать факты и генерировать истины ясные, обеспеченные подлинностью научного знания, и мы ходим попеременно то в синагогу, то в лабораторию. Уже упоминавшийся Карл Поппер не только призвал мириться с “дуализмом фактов и норм” но и последовательно счел этот дуализм одним из краеугольных камней либерализма (мы уже говорили о том, что известное равнодушие к истине идет на пользу западной цивилизации). “Философия тождества фактов и норм - весьма опасна... и ведет к отождествлению норм или с властвующей ныне или с будущей силой”. Отсутствие воли к установлению соответствия между истиной и подлинностью, фактами и нормами, истинами глубокими и ясными, тем самым ставится на солидный философский фундамент. Коли так, то поклоняясь двум богам одновременно, позволяя “истинам” жить своей, не зависящей друг от друга и от нас жизнью, не спешите ругать девушку, не доверявшую таблице умножения.

## Психология и теология истины

Вернемся к тому, как образуется понятие истинного в нашем мозгу. Мы уже толковали, что человеческое мышление возможно несмотря на то, что не существует двух тождественных мыслящих существ. Мы как бы полагаем, что они понимают под словами “да”, “нет” и “очевидно” в точности одно и то же. С неожиданной стороны проливают свет на проблему формирования понятий об истинности и очевидности в нашей психике работы Виктора Франкла, в особенности те, в которых он рассуждает о навязчивых (обсессивных) состояниях. “Что происходит в сознании обсессивного невротика, когда, скажем, его одолевают сомнения? Предположим, он считает: дважды два будет четыре... Тем не менее, он начинает сомневаться. “Я должен посчитать это снова, - думает такой невротик, - хотя я знаю, что решил правильно”... Нормальная личность переживает чувство уверенности, вытекающее из очевидности. У обсессивного невротика отсутствует нормальное чувство очевидности... Нормальная личность игнорирует иррациональный остаток, который необходимо сопровождает все результаты мышления. Но невротик не может пренебречь иррациональным остатком; его мысли не могут обойти его стороной”.

Франкл заостряет чрезвычайно важную мысль: “нормальный” человек испытывает от ясной истины удовлетворение, прозрачность и очевидность дают его душе покой. Однако, в сущности любое творчество начинается с того, что некто подвергает сомнению то, что всем остальным кажется очевидным. То есть концентрируется на том самом иррациональном остатке, который, по Франклу, характерен для невротика. Вот этот иррациональный остаток, представляющий жажду человека к иной, нежели очевидная, истине, и есть след истины глубокой, оставленный ею в душе творца. И как же ей быть рациональной, если речь идет о новом, а новое, если оно воистину ново, едва ли может быть объяснено рационально, т. е. в терминах старого. Пинхас Полонский в одной из своих лекций сказал, что человек лишь в тех случаях испытывает истинное удовлетворение, когда уподобляется Вс-вышнему. Именно потому творческий акт вызывает в душе творца такую гамму эмоций, что человек ощущает себя в этот миг созданным по образу и подобию Б-жьему.

Опора лишь только на прозрачность мышления иссушает дух, ибо то, что нам видится ясной истиной, слишком часто представляет собою всего лишь предрассудки здравого смысла. Зерно сальеризма, содержащееся в мышлении, отвергающем истину глубокую, прорастает с нехорошей последовательностью. Творческое мышление начинается именно с победы над нынешней очевидностью. Всякий физик скажет, что самый

прозрачный отдел науки сегодня - теория тепла, обнимающая молекулярно-кинетическую теорию и термодинамику. Но всего сто лет назад Людвиг Больцман застрелился, отчаявшись убедить ученое сообщество в тех самых положениях, которые сегодня видятся столь прозрачными.

Веками ясной истине верую и правдою служил здравый смысл. Но с тем, что принято разуметь под *common sense*, в последнее время мы запутались до последнего предела. Сродство очевидности и здравого смысла в современной науке распалось, по-видимому, бесповоротно. Такие опорные колонны современного естествознания, как квантовая механика и теория относительности, покоятся на утверждениях совершенно противных здравому смыслу. Впрочем, уже и ньютонова механика с ним не в ладах: ведь каждому очевидно, что в отсутствие сил предмет должен остановиться. Первый закон Ньютона, постулирующий тождество покоя и прямолинейного движения, вопиюще противоречит здравому смыслу. Но сегодня на статус здравого смысла, как источника очевидности, навалились дополнительные трудности - социологические, на них обратил внимание рав Адин Штейнзальц. Здравый смысл (подобно температуре) - явление коллективное. В современном же мире, в силу неизбежной специализации, знание становится во все большей мере уделом узких групп экспертов. В подобных малочисленных коллективах здравый смысл может и вовсе не вырабатываться, и ясному мышлению придется искать себе другую опору. Я говорю это без горечи, ибо именно опора на здравый смысл часто понуждает поборников прозрачного мышления говорить плоскости, но положение дел именно таково: здравый смысл больше не гарант ясности мышления.

К здравому смыслу иногда вынуждены апеллировать и мистики. Но их обращение скорее иллюстрирует наш подход - здравый смысл не удел избранных, но достояние коллектива. Например, крупнейший каббалист нашего века рабби Ашлаг пишет, что все беды человечества коренятся в неизбывном стремлении получать, т. е. в подавляющем влиянии на наше поведение хватательного рефлекса. Но оформить подобную мысль в состоянии лишь здравый смысл каббалиста. Здравый смысл нормального человека услужливо шепчет ему, что хватательный рефлекс скорее источник наслаждений, чем бед и несчастий.

Если не здравый смысл, то что же отличает ясное мышление? Я не большой поклонник философии наилучших определений, но нельзя и ускользать от прямых вопросов. Адептов прозрачного мышления в значительно большей степени отличает психологическая настроенность на непрерывность мыслительных актов, нежели ориентация на здравый

смысл. Один мой знакомый математик, др. Александр Хейфец, как-то сказал: пропуск двух очевидных логических переходов делает текст нечитаемым. О том же метафорически говорит и Талмуд. Сказано: ходьба слишком большими шагами вредит зрению.

В самом деле, ничем не подкрепленные скачки при переходе от одного рассуждения к другому, создают у мыслителя, ориентированного на ясность, ощущение мучительного покоя. При этом логика переходов от мысли к мысли может быть весьма причудливой и далекой от здравого смысла, но она должна быть. Для мистики проблема последовательности мыслительных актов не актуальна, связность всего со всем предзадана, и логическая несурзаца этой сверхсвязности повредить не может.



Стоит отметить, что ясное мышление вовсе не изобретение ученых. Религиозное мышление ничуть не в меньшей степени склонно приписывать Вс-вышнему предрассудки нашего здравого смысла. В особенности наглядно мы можем видеть эту утрату собственно религиозного духа в процессе превращения религии в церковь - общественный институт, по положению имеющий дело с вечностью, но более всего заинтересованный в сохранении существующего положения вещей. Потому-то внутрирелигиозный бунт, как правило, мистически окрашен, что всегда появляются люди, которым созерцание религиозных институтов не заменяет созерцания Вс-вышнего.

Психологическое напряжение, возникающее в душе, жаждущей одновременно истин глубокой и ясной, чудовищно. Такие гиганты, как Паскаль и Толстой, являют собою пример полной капитуляции прозрачного мышления перед духом, ориентированным на вечность. Ни того, ни другого не обвинишь в слабости интеллекта или вялости духа. Паскаль, правда, в отличие от Толстого, отдавал себе отчет, что речь идет именно о капитуляции. Столь смущавший его религиозных друзей и потому бессовестно цензурированный отрывок "Мыслей", в котором Паскаль пишет: "и вы уверуете и поглупеете", однозначно свидетельствует, что Паскаль видел свое поражение. Впрочем, и Толстой в "Смерти Ивана Ильича" напишет, что приговоренный к смерти Иван Ильич вслушался было в разговор об исцелении иконами, но с ужасом одернул себя: "Неужели я так умственно ослабел?"

В самом деле, удержать искомое равновесие почти невозможно: ну как, скажите, и стремиться к очевидности, и бежать от нее. А ведь попытки примирения предпринимались людьми серьезными: Аристотелем, Рамбамом. Рассел ехидно отметил, что Аристотеля бывает трудно понять,

ибо он пытается сочетать мистический экстаз Платона с предрассудками здравого смысла, однако трудно понять, как одно может быть сочетаемо с другим. Рамбаму, пытавшемуся рационализировать иудаизм, тоже удалось немного. Если, согласно ему, жертвоприношения - всего лишь следы отживших культов и т. д., то, как писал Гершом Шолем, трудно ожидать от верующего еврея ревностного исполнения ритуальных предписаний.

Рав Соловейчик ("Одиноким верующий человек") пишет, что примирение и в принципе невозможно, ибо разлом в душе человеческой входит в часть замысла Вс-вышнего о мире. Полнота осознания мира внутри одной души недостижима, в принципе, в силу грехопадения первого человека. В таком случае внутренняя борьба духа имманентна бытию человека. Рав Адин Штейнзальц отмечает, что западные интеллектуалы посвящают всю свою наличную энергию утишиванию этой бури, разыгрывающейся в душе. Душевный покой объявлен ими высшей целью. Психиатры и философы, писатели и телеведущие озабочены тем, чтобы наделить публику максимальной дозой вождельного покоя. Ясно, что презрение к истине вносит достойный вклад в эту борьбу за душевное равновесие. Ясен и скепсис Штейнзальца в деле достижения душевного покоя при жизни человеческой.

Я предвижу здесь скептическую ухмылку: ну, теологи, они все объяснят. Но странным образом к весьма сходному заключению приходит и атеист Рассел, говоря о том, что никому еще не удавалось создать философию правдоподобную и внутренне последовательную. На самом деле, правдоподобность философии подпирается ее очевидностью, ориентацией на истину ясную, требуемая же нами внутренняя последовательность есть отблеск, бросаемый на нее стремлением к совершенству, иррациональным остатком мышления, ведущим, по Франклу, в пределе к психозу.

Но если раздвоение истины сулит нам борьбу духа, то необычная точка встречи двух правд лежит тоже в плоскости психологии. Я думаю, что любому из нас, уделившему не худшие часы своей жизни творчеству, знакомо поразительное чувство ясности, доставляемое результатом совершенным. Читая блестящую работу, в которой уже не видать капель пота, всегда поражешься: да как же я сам до этого не додумался? Это ощущение великолепно оформлено Борхесом в очерке об Оскаре Уайльде: "Ему повредило, пожалуй, стремление к совершенству: сделанное им до того гармонично, что может показаться само собой разумеющимся и даже избитым".

Вернемся на прочную почву теологии. Позволю себе пересказать историю, относимую к рабби Иосифу Каро, составителю "Шулхан Арух", "великому верующему", по определению профессора Лейбовича. Однажды рабби Иосиф Каро провел многочасовой штурм запутан-

нейшей галахической проблемы, одолел задачу и, совершенно измученный, вышел из дома учения на улицу. Навстречу ему весело шлепал один из его малолетних учеников. Он увидел растерзанного учителя и спросил: “Рабби Иосиф, что за проблема Вас так измучила?” Рабби с гордостью сформулировал каверзнейший вопрос и, собравшись поделиться законной гордостью победителя, перешел к разрешению, как вдруг отрок весело объявил: “Рабби Иосиф - это же так просто” ... и изложил верный ответ. Рабби Иосиф вдруг понял: первому важно пробить дыру в перегородке, отделяющей нас от правды, а уж далее через эту дыру дождь истины изливается на всех без разбору.

### **Истина и смысл**

Непростая проблема взаимоотношений истин и смыслов в самом общем виде была поставлена равом Адином Штейнзальцем. “Среди бесчисленных вопросов, которые задает себе человеческая культура во всем ее многообразии, можно выделить три наиболее фундаментальных и общих вопроса... Эти три вопроса могут быть выражены в предельно простой форме словами “что?“, “почему?“ и “зачем?“ Вопросы эти, различаясь в их отношении ко времени, разграничивают, на взгляд Штейнзальца, сферы компетенции математики, науки и религии. Математика, в которой, по сути дела, отсутствует понятие времени, имеет дело с вопросом “что?“. Наука, оперирующая категорией причинности, отвечает на вопрос “почему?“ и работает с объектами, движущимися из прошлого в будущее (в “прямом“ направлении течения времени). Вопрос же “зачем?“, предполагающий как изначальное существование смыслов и начинающийся “с будущего“, с цели, так и “ответ, движущийся в сторону настоящего“, относится к компетенции религии. Далее Штейнзальц пишет, что человек, живущий для того, чтобы пить коньяк и закусывать лимоном, дает своеобразный, но определенно религиозный ответ на вопрос, зачем он живет.

Анализ Штейнзальца долго казался мне исчерпывающим. В самом деле, вопрос о смыслах естественно связать только с обратным движением во времени, движением вспять из будущего в прошлое. Но здесь требуется более тонкий анализ. Начнем с того, что мысль Штейнзальца провокационна - ведь мы привыкли, что религиозность неразрывно связана с верой в мир грядущий; в нашем представлении остекленевший взор верующего устремлен лишь в вечность. Такая (назовем ее традиционной) религиозность находится в кровном родстве и с истинной глубокой, вечной. Штейнзальц же говорит о чем-то другом.

Чтобы прокомментировать его мысль, мне придется начать издалека: с оплакивания умершего в грузинской деревне (история эта рассказана Мерабом Мамардашвили в “Введении в философию”). Итак: “Плакальщицы ведут определенную мелодию и самим характером этой мелодии, способом выкриков и пения приводят окружающих в почти экстатическое состояние... Это профессионалы, не имеющие никакого отношения к конкретной смерти. “Раскачивая” переживание, сами они явно не переживают. Потому что, если бы переживали, то не могли бы выполнить то, что нужно. А мне это казалось лицемерием, бессмысленной выдумкой. И только повзрослев, я стал понимать, что есть в этом все же какой-то смысл, потому что уже сама по себе экзальтация чувств переводит участника ситуации в лоно действия культурной памяти, культурного механизма... Ритуалы всхлестывают нашу чувствительность, переводя ее в бытие культурной памяти, и благодаря этому живут человеческие чувства или то, что мы называем в человеке человеческим”.

Мамардашвили говорит: смысл возникает от того, что человек возгоняет себя в исторический, культурный слой. Он утверждает нечто прямо противоположное тому, что содержится в представлении о традиционной религиозности. Генератором смысла становится взглядывание в прошлое, а вовсе не в будущее (в полном соответствии с тем, что говорит рав Штейнзальц). При этом опора на прошлое возвращает нам возможность оперирования истиной ясной (в той мере, разумеется, в какой мы знаем что-то достоверное о нашем прошлом; это наше знание всегда больше нашего знания о будущем). Однако, в отличие от Штейнзальцевского тезиса, вопрос о цели в таком случае и вовсе не возникает.

Итак, смыслы, как и истины, отличаются в их отношении к вечности. Еврейская интеллектуальная традиция с древнейших времен обозначила различие между мудрецом и пророком. Пророк видит будущее, но может при этом быть вовсе не мудр. Наиболее впечатляющая иллюстрация этого содержится в “Книге Ионы”. Пророк Иона просто не понимает смысла слов Вс-вышнего. Слова “Ниневия будет перевернута” он осознает в их буквальном смысле, как обещание заслуженной (по его мнению, но не по мнению Тв-рца) расправы над грешной столицей, и не замечает духовного переворота уже свершившегося в Ниневии. Более того, из очень многих мидрашим можно понять, что частенько мудрец лучше пророка.

Покажется странным, что даже самая монотеистическая из всех религий - иудаизм, не удерживается и не исключает рассуждений о том, что есть истина высшего порядка (то бишь вечная) и истина низменная, преходящая; будто бы источник той и другой не един. Только у ра-

ва Соловейчика встречал я в явном виде отрицание этого деления истин на высокие и низкие, но общая тенденция, конечно, состоит в подчеркивании их неравноправия.

Соломон был именно мудрецом, а не пророком. Тот, кто говорит, что пессимизм Когелета отрицает смыслы, ничего не понял в мудрости Соломона. Напротив, Царь говорит, что смысл и возникает-то при соответствии деяния времени и месту: “время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время отстраняться от объятий”. Еврейская религиозная жизнь дает верующему ощущение осмысленности именно благодаря одновременной обращенности в прошлое (нам нет надобности придумывать себе историю) и в будущее (мы продолжаем ждать Машиаха).

То, что смыслы могут быть генерированы двумя принципиально различными способами, было известно и грекам. Знаковые фигуры, представляющие эти возможности - Сократ и Эпикур. Стоит вчитаться в знаменитое последнее прощальное письмо Эпикура другу: “Я пишу тебе в счастливый день, - последний день моей жизни. Меня томит такое мучение, которого не может увеличить никто. Но, борясь со страданиями тела, я провожу в уме радостное воспоминание о моих открытиях”. Гюйо написал: “Он умер, улыбаясь, как Сократ, но с той разницей, что последний лелеял прекрасную мечту о бессмертии и, отвернувшись глазами от жизни, видел в смерти лишь выздоровление. Эпикур же скончался, вперив лицо в существование, которое он покидал, собирая всю свою жизнь и противопоставляя ее близящейся смерти. В его мысли как бы запечатлелся последний образ прошлого”.

Я долго недоумевал, отчего в иудаизме безбожника с талмудических времен обзывают “эпикоресом”, явно в честь Эпикура. Быть может, дело в опасном эпикуровом открытии: возможности придания жизни смысла без замороженного взглядывания в мир грядущий, с опорой только на истину ясную. Религиозность как бы автоматически связывается с внутренней ориентацией на расстилающуюся впереди вечность. А ведь эпикуровское стремление разглядеть смысл в прошлом носит точно такой же религиозный характер, ибо мысль о том, что наше прошлое достойно сохранения, не имеет никаких рациональных оснований, между тем иногда только прошлое способно придать жизни смысл. То есть, я согласен с Штейнзальцем в том, что вопрос о смысле по сути вопрос религиозный, как бы он ни решался, но вовсе не согласен, что появление смыслов непременно связано с направлением полета стрелы времени, и, начинаясь с будущего, с цели, движется в

сторону настоящего. Направление полета стрелы времени может сохраняться, но мысль может лететь из настоящего в прошлое.

Подтверждение этой же мысли я обнаружил у В. Франкла в “Психотерапии и религии”. Он рассказывает о пациентке, страдавшей тяжелой формой неоперабельного рака. “Плача, вошла она в комнату, в которой собрались психиатры, и сдавленным от рыданий голосом рассказала о своей жизни, о своих одаренных и добившихся успеха детях и как тяжело ей со всем этим расстаться”. Далее Франкл пишет о своей попытке “обратить самое страшное в ее понимании - неизбежность расставания со всем ценным для нее в этом мире - во что-то позитивное, что могло бы быть понято и растолковано как нечто, исполненное смысла. Мне осталось только спросить ее, а что должна была бы сказать на ее месте женщина, не имеющая детей. Я, конечно, убежден, что жизнь бездетной женщины тоже ни в коем случае не лишена смысла. Но я себе представил, как такая женщина, если бы пришло время проститься с этим миром, вначале пришла бы в отчаяние именно потому, что нет никого и ничего, что она могла бы оставить на земле. Тогда лицо пациентки просветлело. Неожиданно она осознала, что дело не в том, что она должна распрощаться с этим миром. Рано или поздно ведь это придется сделать каждому из нас. Дело в том, существует ли нечто, с чем мы должны проститься. Нечто, что было смыслом нашей жизни, что мы имеем возможность оставить на земле в тот день, когда истечет наш срок. Трудно себе представить, какое облегчение испытала пациентка, когда дух Сократа в нашей беседе сменился духом Коперника”.

Франкл не зря упоминает здесь Сократа. Чары платоновского “Федона” и статус Платона в христианстве, его положение канонического, правильного философа надолго утвердили вид религиозности, устремленной в мир грядущий. Я не отрицаю, что связь человеческой мысли с привычным движением стрелы времени из прошлого в будущее может порождать смыслы. Однако это смыслы, замкнутые на вечность и истину глубокую. Именно эти смыслы закрепились в обыденном сознании в качестве единственно легитимных.

При всем своем сопротивлении внешним влияниям иудаизм испытал то же (хотя и косвенное) платоновское давление. Во всяком случае, смещение во времени центра тяжести в сторону созерцания “олам-а-ба” очевидно. Яростный критик подобной трактовки иудаизма, профессор Лейбович, со свойственным ему максимализмом пишет, что вся концепция грядущего мира есть недавнее, неорганичное иудаизму и вредоносное изобретение. Смысл мицвот ведь заключен в самих мицвот, испол-

нение повелений Вс-вышнего и сплетает ткань еврейской жизни, и придает ей смысл. Поэтому нечто внешнее по отношению к ним (в том числе и награда в грядущем мире) как бы обесценивает исполнение 613 повелений Тв-рца. Потому-то для Лейбовича центральная книга иудаизма - "Шулхан Арух", предельно детализирующий еврейский образ жизни.

Я сильно сомневаюсь в жизнеспособности такого рационально рафинированного иудаизма, но для меня несомненно, что Лейбович вместе с Франклом отстаивают другую религиозность, религиозность замкнутую на истину ясную, и видят смыслы там, где платоновский Сократ их не видит. Кто из нас не знает, что самые тяжкие испытания, пережитые нами, со временем всплывают в памяти картинками, придающими прожитому смысл. Для солдата перенесенные тяготы войны не только потому дороги, что ярки, но и потому, что задают смысл всей его последующей жизни. Конечно, в чистом виде эти два типа религиозности не встречаются (назовем их сократовским и эпикурейско-коперниковским). Характерна в этом плане толстовская "Смерть Ивана Ильича". Толстой был заморожен вечностью, как никто, но Толстой-художник оказывается (слава Б-гу!) сильнее Толстого-философа и отпускает душу несчастного Ивана Ильича лишь после того, как заставляет его раскаяться, то есть опять же обратиться к прошлому.

Народ Книги осознал смыслообразующую роль прошлого давным-давно. Составители Танаха включили в число Священных Книг исторические хроники, переполненные, казалось бы, малосущественными деталями. Послание, содержащееся в подобном структурировании канона, прозрачно - вся еврейская история священна.



В свернутом виде все эти рассуждения уже содержатся в пушкинском:

*...в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток;  
Воспоминание безмолвно предо мной  
Свой длинный развивает свиток;  
И, с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклинаяю,  
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю."*

Кто-то из русских классиков сказал, что вместо "печальных" в последней строке было бы лучше "постыдных". Так ли, эдак, главное - вот это гордое, смыслообразующее "не смываю".

# ПОСТ-ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*Исаак Розовский*

## СИОНСКИЕ ЛЕТОПИСИ

*Поэма*

### 1. Уроки географии

*Рае*

*В те баснословные времена, когда программа  
Windows-2000 казалась еще новинкой,  
а сотовые телефоны ходили в детский сад,  
когда леса кишели зверьем,  
а реки - рыбой,  
мы часто бывали (ты помнишь?)  
на озере, что под Иерусалимом.  
На том, которое меньше.*

*Там полно было водяных лилий  
и знаменитых иерусалимских кувшинок любых оттенков  
от ярко-желтых до кремовых (а встречались и голубые).  
Моторки резали воду, а дети в панамках  
в песочек играли и кушали глиду\*.*

*Мы долго катались на лодке  
(а Лизка была тогда маленькой)  
и лежали под соснами, или  
бродили вдоль дальнего берега,  
что богат земляникой,  
в те баснословные времена,*

*когда она была еще маленькой  
и боялась жука жужжащего.*

*Оказалось, не зря. Жук крылатый  
все пожрал - и озеро, и лодку,  
и детишек в панамках.  
Нет больше земляники. Да и сам город  
рука моя плохо помнит.*

## **2. Из истории иерусалимского метро (краткая справка)**

*Александрю Вернику*

*Строительство первой очереди Иерусалимского и Московского метрополитена осуществлялось по единому генеральному плану. В обоих городах оно началось и завершилось примерно в одно время. Курировал оба проекта Лазарь Каганович. (Вскоре по ложному доносу он был незаконно репрессирован и сгинул в сталинских лагерях. У нас же в его честь названы улицы во всех городах.) Ходом работ в Иерусалиме руководил совсем юный тогда Шимон Перес\*\*.*

**★★★**

*Не следует забывать, что Иерусалимское метро изначально строилось как объект сугубо стратегического назначения - для транспортировки армейских частей и техники.*

*По этой причине строительство велось в обстановке  
строжайшей секретности.*

*Объект возводился по ночам. В целях конспирации входы и выходы располагались лишь в помещениях синагог.*

*Религиозные евреи, поминутно рискуя жизнью, своими телами и шляпами закрывали эти отверстия  
от британских патрулей*

*и случайного глаза и сглаза.*

*(Вообще, деятельность ультраортодоксов в тылу врага и их огромная роль в тайных операциях наших спецслужб до сих пор остаются малоизученными страницами новейшей истории и ждут своего прилежного исследователя.)*

★★★

Как бы там ни было, именно метро обеспечило решающий успех в молниеносной войне 1967 года. Нет, не Божественное провидение, а подземные коммуникации стали тем фактором, что посеял панику в рядах не знавших дотоле поражений арабских полчищ.

Поразительно, но вплоть до 1989 года факт наличия метро оставался государственной тайной, хотя еще в 1975 году репатриант из России (вероятно, агент КГБ) А. Верник опубликовал в одном из поэтических изданий точную схему метрополитена.

К этому отнеслись, как к концептуальной шутке, а следы самого Верника затерялись на без малого двадцать лет. Лишь с началом шамировской "оттепели" он появился вновь и по странному совпадению работает ныне охранником на одной из недостроенных станций.

★★★

Официальное сообщение об открытии метро для перевозки населения произвело сенсацию в обществе и вызвало правительственный кризис. Церемония открытия состоялась 1 мая 1989 года при огромном стечении народа.

Увы, во время этих торжеств обрушился эскалатор. Возникла давка, в результате которой пострадало множество людей. Метро было надолго закрыто.

★★★

Реальная эксплуатация метрополитена началась лишь в 1998 году. Из опасения перед возможными терактами, арабам было запрещено пользоваться услугами подземного транспорта. Это явилось формальным поводом к началу т. н. интифады\*\*\*. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности,

мусульманские фанатики проникали под землю и швыряли камни в кабину машиниста, ставя под угрозу жизни сотен мирных людей. Процедура проверки документов перед пуском в метро, занимавшая поначалу около 15-ти минут, стала растягиваться на час и более.

Вскоре обнаружилось, что в тоннелях чрезмерно высока  
концентрация радона,  
испарение которого представляет реальную угрозу  
здоровью пассажиров.  
Попытки найти выход с помощью защитных костюмов  
и противогазов  
привели лишь к многократному удорожанию  
себестоимости проезда.

Метро стало приходить в запустение.  
Строительство новых линий способствовало дисбалансу  
геологических пластов и стало причиной Рамотского оползня.  
Наконец, после известных событий на Масличной горе дальнейшая  
эксплуатация метро была признана нерентабельной  
и бесперспективной.  
По этой причине оно было окончательно закрыто  
для перевозки пассажиров  
в феврале 2004-го года.

★★★

В 2012 году тогдашний министр сельского хозяйства  
Натан Щаранский★★★★  
решил использовать метро в качестве овощехранилища,  
что и было сделано.  
Постоянная температура, поддерживаемая в любое время года,  
создает благоприятные условия  
для сохранения сельхозпродукцией вкусовых свойств.  
Кстати сказать, опасная для человека высокая концентрация радона  
оказалась весьма полезна для некоторых видов овощей  
(в частности, для картофеля).

### 3. Город Солнца

Лене Игнатовой и Володе Родионову

Утопию Кампанеллы наблюдаю вживе.  
Город зовется Бейт-Шемеш, что означает:  
“дом солнца“ (почти что - город.  
О, пророческий дар Кампанеллы!).  
В этом Солнечном городе

я блуждал бы Незнайкой,  
когда б не друзья. Мы гуляем вместе  
по "Философише штрассе" -  
главной его магистрали.  
Здесь, среди ирисов нежных,  
мы встречали рассвет.

Раннее утро. С северных гор  
порывами шквальными  
зябкий хамсин\*\*\*\*\* набегаёт,  
суля неизбежную в полдень грозу.  
Город спит. Спят фаланстеры  
(кажется, так их называл Кампанелла. Или Фурье?).  
Только квартал марокканский - "квартал программистов"  
(так нарекли его в Силиконовой нашей долине)  
уже пробудился от сна. Спал ли вообще?

Сколько, однако, энергии в этих восточных людях!  
Неугомонные, трудятся изо дня в день.  
Словно мотор, словно двигатель вечный  
сидит в них. А нам, северянам,  
темп их и живость ума недоступны.  
Мне объясняют друзья (Володя - Ученый,  
а Елена - Поэт. Сей дивный союз  
только в городе Солнца, пожалуй, возможен), так вот -  
мне объясняют они, что причина энергии этой -  
южная жаркая кровь, что по жилам течет марокканским.  
Тело и мозг она возбуждает сильнее,  
чем прохладная кровь ашкеназа\*\*\*\*\*.

Мы продолжаем свой путь, а над нами  
неподвижно парит альбатрос, прилетевший  
с недалекого моря.

Так же, наверно, парил он и в давние годы,  
ловя немигающим оком солнечный луч,  
отраженный мечом сарацина.  
Так же, наверно, следил он за Германом Гессе,  
часто гостившим у Маннов в их бедуинском шатре.

*“Глянь! - восклицает Володя. -  
Вот первый июльский подснежник!”  
Мы замираем, любуясь нечаянным чудом,  
словно боимся вспугнуть.  
Впрочем, на этой поляне вскоре находим  
множество этих созданий величиною с ладонь.*

*Редкой добычей наполнив корзину и сумки,  
мы устремляемся к дому Володи и Лены.  
Аромат подснежников, словно облако, окутывает нас.  
Мы минуем Центральную прядильню. Дворец  
общественных работ.  
Мы убыстряем шаг - нас уже ждет  
добрая доза слегка подогретого эля.*

*Но я не могу удержаться. Я выбираю  
самый крупный подснежник.  
Разломав довольно ловко твердый хрустящий панцирь,  
я вонзаюсь зубами в нежную сочную мякоть.  
О, блаженство! О, лакомство! В Городе Солнца  
подснежник вкусом подобен подсолненным  
в меру креветкам.*

#### **4. Петах-Тиква**

*Ирине Генкиной*

*Вчера сверхскоростной дирижабль  
впервые прошел по маршруту Яффо - Петах-Тиква.  
Три часа полета в комфортабельном кресле  
и вы уже там - в городе, возникшем внезапно,  
как из пены морской - Афродита.  
Здесь издревле племя героев  
свои совершало подвиги,  
здесь бродил Одиссей,  
Ахиллес догонял черепаху (так и не догнал),  
а недавно вот пел Розенбаум  
в Центре Культурном на тыщу посадочных мест.*



чревом Иерусалима. На мой взгляд,  
здесь более уместен термин "клоака".  
Не только по сути, но и внешне  
(если взглянуть с высоты птичьего полета)  
она поразительно схожа с выделительной системой яйцекладущих,  
как та изображается в анатомических атласах.

★★★

Между тем, во времена моего детства  
Рехавия считалась самым престижным районом.  
Сейчас даже трудно поверить, что здесь когда-то  
располагались дворцы царей Израилевых,  
а позже - резиденции премьер-министров.  
Аккуратные двух- и (редко когда) трехэтажные домики  
тонули в благоуханных садах.  
Плетни, увитые виноградом и плющом, скрывали  
частную жизнь от посторонних глаз. А сразу за ними,  
как вторая линия обороны, тянулись густые заросли  
крыжовника и смородины - красной и черной.  
Как любил я прятаться за ними и, невидимый соглядатай,  
слушать нескончаемые споры  
дедушки Теодора и дядюшки Давида.  
(Ах, не стоит об этом...)

Сейчас и следа не осталось  
от цветущих садов, от тенистых аллей, а дома  
превратились в руины, что служат  
убежищем временным нищим бродягам, продавцам кокаина,  
да псам одичалым, да людишкам лихим  
с ледовитым блеском в глазах.

★★★

От самого моря, от старого порта, где некогда  
глаз отдыхал на изящных и гордых яхтах, а на рейде,  
подобно допотопным чудищам, серели  
силуэты британских и чешских крейсеров,  
открывается унылый пейзаж - пустыри, свалки, трущобы, рвы...  
И цементный завод на холме зыбок, как галлюцинация.  
Но жизнь продолжается, да!

Она продолжается, хотя и трансформировалась,  
приобретя особые формы и особый, ни с чем не сравнимый, колорит.  
Вот и старый порт, который хотя и утратил (безвозвратно?)  
статус главного торгового пути, а с ним - и былой престиж  
(на смену алым парусам бригантин пришли баржи с мазутом  
и утлые джонки китайцев), по-прежнему оживлен,  
по-прежнему тут можно встретить искателей приключений  
из самых экзотических стран:  
и надменных скандинавов, и смуглых быстрых  
(как и их ножи) малайцев,  
и монголов, ликом своим и невозмутимостью сходных  
с каменными изваяниями острова Пасхи.  
(Говорят, даже на своих кораблях они не слезают с коней,  
мелких, но нестомчивых, как девочки-подростки).

Казалось бы, еще вчера на улочках рядом с портом  
размещались изысканные бордели и студии\*\*\*\*\*,  
рассчитанные на вкусы богатых туристов и паломников.  
Сегодня на смену ценителям и знатокам  
пришла матросня, которая алчет  
не столько качества, сколько дешевины.

Притоны поражают все еще разнообразием ассортимента: тут  
и пышнотелые, в летах, иудейки с разнузданным воображением,  
и мусульманки, чьи чадры, сокрыв лица, оставляют  
открытыми прочие чары,  
и прекрасные эфиопки, статью и темпераментом  
подобные статуэткам из эбенового дерева,  
и разбитные, вечно пьяные украинки в лентах и рушниках.

★★★

Разгоряченные сладким вином и жаркой лаской матросы  
веселятся, горланя песни, но вдруг  
здесь и там вспыхивают потасовки, перерастающие в сражения.  
По статистике каждую ночь в порту остается не менее  
пятнадцати трупов. Их хоронят тут же по соседству.  
Так родилось (простите за невольный оксюморон)  
знаменитое рехавийское кладбище.

*Собственно, кладбище это отделяет и отдаляет  
территорию порта от кварталов трущоб,  
ибо черпает из обоих источников.*

*Оно расширяется за их счет, а порт и трущобы  
съеживаются и отступают под напором крестов и кумирен.  
Есть еще лепрозорий - самый  
большой на Ближнем Востоке. Он тоже растет  
(хотя и не так быстро, как кладбище), благодаря  
неустанным заботам рабби Зуси\*\*\*\*\*  
каббалиста и подвижника,  
да продлит Всевышний дни его на этой земле.*

\*\*\*

*Когда я - обитатель сей скорбной обители -  
в числе других прокаженных бреду, звеня колокольчиком,  
вдоль кладбищенской ветхой ограды,  
все грезится мне, что не было этих пятидесяти лет  
и вовсе не я, а наша корова Ривка звенит колокольцем,  
возвращаясь под вечер с зеленых лугов Рехавии.  
Я же стою за кустами смородины, слыша  
голоса дедушки Тео и дядюшки Дэйва  
("Дао" и "Дэ"\*\*\*\*\* - как их в шутку зовут талмудисты).  
Они, как живые, ведут нескончаемый спор  
о том, как нам обустроить, ну, как обустроить  
голубые пески Палестины.*

*Июль-август, 2000*

### Примечания автора

- \* Глида (иврит) - мороженое
- \*\* Шимон Перес - израильский политик и общественный деятель. Предложил план Нового Ближнего Востока, за что и получил Нобелевскую премию.
- \*\*\* Интифада - длительные и хорошо скоординированные террористические акции, вызванные запрещением арабам пользоваться услугами метрополитена.
- \*\*\*\* Натан Щаранский - министр сельского хозяйства Израиля с 2012 по 2014 год.
- \*\*\*\*\* Хамсин - ветер, песчаная буря с Аравийского полуострова.
- \*\*\*\*\* Ашкеназы - самообозначение живших в Европе потомков хазар, ошибочно считавших себя евреями и немало претерпевших в результате этого заблуждения.
- \*\*\*\*\* Славившиеся на весь мир иерусалимские "кварталы красных фонарей" пришли в упадок к концу XX века.

\*\*\*\*\* Рабби Зуся (Залман Тартаковер) - мудрец, мистик, религиозный и общественный деятель, духовный вождь Северной (Рамотской) каббалистической школы. Существует мнение, не подтвержденное, впрочем, бесспорными фактами, что именно он стал прообразом старца Зосимы в романе "Братья Карамазовы" русского писателя Ф. Достоевского.

\*\*\*\*\* Дао и Дэ - две основные философские категории даосизма. Это мистическое учение, распространенное в древнем Китае, испытало на себе сильнейшее влияние иудаизма. По мнению ряда авторитетных исследователей, даосизм представляет собой искаженное изложение иудаизма, который проповедовал на Дальнем Востоке рабби Леон Бузагло (VI в. до н. э.). Существует версия, что этот иудейский учитель и легендарный основатель даосизма Лао Цзы - одно и то же лицо.

---

*Анатолий Добрович*

## **ДИАПОЗИТИВЫ ИСААКА РОЗОВСКОГО**

Поэма-коллаж "Сионские летописи" вряд ли нуждается в комментариях: в ней нет темнот. Однако она задевает, восхищает, и о ней хочется говорить. Наболевшее автор изъясняет не вполне обычным способом: через многослойную иронию.

Реальность, обступающая поэта (как и всех нас), неизбежно расходится с мечтой, побудившей столь многих к смене климата, образа жизни и культурного поля. Тема, вообще говоря, вечная, вне-историческая и вне-географическая. "Там, где эллину сияла/Красота,/Мне из черных дыр зияла/Срамота". Зияние срамоты можно передать возгласом отчаянья, как Мандельштам. Можно напрямую описывать гнетущую реальность, пользуясь разнообразными тропами, как это обычно делают поэты. Исаак Розовский поступает по-иному: он проецирует на эту реальность диапозитивы, сработанные его фантазией; эти картинки оказываются в таком контрасте с реально видимым, что видимое предстает во всей своей безнадежности. Наш поэт - мастер тонких, многоцветных и неожиданных романтических акварелей; само накладывание этих изображений на действительность - есть акция, вызывающе ироническая по отношению к действительности. Так выпячивается то, чего в ней, действительности, поэту мучительно недостает. И читателю - тоже.

Однако ирония автора дает о себе знать и в манере самого фантазирования. Оно захватывающе ярко и вызывает в памяти фантастику Рэя Бредбери; мне даже кажется, что подсознательно название поэмы звучит как "Сионские ХРОНИКИ" - по смежности с "марсианскими"; в то же время это фантазирование изначально пародийно, с аллюзиями к старомодной литературной классике "высокого" стиля. Так что и главное колдовство поэта - изготовление удивительных диапозитивов - есть акция ироническая: на сей раз, по отношению к фантазированию как таковому. Тщетность идеалистических порывов и культуральных усилий раскрывается здесь во всей полноте.

Ну, и конечно же, в поэме постоянно ощущается ирония автора над самим собой - человеком, все еще порождающим фантазии, находясь в среде, которая однозначно ждет от него чего-то другого. (Как в анекдоте: "Где здесь библиотека?" - "Зачем библиотека - дарю червонец, делом займись, делом".)

Можно сказать, что поэма - о гибели иллюзий, о несовместимости привозного европейски-интеллигентского менталитета с прелестями ближневосточного бытия. О крахе личности, не нашедшей хода наружу из орущего и зловонного крытого рынка. Разочарование приобретает особую остроту, передаваясь через иронию: изысканную, без привкуса грубого сарказма. Разочарование выливается то в комически-умилительную утопию, то в жутковатые пророчества, произносимые с невинной миной восхищенного наблюдателя, то в идиотически-деловитые описания. Но суть поэмы, слава Богу, не сводится к только что сказанному.

Подлинность таланта - наверное, это всегда так - проявляется в непредумышленном, в том, что "не работает" на формулируемую "задачу" произведения. В чем-то "избыточном" по отношению к такой задаче. Исаак Розовский прежде всего лирик, и это выходит наружу из его странных (часто пронзительных) контаминаций, из смешения пластов памяти, наплывов впечатлений одного отрезка жизни на другой. Великолепно его художническое пренебрежение географией и историей (прецедент известен: В. Набоков, "Ада"). Неправдоподобность крыжовника или смородины в Иерусалиме, прудов или моря близ него; неправдоподобность альбатроса, парящего над "бедуинским шатром Маннов"; неправдоподобность явления на Ближнем Востоке "монголов", которые даже на своих кораблях "не слезают с коней", - все эти восхитительные детали несравненно дороже всякого правдоподобия!

Я только что утверждал, что И. Розовский не саркастичен, но это лишь отчасти правда. Он куда как язвителен, сталкиваясь с израильскими про-

явлениями “иудеоцентризма”: читать о раве Леоне Бузагло “проповедывавшем на Дальнем Востоке в 6-м веке до н. э.” или о раве Зусе, ставшем “прообразом старца Зосимы” у Достоевского, - по-настоящему смешно. Пожалуй, поэт изменяет ироническому тону в одной только строке: “...как нам обустроить, ну, как обустроить/голубые пески Палестины”, - тут единственный раз прорывается злость в авторском голосе. Думаю, она количественно несопоставима со злостью, которую могли бы излить “фалафельные патриоты” на голову сочинителя, “посмеявшего очернять”... и т. д.

Если бы у нас существовал ЦК, в его идеологическую комиссию, небось, полетели бы жалобы и доносы на новоявленного “врага народа”. Но И.Розовский с его неустрашимой иронией по отношению к бытию избранного народа в “голубых” песках Палестины, объективно больший патриот, чем его возможные хулители: он горюет о несбывшемся. Амос Оз где-то рассказывает о своем отце: тот писал русские стихи об Иерусалиме еще до приезда в Палестину. Незадолго до смерти он сказал сыну: “Знаешь, Иерусалим, который в моих юношеских стихах, он правдивее, чем этот Иерусалим за окном” (привожу по памяти, но точность цитирования здесь несущественна).

Что ж, можно сказать, что перед нами “песня о родине” наоборот. И все-таки искусство, будучи подлинным, несет читателю надежду. Когда мы видим, что “не так”, острее хочется, чтоб стало “так”. Да и катарсис, вызываемый взлетом фантазии, дает освобождение от отчаянья. И установив в высоте светящуюся точку идеала, от которого мы сильно удалены сегодня, поэт, по меньшей мере, намекает: как будут выглядеть наши “завтра” и “послезавтра” по части этики, эстетики и жизненного уклада израильтян, - в какой-то степени зависит от нас самих. От нашей стойкости в попытках, будучи затоптанными, выпрямиться в направлении к идеалу. И в частности, от того, как привьется “дичок” северной культуры к этому буйному южному дереву.

# ОТ МЕЧТЫ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

*Виктор Богуславский*

## ОТЦЫ И ДЕТИ

Между желанием и обладанием лежит граница, граница двух совершенно различных экзистенциальных сфер; и переход через эту границу всегда болезнен, подчас мучителен и невозможен. (И тот факт, что границей этой является сам объект желания - обладания, факт этот вовсе и не существует.)

Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

Серен Кьеркегор, основоположник современного экзистенциализма, развелся с любимой женой и сам себя вернул в состояние безнадежно влюбленного в нее же, ибо экзистенция влюбленности выше, напряженнее, "пограничнее", чем бытовые хлопоты и неурядицы семейной жизни.

Фима С., двадцать лет жизни (тюрем, лагерей и заполярных лагерных восстаний) отдавший ожиданию Израиля, уехал из него через несколько лет. (Вспомним клинические свидетельства З. Фрейда о "жениховском комплексе" - бессилии пылких влюбленных в первые брачные ночи.) Чем напряженнее и выше трепет желания, тем труднее, мучительнее, невозможнее переход к обладанию.

И потому Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

Эта невозможность перехода от желания к обладанию, создающая в сознании личности трагедии, стрессы и комплексы бессилия, в общественном движении оборачивается пропастью, разделяющей поколение творивших в ожидании от поколения припавших к обладанию.

Эта смена поколений видна в каждой социальной, духовной или политической революции.

Эта смена поколений уже ясно определилась и в нашем движении; поколение отцов, ждавших и творивших алию, - поколение

детей, принявших алию как данность и действовавших в ее реальности.

Но это разделение поколений, естественно, не имеет никакого отношения к возрастным категориям - многим из "отцов" сегодня едва ли под тридцать, а среди "детей" мелькают седины и лысины почтенных профессоров.



Начало? ... Как всякий эпос, Исход начинался с чудес. И как положено эпосу, было явлено евреям России - поколению Исхода - три чуда. Чудо победоносного становления далекого Израиля на фоне пьяного антисемитского угара послевоенных российских лет. Чудо Пурима-1953, оборвавшего истерическую подготовку к тотальному погрому. Чудо веселой, блестящей, пьянящей победы 1967 года.

На чудеса реагировали по-разному. Бесспорно, ни один еврей не оставался равнодушным к слову "Израиль". Но вокруг - вокруг все было так безнадежно! Абсолютно безнадежно: режим, прочный, как тюрьма, и, как тюрьма, равнодушно и неколебимо противостоящий любой "еврейскости". Спрячь свой "трепет иудейский" - от глаз сотрудников, от ушей соседей, от пристального, как двустволка, взгляда парторга, от пьяных полунамеков штатного стукача - спрячь!

А Израиль, что ж, он - как та "зеленая дверь в стене": она есть где-то, эта волшебная дверь, она ждет, за ней все - иначе. Недоступность, нереальность мечты придавала желанию трепет святости.

Любой шаг к осуществлению желания (шаг столь запретный к подъему столь нереальному) одновременно с трепетом страха вызывал трепет души.

О, эти первые прикосновения к израильским открыткам (долгий, "конспиративный" разговор по телефону, двухчасовая тряска в замерзшем трамвае, оглядывания, таинственный, заговорщический шепот...)! А эти клочки бумаги, на которых записывались данные для ВЫЗОВА, - словно подписываешь приговор самому себе, и детям, и родным, включая тетю и дядю до седьмого колена! Но еврей поднимался по ступенькам бумажного моста, ведшего в Израиль, и трепет страха отступал перед трепетом приближения к святыне.

Перестали шептаться, заговорили вслух (с подозрением, опаской, но все-таки!), начали собираться, праздновать Симхат-Тора и даже День Независимости, учить историю в кружках и иврит в ульпанах; и

вот уже самый “мешугене” совсем “распоясался” и послал в Мосгорсправку объявление: “Даю уроки иврита” - целых 15 экземпляров, с просьбой вывесить на официальных стендах.

Это был 1969 год. В конце этого года евреи стали десятками и сотнями подписывать письма, предназначенные для “зарубежного общественного мнения”. Они требовали “выпустить” их в Израиль. Вызов в ГБ и увольнение с работы - вот что в лучшем случае ожидало подписанта. Тогда еще не знали таких слов, как “материальная помощь отказнику”. Тогда каждый шаг предназначен был не только для того, чтобы убедить сенатора Джексона, но и для того, чтобы убедить самого себя, своих же близких. И порой оказывалось, что сенатора Джексона легче убедить, чем, например, родную маму...

Осенью 1969 года на Дворцовую площадь Ленинграда тихо и неспешно вышел робкий и стеснительный Жора А., подошел к одиноко стоявшему посреди пустынной площади милиционеру и непослушными руками, неумело развернул самодельный плакатик с надписью: “Я хочу в Израиль”. Милиционер посмотрел на плакатик, на Жору, оглянулся - площадь была по-прежнему пустынна - и сурово заявил: “Убери, а то вызову машину”. - “Вызывайте, я подожду”, - с готовностью согласился вежливый Жора. Ждать пришлось всего несколько минут - милиционер подошел к зданию Главного Штаба и вернулся в одной из всегда стоявших там наготове машин. Потом Жору отвезли в ГБ и продержали там несколько дней. А потом - отпустили. И встретив его через несколько дней, я не выдержал и спросил: “Зачем ты это сделал, Жора?” И услышал в ответ: “Чтобы мама поверила... Если бы меня арестовали и посадили, может, она поняла бы, что это у меня серьезно...”

В 1970 году весь мир заговорил о русских евреях. Русские евреи поднялись, они ощутили решимость, они в экзгибиционистском экстазе демонстрировали ее знакомым и незнакомым, всем желающим, по нужде и без оной. Между ними и их мечтой одна только стена - стена государственного запрета. Пробить, прошибить, пролететь сквозь нее было единственным желанием. О, эта отчаянная готовность к полету! “Бегите из северного Вавилона”, - в последний раз прозвучали слова ленинградских “самолетчиков”, и вот уже за ними захлопываются двери тюрем, ворота лагерей. Но еврейские мамы не собирают, как прежде, трясаясь от страха, “допровские

корзинки“ - нет, они устраивают шумные демонстрации у здания ЦК, а еврейские парни и девушки уже не сотнями, а тысячами подписывают письма протеста, и все новые вызовы ложатся на столы ОВИРов. За тридцатью арестованными поднялись тридцать тысяч “подавантов“! И стена рухнула, алия стала реальностью. Невероятной, сказочной, карнавальной реальностью: толпы в ОВИРах, шумные проводы на вокзалах и в аэропортах, письма “оттуда“, полные пьяного восторга...

На волне этого карнавального экстаза и прибыло в Израиль поколение “отцов“. Прибыло и было встречено чиновничьим радушием и чиновничьей подозрительностью. Прибыло и привезло с собою выездную лихорадку, не дававшую переключиться в будничной ритм. Прибыло, души и мысли оставив в России, с друзьями, с “еще остающимися“. Прибыло в новый мир, готовый удовлетворить их бытовые заботы, но уж никак не “трепет забот иудейских“. Трепету не было места в коридорах Сохнута и в кабинетах ответственных (?) лиц. И трепет превратился в чадный запах ностальгии - не по березкам и церквушкам, а по высокому горению души, по оставленным позади “звездным своим часам“.

Всем нам свойственно с ностальгической грустью возвращаться к воспоминаниям о своем “звездном часе“ - самом экзистенциально-напряженном (пусть даже и самом трудном) времени собственной жизни. Такого рода - парадоксальную, на первый взгляд, - ностальгию видел я часто у бывших лагерников. А что, - ведь там, за колючей проволокой, под немигающими звездами, в свете прожекторов, голодные и затравленные, они “высоко торчали“!

Звездный час “отцов алии“ остался там, в России, за колючей проволокой, за дверьми ОВИРов. А здесь их ожидало всего только беспомощное и трогательно-растерянное вживание (или - невживание) в спокойную будничность жизни.

Моше Рабейну нечего было делать среди расселившихся в Ханаане племен, занятых устройством своих пастбищ.

И Моше Рабейну умер у границ Ханаана...



“Вы, сионисты, единственное подпольное движение, победившее советский режим“, - сказал мне в лагере один из русских демократов.

Победили. Сделали алию реальностью. И в новой реальности

появилось новое поколение лидеров. Они трезво и хладнокровно, спокойно и рационально оценили ситуацию, увидели, что дозволенность алии делает подловатыми все прежние рассуждения о “неизбежности” ассимиляции - и деловито приступили к освоению обстановки. И вскоре еврейское движение в России было весьма оперативно поднято ими на куда более высокий качественный уровень: была установлена постоянная связь с Западом; была налажена сеть постоянно действующих научных семинаров, ставших международными событиями; возникла система почти незаконспирированных ульпанов; начался регулярный выпуск еврейского самиздата, который обрел широкий круг авторов и читателей и быстро превратился в одно из интереснейших в России литературно-философских течений. Поколение деловитых “детей” начало начитывать по телефону из Москвы или Ленинграда лекции для студентов израильских университетов, печатать свои статьи в самых фешенебельных изданиях мира, красоваться на экранах западного кино и телевидения, устраивать выставки еврейской неофициальной живописи, отправлять свои картины и журналы в турне по Америкам. Какой жалкой и доморощенной должна была казаться им деятельность “отцов”...

Голос “детей” стал громким, настойчивым и требовательным. “Евреи молчания”, как называл их Эли Визель в 60-е годы, десятилетие спустя превратились в самую шумную и крикливую группу в России.

Питательной средой этой высокой активности стала особая разновидность советских евреев: еврей-“отказник”. Само слово “отказник”, в сущности, свидетельствовало уже о почти официальном признании статуса диссидента-активиста. Впрочем, “отказники” были активистами, так сказать, поневоле. К своей активности они были избраны волею ГБ. И сосредоточена была их активность в основном на борьбе за выезд - в большинстве случаев, за собственный выезд (правда, и это является одной трехмиллионной частью общенациональной задачи). Но официальность статуса позволяла “отказнику” регулярно крутить пуговицы у иностранных туристов около синагоги и столь же регулярно названивать еврейским активистам Парижа, Лондона и Нью-Йорка. (А эти “активисты” на Западе, - они ведь тоже “дети” нашей алии; с каким усердием борются они за “выезд русских евреев”, испуская тем самым свой собственный невыезд в Израиль...) Офи-

циальность статуса позволяла ему требовать “материальной помощи” Запада и дерзко вести себя на допросах в ГБ. Насидевшись в “отказе” и получив, наконец, визу, такой активист твердо знал, что будет показан - за деньги (Магбита) - евреям Европы и Штатов, сенаторам и парламентариям. Так преисполнялся он сознания собственной значимости и позже, встретив в Израиле какого-нибудь “папашу”, мог уже снисходительно кивнуть ему и, припоминая слышанную фамилию, произнести: “Вы, кажется, что-то такое подписывали когда-то?..”

★★★

*“...Но в мире новом друг друга они не узнали...”*

“Дети” со снисходительным пренебрежением вспоминали о заслугах “отцов”, а “отцы” - “отцы” настороженно и подозрительно обнюхивали “детей”, за версту чуя в них переодетых в сионистские одежды бывших “ассимиляторов” и “демократов”. И это было понятно. Ибо вся деятельность “отцов” была направлена “всего лишь” на то, чтобы заинтересовать советского еврея мечтой об Израиле, - как же может она не показаться мелочной и мелкой из “радостного сегодня”, когда сама реальность России поминутно заставляет каждую еврейскую семью только об этом и думать?! А вся деятельность “детей” была направлена “против советского режима”, на то, чтобы расширить рамки национального существования, - как же ей не быть (хотя и чисто внешне) похожей на активность борцов за “права человека”?! (Хотя различие было очевидно, ибо еврейская активность не может, да и не направлена на то, чтобы “демократизовать” жизнь всей прочей России.)

Так они и живут, и “отцы”, и “дети”, - с повернутыми назад головами. Они все еще там, в своем звездном прошлом, где они сами для себя - каждый! - построили “свой” сионизм. Они все еще продолжают доказывать друг другу истинность именно “своего”. А споры эти - об “истинности” своего сионизма (всегда своего, а не чужого), то есть, в сущности, о том, кто больше хотел, кто сильнее желал, кто больше сделал, споры между людьми разных эпох и разных складов (ибо поколения эти отличаются и по душевному складу тоже), - они сегодня беспредметны и бессодержательны. Это одна ностальгия спорит с другой. Ибо то, что и те, и другие именуют “своим” сионизмом, тот накал страстей, тот ду-

шевный подъем, что подвинул их к активности в России и привел в Израиль, - он до конца исполнил свою роль и исчерпал себя функционально в тот самый момент, когда их самолет приземлился в Лоде.

Потому что Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

Я думаю, что нам суждено еще увидеть и третье поколение. Это будут "внуки" алии - те, кто не истратил себя ни на борьбу с евреями за их пробуждение, ни на борьбу с советской властью за ее уступчивость, кто сохранил себя для активности здесь, в Израиле.

Но если и они, следуя моде давно прошедшего сезона, начнут рассказывать вам о своем "боевом прошлом" там, в России, - не верьте им, не слушайте, отвернитесь. Это значит, что они мертвы.

Ибо... Моше Рабейну умер у границ Ханаана...

**Нина Воронель**

## **ПОЛЕТ БАБОЧКИ**

(роман)

*"Таинственная атмосфера туманного Уэльса и старинной библиотеки в антураже многолетних бытовых традиций, исполняемых по-британски неукоснительно... Арабский властитель, стремящийся установить тайные связи с Израилем... Борьба разведок... многокрасочный калейдоскоп экстравагантных персонажей, среди которых необходимо вычислить "своих" и "чужих"... И любовь, разворачивающаяся на столь завлекательном фоне".*

*"Новости недели"*

*378 стр. Цветная обложка*

*"Москва-Иерусалим"*

*Р.О.В. 44050, Тель-Авив 61440*

*{32 шек. в Израиле; 22 ДМ для Европы;*

*16 долларов для США, включая пересылку)*

## “МЫ“ И “ОНИ“

*(Феноменологические заметки)*

Прежде чем обсуждать настроение и амбиции русской общины в Израиле, имеет смысл привести взгляд известного американского антрополога и философа Клиффорда Гирца на современную ситуацию в остальном мире:

“Существование во многих странах различных, укорененных в истории, традиций наряду с бесконечной прогрессией различий, делений внутри делений, конфликтов внутри конфликтов, вызывает вопрос, который невозможно больше игнорировать: каким образом в столь многомерном мире продолжают сохраняться политические, социальные и культурные самоидентификации? ... Если идентификация без взаимного согласия фактически не исключение, а правило повсюду, в Индии и США, в Бельгии и Гвиане, на чем она держится? Термин национализм (или этноцентризм) в наше время ничего не определяет. Когда на вопрос - кто ты такой? - человек может ответить: израильтянин, мусульманин, зулус, араб, австралиец, баварец, европеец, негр, цыган, или маронит - невозможно предложить теорию, которая разумным образом объединит все эти понятия... Фактически наш мир состоит скорее из по-разному стиснутых и взаимопроникающих несовместимостей, чем из однородных единиц, которые можно было бы назвать нациями (или народами)... Если мы, философы, этнографы, историки, хотим сказать хоть что-нибудь осмысленное об этом разрозненном мире неустанно воспроизводящихся идентификаций и нетвердо определенных связей, нам следует сделать много поправок к нашему образу мыслей. И первым делом мы должны открыто и откровенно признать реальность разделений без пустого морализирования и банальностей о нашей общей природе...”

*(Clifford Geertz, "Available Light", Princeton Univ. Press, 2000)*

Одним словом, и в головах специалистов здесь тоже сплошь темный лес, и мы можем беспрепятственно резвиться на своей лужайке.

## Ура-идеология

Были времена в Израиле, когда всех мужчин до 54-х лет раз (а то и два) в году гоняли на военную, резервную службу ("милуим"), так что наш сионистский энтузиазм подвергался жестокому испытанию. Однажды, в ходе моей резервной службы сержант объяснял мне, как надо атаковать огневую точку на холме: "Беги зигзагом, стреляй без перерыва, бросай гранаты и кричи громче". Будучи совсем недавно из СССР, я был ориентирован на идеологию и спросил его, что надо кричать. "Неважно, что кричать - главное, ори во весь голос", - ответил деидеологизированный израильтянин.

Наверное, не только ему было все равно, что кричать. Разве слово "ура!" по-русски что-нибудь означает? Мне рассказывали о 15-летнем парне - добровольце из России, у которого в драматические моменты войны за независимость Израиля, вырывалось только: "За Родину, за Сталина!" Конечно, это означало не более, чем "ура!". Но все же вряд ли он согласился бы кричать: "Deutschland ueber alles!"

Громадное большинство людей никогда не нуждалось в идеологии, чтобы продолжать свое существование. Однако, у них была религия. И для нормальной человеческой нужды в упорядоченности жизни (хорошие и плохие поступки, "свои" и чужие люди, рабочие и праздничные дни, свадебные и похоронные обряды) целые тысячелетия этого, как будто, было достаточно. Если в бою они и кричали "С нами Бог!", это означало не больше, чем "ура!". К тому же и противник обычно кричал то же самое.

Непрерывность жизни поддерживается нормой, но импульс развития ей придают ненормальности, отклонения. В пору всеобщего господства религий это были секты, толки, ереси. Тогда-то возник и новый лозунг "За свободу!", который уже отличал идейных бойцов от их противников. После серии европейских революций идейными бойцами стали все, и с отступлением религий, место вдохновляющих ересей заняли идеологии - нерелигиозные по форме системы мысли, задающие человеку общий подход ко всем явлениям жизни.

Как без религии отличить, что хорошо, а что плохо? Достоевский, например, считал, что это вообще невозможно. ("Если Бога нет, то все позволено!") Марксистская идеология, однако, давала нам исчерпывающую, хотя и чересчур простую, формулу: "Хорошо все, что полезно для дела пролетариата". Многих это убеждало. А в чем состояло дело пролетариата? - Тут начинался туман, и меньше всех был способен ответить на этот вопрос сам пролетариат.

Не многим лучше обстояло дело и в сионизме. Когда после трех лет сионистской борьбы я прибыл в Израиль, со мной разговорился по душам уполномоченный правительства и спросил, почему, все-таки, я выбрал Израиль. Я не нашелся, что сказать, кроме того, что, мол, Израиль еврейское государство, и, поскольку я как раз еврей... Он засмеялся: "Вот и неправда! Вы совсем не по-еврейски поступили. Настоящие евреи в Нью-Йорк бегут..." Потом он, правда, добавил: "Впрочем, я пошутил". Но во всякой шутке...

Хотя идеологии по форме нерелигиозны, в содержательной основе любой из них лежит произвольное, на веру принятое допущение - что дело пролетариата, допустим, стоит усилий или, что евреям действительно нужно государство.

Религии все-таки при этом опираются на авторитет и опыт тысячелетий. Человек уже рождается в той или иной вере, и ему не всегда приходит в голову проверить убедительность ее догматики. Идеологии же основаны на убеждениях, сложившихся в умах немногих оригиналов и сравнительно недавно. Знакомясь с новой идеей, человек обнаруживает себя перед ответственным личным выбором при острой нехватке данных. Никакая общая система мысли не может быть подвергнута опытной проверке. Сомнения и разочарования неизбежны. Идеология - не наука. Распространенность ее ничего не доказывает. Ее крушение ничего не опровергает. Привлекательность и ценность первоначально принятого допущения (стоит ли пролетариат того, чтобы за него бороться, или еврейство, чтобы его сохранять) определяются на вкус, на глаз. Был ли сделан выбор по внутреннему влечению (в наше время это зовется экзистенциализмом) или заодно с окружающими (куда все, туда и я!) - он остается актом веры.

В XIX веке в моде были наукообразные теории развития общества. Идеологии тогда маскировались под науку. В результате, спустя полвека, когда мы стали свидетелями грандиозных судорог народов, классовая или расовая "теории" для многих служили оправданием их варварства. Это даже не значит, что в самих теориях не было смысла. Любая идеология подхватывает какие-то частные черты реальности и всегда имеет соприкосновение с природой вещей. У разума есть много путей упрощения реальности. Но нет разумного пути охватить действительность в ее целом.

*Карл Поппер, впрочем, еще в 30-х годах в своей критике историцизма*

назвал все эти "теории" гипотезами и одним этим словом снизил статус всеохватывающих идей до правильного уровня догадок ("Честь безумцу, который навеет...").

В конце XX века стало модно отрицать свою зависимость от идеологий, и потому мысль большинства людей попала в плен случайных впечатлений: поветрий в масс-медиа, обаяния кинозвезд и теледикторов, кратких словесных формул ("make love, not war!") и местных колдунов. В науке, литературе и политике это называется теперь постмодернизмом. Как выразил это уже цитированный Клиффорд Гирц: "Навязший в зубах постмодернизм подсказывает, что всякий разумный подход вообще должен быть отброшен как реликт поисков "сущего", абсолютного, вечного. Никаких общих заключений о культуре, традиции, идентификации или еще о чем-либо не должно быть. Есть только не укладывающиеся в общие схемы лица и события. Нас убеждают примириться с серией описаний, не связанных никакой последовательностью".

Но тогда не следовало бы ожидать никакой последовательности и в людском поведении. Между тем, повсюду (и особенно в странах, где постмодернизм, как интеллектуальное течение, наиболее распространен) от современного человека настойчиво требуется неуклонная последовательность (даже упорядоченность) поведения, включающая следование законам, общепринятым нормам и просто предрассудкам окружающих. Чем меньше последовательности обнаруживается в истории, идеологии и культуре "цивилизованных" стран, тем больше ее взваливается на плечи "цивилизованного" гражданина, который должен быть теперь прямо фантастически дальновидным и сдержанным (politically correct), чтобы заслужить одобрение общества. На самом деле человек не может обойтись без идеологии - т. е. организации его опыта в некой обобщающей (упрощающей) системе взглядов. Если не ожидать от нее слишком многого ("марксистская теория всемогуща, потому что она верна..."), всякую более или менее когерентную культурную схему можно назвать идеологией. Но можно также и теологией, а в применении к массам, - и мифологией.

*Как сказал Бертран Рассел: "Все догмы, коль скоро они превышают точное знание, принадлежат теологии".*

Сто лет назад, чтобы стать марксистом, считалось необходимым

изучать “Капитал”, а сегодня любую “идеологию” можно подхватить из газетных заголовков. Это - совсем недалеко от громкого “ура!”

Тонкое филологическое различие между авторитетными идеологиями и популярными мифами, может, и заметно некоторым интеллектуалам, но совершенно неуловимо для большинства приверженцев. Демократический мир строится на мифах, которые овладевают массовым сознанием, и грозит обрушиться всякий раз, как влияние этих мифов ослабевает.

Для интеллигента дело не в том, чтобы пытаться (хотя бы перед самим собой) выдать эти мифы за точное знание, а в настоящей потребности прочувствовать, какой из них в самом деле соприроден его душе и не мельтешить. Понимание мифологической природы своих посылок не должно приводить культурного человека к потере ориентации, а скорее к строго повышенному вниманию к основаниям своей культуры. Такое внимание, по-видимому, только и ведет к осмысленному культурному творчеству. Оно дается не всякому. Целый спектр сосуществующих, (и часто несовместимых) мифологий незримо владеет сознанием людей, уверенных в своей освобожденности от всяких предвзятых идей. Это особенно верно в периоды кризисов и катастроф.

### “Собаچه сердце“

Об идеологии людей, которые отрицают свою зависимость от идеологии, лучше всего судить по текстам - историям, книгам или фильмам - которые среди них популярны. Как пишет другой современный исследователь культуры:

“Общепринято рассматривать искусство изложения (narrative) - песни, драму, роман - скорее как украшение жизни, чем как необходимость... Однако, мы сознаем нашу культурную принадлежность и наиболее ценимые верования именно в форме описания, причем часто захватывает нас не столько фабула, “содержание” рассказа, сколько искусство повествования... Рассказ о себе и о других - себе и другим - есть наиболее ранний и естественный способ организации нашего опыта... Люди приписывают миру смысл рассказом о нем. Они используют свою описательную способность для моделирования реальности... Мифы, сказки, истории суть инструменты мышления для конструирования значений...”

*(Jerome Bruner, “The Culture of Education“,  
Harvard Univ. Press, 1996)*

Культурный разрыв между европеизированным меньшинством и остальным народом в течение веков был камнем преткновения в российской национальной жизни и служил источником неутолимого комплекса вины русской интеллигенции.

В едкой, фантастической повести “Собачье сердце” Михаил Булгаков с блеском продемонстрировал, как далеко ушел от этих былых самоуничижительных комплексов русский интеллигент вскоре после Революции, уже в 20-е годы:

- Гениальный ученый, хирург, проф. Преображенский, ради эксперимента превращает голодного бродячего пса в человека. Из милого, ласкового пса, Шарика, в результате научно продуманной (вот она - идеология!) операции вышел хамоватый и смертельно опасный “новый гражданин”, тов. Шариков, который неожиданно скоро оказался гораздо лучше приспособлен к условиям массового общества (“диктатуре пролетариата”), чем сам ученый, наивно на людях провозглашавший: “Да, я не люблю пролетариата!”

От мести распоясавшихся гегемонов - соприродных Шарикову по духу людей - профессора, впрочем, спасают его собственные темные связи с властью имущими (т. е. по существу такими же Шариковыми). В этом пункте писательский дар Булгакова (а, может, и собственный жизненный опыт) позволил ему предвидеть двусмысленные взаимоотношения интеллектуальной элиты с Советской властью на пятьдесят лет вперед.

После некоторых моральных колебаний профессор все же решается насильственно вернуть своего проблематичного питомца обратно в собачье состояние: “Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги... упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел: - К берегам свяще-е-нным Нила...”

Возвращенный в естественное состояние пес увидел творческого человека за работой, и природная иерархия, нарушенная было незаслуженным обретением им человеческих прав, восстановилась...

Такая аллегория, конечно, ничего не доказывает и никак не подвигает к решению реальную социальную проблему. Но талантливый текст обладает большой суггестивной силой, и повесть, опубликованная в СССР только в 80-х, имела шумный успех. Она, конечно, сыграла свою незамеченную роль в формировании того паразитического отчуждения, которое стало столь обычным в интеллигент-

ских кругах в России и позволило им так легко принять исход евреев в 70-х и последующее повальное бегство специалистов в 80-90-х.

*“В глазах Булгакова только интеллигент и имеет право называться человеком”. (Б. Сарнов, “Пришествие капитана Лебядкина”, изд. Пик; РИК “Культура”, Москва, 1993)*

В отличие от интеллигенции дореволюционного времени, которая включала весь образованный (т. е. состоятельный) слой российского общества, новая советская популяция состояла только из наемных (недооплачиваемых) профессионалов, “технарей”, “образованцев”, миллионы которых создала Советская империя для своих невероятно разросшихся нужд, совершенно не предусмотрев адекватного удовлетворения нужд этой группы. Новая интеллигенция не имела никаких оснований брать на свой счет былые дворянские самообвинения. И через два поколения после революции этот новый класс легко принял профессионально-кастовую гордыню Булгакова, как свою.

Постиндустриальная революция на Западе привела к некому повышению роли (и, соответственно, самоуважения) специалиста и в СССР. Ежедневно решая технологические задачи, ставившие в тупик неквалифицированное (несовременное) начальство, специалист одновременно убеждался в своем потенциальном могуществе и социальном унижении. Самосознание этой группы никогда не было выражено в связной форме из-за очевидных цензурных ограничений, но неоднократно прорывалось в частных выступлениях и публичных призывах к необходимости способствовать “развитию талантов”.

Для евреев эта ситуация была еще усугублена их фактическим неравенством. Находились начальники (и целые отрасли - Институт Научной Информации, Институт Высоких Температур, Институт Математической Экономики), которые сознательно пригревали у себя способных евреев, зная, что от них можно не ожидать карьерной конкуренции: продвижение по социальной лестнице или премирование для них всегда будет затруднено.

Не все евреи, конечно, принадлежали к технической элите. Однако, множество простых людей в их среде в какой-то степени отождествляло свои амбиции с претензиями образованного круга и воспринимало дискриминацию интеллектуалов в ряду прочих обид еврейского народа.

## “Малый народ”

Будучи по-преимуществу квалифицированным меньшинством в обществе, советские евреи за два-три поколения сформировались не столько как этническая, сколько как социальная группа.

Антиинтеллигентская политика властей в СССР так часто являлась в форме антисемитизма, что многие евреи (впрочем, может быть, и некоторые неевреи) невольно привыкли смешивать две эти разные группы.

*И два соответствующих понятия из разных рядов, так что на вопрос специалиста-антрополога, приведенный в начале статьи, один ответил бы - “я еврей”, а другой - “я физик”. Поскольку реакция Советской власти на оба ответа лучше всего характеризуется репликой из абсурдной пьесы Даниила Хармса - “Ты - говно!” - всегда наличествовала основа для их солидарности.*

Когда в 60-х по капризу Хрущева в высших учебных заведениях были введены льготы для выходцев из рабочего класса (и соответственно усилена жесткость по отношению к выходцам из интеллигенции), и потерпевшие, и исполнители были уверены, что эта мера направлена против абитуриентов-евреев.

В России вышел недавно современный, более объективный учебник новейшей истории (наконец-то, свободный от дела пролетариата), написанный саратовским профессором Кредером - поволжским немцем. Немедленно обрушилась на него лавина телефонных звонков и писем с угрозами и предложениями убраться в Израиль. И учебник, конечно, не стал общепринятым в российской школе.

Тут дело не только в фамилии Кредер. Объективность ведь тоже форма идеологии. Она основана на распространенной в европейских кругах вере, что истина (вещь в себе) существует независимо от наших (ну, скажем, классовых или национальных) интересов. Эта древняя идея, вообще говоря, тоже недоказуема и далеко еще не всюду прижилась, хотя автомобили, самолеты, холодильники и правоохранные системы основаны именно на ней. Евреи в России, действительно, часто ценят объективный подход больше, чем другие. Может быть, это происходит потому, что он дает им субъективное ощущение безопасности в их особом положении и возможность ссылаться на “мировое общественное мнение”, на “цивилизованные страны”, на “Европу”.

Социологи знают, что в переходные, кризисные периоды в обществе спонтанно возникают замкнутые группы с резко отличным сте-

реотипом поведения (“малый народ”), оказывающимся в вольной или невольной оппозиции к общепринятым ценностям и существующему порядку вещей. Члены таких групп перестают чувствовать свое родство с окружающими и становятся диссидентами - чужими среди своих. Так появились в свое время христиане в Римской империи, мусульмане в Мекке, протестанты в Европе, буддисты в Индии, большевики в России, сионисты в Черте оседлости...

Диссиденты в СССР появились задолго до того, как прижилось само слово. Один из бывших диссидентов, академик И. Шафаревич, правильно заметил, что евреи в России почти автоматически попадают в эту рубрику - “малый народ”. Мудрено было бы им в нее не попасть. Он, однако, не захотел бы заметить, что и проф. Кредер со своей объективностью, да и он сам со своим православием, попадали в нее с такой же неизбежностью.

Здесь кажется весьма уместной также и идея Льва Гумилева о консорциях - сплоченных группах пассионариев. Такая группа диссидентов, утверждающая новый стиль поведения в обществе, превращается порой и в зародыш нового этноса:

“Формирование нового этноса зачинается непреодолимым внутренним стремлением к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной, представляется самому субъекту ценнее даже собственной жизни... Начав действовать, такие люди вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, буддийской общиной монахов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, школой импрессионистов... Чтобы войти в новый этнос в момент становления, человеку нужно деклассироваться по отношению к старому”.

*Л. Н. Гумилев, “Этногенез и биосфера Земли”, 1979. Лев Гумилев замечательно формулирует свои феноменологические наблюдения. Приводя цитаты из его трудов, я вовсе не собираюсь солидаризоваться с остальным содержанием его теорий.*

Окончательно “деклассированными” по отношению к советскому народу евреи оказались только в 60-х годах.

Взаимоотношения квалифицированного меньшинства и народной массы далеки от простоты во всех странах. Тому, кто строит себе ил-

люзии относительно цивилизованных наций, следует посмотреть по телевизору на английских футбольных болельщиков. Арнольд Тойнби так выразился по этому поводу: “Западным науке и технике, рожденным, чтобы превращать знание в силу и богатство, присуща известная эзотеричность. Они возникли как результат напряженных интеллектуальных усилий творческого меньшинства. Главный источник нестабильности, угрожающей существованию этой “соли Земли” заключается как раз в том, что большинство людей, увы, по-прежнему “пресно”... Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, в который упирается Западная цивилизация... В каждой цивилизации огромные массы народа не выходят из состояния духовной спячки, так как подавляющее большинство... индивидуально ничем не отличается от человека примитивного общества”.

В старой России такая идея вошла бы в противоречие с традиционным интеллигентским народолобием. Но в СССР “человек примитивного общества” оказался вдобавок вооружен “самым передовым мировоззрением”, которым он размахивал, как каменным топором. Эзотеричностью науки Тойнби называет необходимость использования в ней понятий, далеко выходящих за пределы житейского опыта среднего человека. На советском языке это значит - вне контроля партийной идеологии. Поэтому эзотеричность - “идеалистические извращения в физике, химии, биологии и языкознании” - в течение всего периода существования СССР была неизменным поводом для раздражения властей и, одновременно, единственным - хотя и очень непрочным - убежищем для социально ущемленных элементов населения, в конечном счете, диссидентов.

В течение многих лет в СССР диссидентство, в тюрьме и на воле, было тем единственным привилегированным кругом, куда легко принимали евреев. И хотя власть поставила свои барьеры и на пути в науку, ее эзотеричность часто служила им формой социальной защищенности. При окончании мною университета только две категории студентов были на любых условиях готовы к трудной карьере профессионального ученого - евреи и лица с подмоченной анкетой: дети священнослужителей и репрессированных, побывавшие в немецком плену, на оккупированных территориях, и т. п.

По-видимому, большинство народа повсюду живет по инерции, не выходя за пределы рутины. Однако, во всех странах присутствует и пассионарное меньшинство, которому действительно необходимо

ощущать вдохновение, особый подъем, чтобы совершать те ежедневные сверхусилия, которые только и обеспечивают существование и развитие цивилизаций. Такое же пассионарное меньшинство необходимо и для всякого социального творчества, т. е. реформ, и только такое же меньшинство способно на сверхусилия, требуемые серьезным историческим действием, революцией или массовым переселением. Вдохновение активных меньшинств в наше время, как и тысячи лет назад, питается мифообразующими идеями.

### **“Понедельник начинается в субботу...”**

Советская интеллигенция породила и своих собственных певцов. Идеология избранного, облеченного знанием, меньшинства в чуждом культурном окружении с наибольшим блеском была выражена в творчестве А. и Б. Стругацких. Она, конечно, никогда не была записана в виде связного трактата, но довольно прозрачно сформулирована в серии фантастических романов и повестей из мнимой истории фантастических стран. Занимательность и остроумие этих книг обеспечили им очень широкую известность и замаскировали идеологический характер развитой мифологии.

*“Читателей привлекала их вполне недвусмысленная оппозиционность режиму. ... Чтение Стругацких стимулировало интеллектуальные ереси и бунты.”*  
(Марк Амусин. “Братья Стругацкие”, Иерусалим, 1996).

Основная идеологема Стругацких - существование непреодолимого разрыва между творческим духом (и историческим сознанием) интеллигенции и косным бытием огромного большинства народа - психологически (а, может быть, и фактически?) соответствовала российской ситуации 60-х годов.

Трудно (да и ни к чему) в общем виде формулировать, чем отличались российские ассимилированные евреи от этнических русских, но зато очень легко сформулировать, чем и те, и другие интеллигентские семьи в России отличались от всех остальных.

В современных интеллигентских (и, особенно, еврейских) семьях ребенок в той или иной степени оказывается центром внимания всей семьи и с младых ногтей привыкает подавать свой голос. В нем, т. о., еще до включения общеобязательного оболванивания формируются зачатки того персоналистского мировоззрения, которые мешают ему впоследствии окончательно слиться с коллекти-

вом. Этот, отчасти воспитанный, нонконформизм, а не просто высшее образование, собственно, и делает их интеллигентами.

Герои Стругацких, однако, больше чем просто балованные дети. Они еще генетически одаренные пассионарии, которые ощущают в себе лишь одну (но пламенную) страсть - к познанию, к интеллектуальной игре. Несколько дней, проведенных без книг (новой информации), делают их больными ("Гадкие лебеди"). Напротив, остальные люди, по-видимому, склонны удовлетвориться перевариванием пищи ("Второе нашествие марсиан"), примитивными развлечениями или наркотиками ("Хищные вещи века").

Страсть этих избранных к творческой работе индивидуумов, соединенная с бесстрастным (якобы бесстрастным, потому что он включает много страсти) рациональным анализом, позволяет им творить технологические чудеса и возвышаться над повседневным окружением: "Они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому... Они были магами потому, что очень много знали... Они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного..." ("Понедельник начинается в субботу")

Она, эта страсть, единственная, наполняет жизнь содержанием и, может быть, только она удерживает мир от глобальной катастрофы. Она превращает своих пассионариев в небожителей в прямом ("Волны гасят ветер") и, еще больше, в переносном смысле ("Трудно быть Богом").

Несмотря на свои фантастические сюжеты, Стругацкие очень точно передают типологию и атмосферу российских отраслевых институтов и "шарашек". Этика этой технологической элиты аналогична кальвинистской доктрине избранности в представлении Макса Вебера: специалист предопределен своей одаренностью (т. е. свыше) к высокой миссии, а его профессиональные достижения доказывают и подтверждают его высокое назначение и одаренность. Он должен напряженно работать, чтобы доказать себе и другим, что он действительно принадлежит к тому самому редкому меньшинству, которое только и способно работать напряженно. Такой ход мыслей приводит, если не к успеху, то к внутреннему удовлетворению. Он также создает условия для жесткой (пуританской) дисциплины рабочего поведения, составляющей яркий контраст со всеобщей российской разболтанностью.

Конечно, это мифология технократов. Она в прошлом сочеталась со

снисходительным отношением к несовершенству человеческой природы, называемым в просторечии либерализмом, но в критической ситуации чревата взрывом насилия (как, собственно, и подсказывала повесть М. Булгакова и логика диссидентства). В “Трудно быть Богом” сгоряча, а во “Втором нашествии марсиан”, “Обитаемом острове” и “Хищных вещах века” уже обдуманно, интеллектуалы берут в руки оружие.

Хотя этот избранный народ порой испытывает унижения от невежественных варваров, господствующих в сказочно-абсурдном, но узнаваемо российском мире (“Сказка о Тройке”), хотя их нон-конформизм, неспособность проникнуться массовыми психозами превращает его членов в гонимую, угнетенную касту (диссидентов - “мокрецов” - “выродков” - “интеллей”), в конечном счете их незаметная, чудотворная работа сотворит новое небо и новую землю (“Гадкие лебеди”). Мистические Силы природы (если они есть) также признают паритет творческих личностей и считаются с результатами их работы (“За миллиард лет до конца света”).

Майя Каганская в своем эссе, посвященном двум повестям, “Жук в муравейнике” и “Волны гасят ветер”, написанным в 80-х (“22”, № 44, 55), окончательно устраняя писательские недоговорки и неопределенности, дописывает: “Ситуация выглядит так, будто человечество распадается на два вида... Появилась группа людей, которые по своим физическим, психическим и интеллектуальным данным настолько же превосходят homo sapiens, насколько современный человек превосходит неандертальца... Эти сверхлюди... другие. К человеку они относятся так же, как взрослый - к ребенку... Даже жить они предпочитают в Космосе... Открытый Космос и высшая стадия существования Разума, - единственное, что их интересует...”

После ряда остроумных выкладок она заключает: “Еврейская тема тотальна в обеих повестях... Речь идет о еврейской эмиграции”.

Легко догадаться, что воображению писателей не столько евреи (“творческая интеллигенция”, конечно) представляются сверх-людьми, сколько термин homo sapiens звучит, пожалуй, слишком гордо в применении к массовому обществу, как оно им видится.

Впрочем, более важными кажутся мне не полускрытые намерения авторов, а бурная реакция читателей, использовавших возможность такой интерпретации задолго до ее опубликования. Эту особенность советской ситуации Каганская характеризует таким образом:

“В советской литературе тексты только на одну треть пишутся авторами, а на две - дописываются читателями. Здесь действует... техника кроссворда: составляют кроссворд писатели, заполняют - читатели”.

И в самом деле, что еще оставалось думать читателю-еврею после прочтения в 1968 году в СССР такого пассажа : “Все равно я уеду, - думал Перец ... - все равно я уеду... Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, ... не хочу я больше петь вам песни, считать вам на “мерседесе” (*т. е. теперь это значит - на компьютере*), разбирать ваши споры, ...читать вам лекции, которых все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду... Все равно вы никогда не поймете, что думать - это не развлечение, а обязанность...” (“Улитка на склоне”)

### **Еврейская революция**

Невозможно предугадать, во что бы вылился со временем рост числа диссидентов в СССР, если бы Шестидневная война неожиданно не переломила ситуацию и не ввела новое измерение.

Я не считаю, что Шестидневная война оказала прямое вдохновляющее влияние на советских евреев, как думают западные социологи. Внутренние факторы влияли на них гораздо действеннее. Но эта война существенно изменила политику советских властей и, т. о., повлияла на евреев косвенно.

Паническая реакция советского правительства на победу Израиля выразилась в том, что оно стало представлять его как передовой отряд Западной цивилизации, а Сионистский заговор как якобы решающий фактор мировой политики.

Только этого советским евреям и не хватало. Наконец-то в мировой истории нашлась для них достойная роль. Стало, наконец, интересно читать советские газеты - всегда найдешь что-нибудь интересное об Израиле. Сионизм вместо жалкой разновидности “буржуазного национализма” стал чем-то реально противостоящим омерзевшему “социалистическому лагерю”. Молодежь повадилась толпами водить хорорывы возле синагог. Возрос интерес к сионистским кружкам и ивриту. И простой народ стал теперь поглядывать на евреев с неким полуодобрением (“вмазали черножопым!”).

Партийные пропагандисты называли теперь “сионистским” все еврейское и настойчиво напоминали обрусевшим евреям, кто они есть. Антисемитизм никогда не исчезал из российской жизни, но теперь он приобрел политический характер и льстящую евреям терми-

нологию. Сотрудники КГБ постоянно клеймили диссидентов сионистами. Один из партийных вождей (кажется, Демичев) в доверительной речи к московскому партийному активу (распространившейся немедленно по всей стране) объяснял, что советскому обществу не так опасны, собственно, “открытые” евреи, как половинки и четвертушки, скрытый “сионизм” которых “не сразу виден”...

Если бы в России не было прочной традиции недооценивать интеллект номенклатуры, можно было бы подумать, что они весьма дальновидно перенаправляют назревший социальный конфликт в хорошо им знакомое “национальное” (межнациональное) русло. Эта политика вскоре принесла плоды.

Я помню, как на какой-то диссидентской сходке в 1968 г. участникам пришла в голову “новая” идея сосчитать число евреев среди присутствующих. Оказалось, что их 16 из 20. Стали считать и подписи под письмами протеста - процент оказался еще выше - 85.

Это произвело впечатление. Известный математик А. Есенин-Вольпин объявил себя “сионистом” без всякого понятия, что это значит и несмотря на свое прямое родство с русским национальным поэтом. Поэт Наум Коржавин (Э. Мандель) потребовал “справедливого” участия всех (собственно, двух) национальностей в демократическом движении. Справедливым он предлагал считать соотношение 50:50. Академический перевод “Кумранских свитков” в книжных магазинах раскупили в считанные дни. Редкие люди с семейными еврейскими корнями, говорившие на идиш или помнившие еврейские песни, превратились в желанных гостей во всякой компании. Даже насмешки по поводу еврейских ритуальных правил стали редкостью. На интеллигентских пьянках стало модно произносить “оригинальный” тост: “В следующем году - в Иерусалиме!”

“Идея нации неотделима от политического сознания... Нация рождается в воображении, и ее образ, однажды возникнув (укоренившись в воображении), приспосабливается к внешним условиям, моделирует себя и преобразует”. (B. Anderson, “Imagined Communities. The Origin and Spread of Nationalism”, London, 1983).

Пусть только термин “воображаемый” не обманывает читателя. Оттого, что нации рождаются как воображаемые общности, они не перестают быть сугубо реальными. Вино и хлеб в церковном ритуале обращаются в кровь и плоть Христа скорее в воображении, чем в их химическом составе, но власть Церкви над миллионами людей

реальна. Разницу между сербами, хорватами и боснийцами можно считать воображаемой. Их разные религии и их историческая память не изменили ни их генетику, ни язык. Но их смертельная вражда и гибель десятков тысяч людей более чем реальны.

Пытаясь понять и объяснить феномены, носящие эмоциональный (и потому неизбежно субъективный) характер, мы невольно рационализируем то, что заведомо иррационально и реально именно поэтому. “Этнос - это свойство вида *homo sapiens* группироваться так, чтобы можно было противопоставить себя и “своих” (иногда близких, а часто довольно далеких) всему остальному миру... Этнические различия не мыслятся, а ощущаются по принципу: это “мы”, а все прочие - иные...” (Л. Гумилев, “Древняя Русь и Великая Степь”, Москва, 1994)

Можно было бы подумать, что Лев Гумилев внимательно следил за возникновением сионистских кружков и формированием нового еврейского этноса в России. Одинокие пассионарии, рассеянные репрессиями по всей стране, после Хрущевских реабилитаций стали снова собираться в кружки. Как пронзительно отмечал Гумилев, консорции подбираются не по сходству взглядов или склонностей (и даже не по этническому родству), а скорее по принципу дополнительности: сионистская одержимость одних дополнялась антисоветской идиосинкразией других и профессиональной неудовлетворенностью третьих. Замкнутые кружки, десятилетиями существовавшие вокруг пассионарных, харизматических фигур (В. Свечинский, М. Гельфанд, Е. Спиваковский), вдруг получили новую жизнь и множество последователей среди технической молодежи и студентов. За считанные месяцы сионисты превратились из периферийной группы диссидентов в широкое и престижное оппозиционное движение.

Группа обвиняемых на “Ленинградском процессе” уже соединила в себе все элементы, из которых составилось новое движение: Эдуард Кузнецов, прошедший тяжелую школу диссидентства, Ал. Дымшиц - смертельно оскорбленный дискриминацией специалист, семья Залмансонов - люди с живыми еврейскими корнями, и Иосиф Менделевич - человек с религиозной мотивацией.

Субъективные состояния объективно существуют и определяют события. Поэтому я считаю оправданным и конструктивным в научном смысле рассматривать “русских” евреев в Израиле, как вновь возникшую общность, вместо того, чтобы искать едва различимую нить преемственности от наших идишистских предков.

*“Нет этноса, происходящего от одного предка. Все этносы имеют двух или более предков”. (Л. Гумилев “Древняя Русь и Великая Степь”, Москва, 1994)*

В наше время воображаемое то и дело преодолевает действительное. Торжество материализма и устранение религии из сознания масс уравнилось в XX в. хаотическими прорывами субъективного подхода в политике и психологии народов.

Воображение, т. е. сознание, предопределяющее бытие, социальный протест (“рессентимент”) и тяга к неведомому, запретному, а не непосредственная необходимость, привели в конечном счете миллион потомков советских интернационалистов в Израиль, и ничего реальнее этого вклада в историю Израиля нельзя вообразить.

### **На Обетованной Земле**

Мифология, толкающая людей на решительные действия, вовсе не обязана быть адекватной. Всякая революция черпает свое вдохновение из мифов, абсолютизирующих и преувеличивающих ее требования. Еврейская революция в России преувеличивала не столько свой национализм, сколько свою интеллектуальность.

Здесь наметилась первая трещина между сионистскими активистами в России и израильским истеблишментом. Израильское правительство, опасаясь международных осложнений и репрессий против евреев, на которые так легки были советские власти, всячески старалось затушевать социальный характер еврейского движения в СССР и старательно подчеркивало исключительно национальный и гуманитарный характер проблемы, избегая всего, что могло бы быть понято как критика советской системы. Напротив, еврейские активисты, почувствовав свою ответственность и международную поддержку (организованную, конечно, из Израиля), все больше склонялись разоблачать тоталитаризм и ассоциироваться с диссидентами-правозащитниками.

Миф, который был необходим, чтобы оторваться от материнской почвы, не умер по миновении надобности. На земле, текущей молоком и медом, закономерно обнаружилось то же коренное противоречие между творческим, идеологически мотивированным меньшинством и косной массой (см. выше цитату из А. Тойнби).

В качестве косной массы теперь временами выступал практически весь израильский народ (“они”), который никак не мог взять в

толк, что именно российским евреям нужно: “Квартира у вас есть? Работу нашли? Машину купили? ...?!”

Все это действительно появилось у репатриантов первого призыва в среднем за три года. Но им не хватало... вдохновения. Революция, совершившаяся на советской почве требовала продолжения.

Бывшим диссидентам в Израиле не хватало справедливости. Технократам не хватало технического прогресса. Людям с еврейскими корнями не хватало в стране еврейского духа (идишкайт). Религиозным неосфитам в еврейском государстве решительно не хватало иудаизма.

*Для духовно сильного “русского” религиозного меньшинства израильский религиозный истеблишмент оказался также недостаточно духовен.*

Сионистские активисты ясно ощущали недостаток сионизма в общественном настроении. Остальные вынуждены были принять одну из этих готовых формул, чтобы как-то обозначить свою неудовлетворенность ситуацией, хотя зачастую им не хватало и более насущных вещей.

Обнаружилось, что пассионарность прибывшей группы намного превышает среднеизраильский уровень.

Первая волна не смогла заметно повлиять на политическую температуру Израиля из-за своей малочисленности. Но миллионная алия 90-х, не принеся новых идей, одним своим количеством воплотила смутную мечту российских сионистов в политическое действие. Первостепенной задачей для русских евреев стало - осознать свой интерес в быстро меняющейся политической ситуации. Бывшие активисты Н. Щаранский, Ю. Штерн, Ю. Эдельштейн, В. Браиловский и выдвинувшиеся в Израиле А. Либерман, Р. Бронфман, М. Нудельман, что бы они ни обещали массовому избирателю, вошли в кнессет с требованиями, типичными для квалифицированного меньшинства. Технологический прогресс и модернизация производства и образования как цель, техническая компетентность и профессионализм как общественный идеал, всплывают во всех их речах и начинаниях. Эффективность, культура, прогресс (подъем - “алия”) - наиболее часто употребляемые ими термины.

В Израиле не было центристской технократической партии до внедрения “русских”. В стране не было достаточно избирателей, которых бы такая программа вдохновляла. Технократические требования действительно профессионально важны для более широкого круга “русских” репатриантов, чем это обычно для западных обществ, но характерно, что и остальная репатриантская масса готова испытывать энту-

зиязм по поводу технического прогресса. **Для русской алии он составляет ура-идеологию**, не требующую разъяснительной пропаганды.

По поводу прогресса и культуры в “русской” группе почти нет расхождений, хотя по всем остальным вопросам она так же расколота, как и все остальные в Израиле. Не всякий репатриант из России несет с собой технический прогресс, но почти всякий уверен, что его личные трудности связаны с недостатком этого прогресса в Израиле. Не всякий русский репатриант глубоко заинтересован в культуре, но почти каждый убежден в своем культурном превосходстве. Такая самоуверенность может осложнять жизнь им и их окружению, но она создает в обществе вектор, которого не хватает в благополучных демократических странах. Этот вектор социальной мобильности, направленный в пользу технического совершенствования и бытовой культуры, сплошь и рядом оказывается человеческим преимуществом “русской” общины, воздействующим на все израильское общество.

За последние десять лет Израиль уверенно вступил в клуб преуспевающих постиндустриальных держав, и вклад русской группы в этот успех оказался решающим. Кальвинистская трудовая этика, принятая среди какой-то части российских выходцев, позволила многим почти мгновенно вратиться в самые передовые отрасли израильской экономики и культуры.

Теперь Израилю предстоит встретиться с теми же проблемами, которые ставят на грань кризиса все страны принадлежащие Западной цивилизации. Вспомним уже цитированного А. Тойнби: “...наука и техника, превращающие знание в силу и богатство... возникли как результат напряженных усилий творческого меньшинства. Главный источник нестабильности, угрожающей существованию этой “соли Земли”, заключается как раз в том, что большинство людей, увы, по-прежнему “пресно”... Стагнация масс является фундаментальной причиной кризиса, в который упирается Западная цивилизация... Огромные массы народа не выходят из состояния духовной спячки”.

Некоторая старомодность “русской” группы, все еще слепо верящей в прогресс, вдохновляющейся техническими успехами, оборачивается сегодня выигрышем для страны. Многолетняя культурная изоляция России привела к философскому отставанию идеологии русских выходцев примерно на сто лет. Это как раз те сто лет, за которые западной культурой была высказана большая часть горьких истин о человеческой природе и технологическом прогрессе.

Жизнь на Ближнем Востоке требует от израильтянина высокой конкурентоспособности, а соучастие в западном "постмодернистском" преуспевании разрушает его спортивную форму. Безоглядная преданность российских выходцев предшествующему (быть может, и более плодотворному) этапу западной культуры не является злокачественным предрассудком, а скорее естественным защитным механизмом самосохранения. Обществу в целом необходимо адекватное представление о своих свойствах, но для каждого индивида или группы очень плодотворно иметь преувеличенное представление о своих возможностях.

В первом поколении репатриантов современный философский кризис еще не разрушил естественного ощущения собственной ценности и повсеместный "постмодернизм" свободного мира еще не подорвал в них здоровую тенденцию к доминированию.

Напоследок процитируем К. Гирца еще раз: "В современном мире придется оставить большие интегративные идеи, к которым мы так долго привыкали, организуя наши представления о политике и, в частности, о сходстве и различиях между народами и культурами: "традиция", "религия", "национальные ценности". Пересмотренные или новые понятия необходимы, чтобы проникнуть в головокружительную новую гетерогенность и произнести что-нибудь полезное о ее формах и их будущем".

Творческое напряжение между "мы" и "они", по-видимому, будет еще долго играть заметную роль в психологии репатриантов и определять политические конфигурации, пока наше "мы" окончательно не включит всех израильтян.

**Яков Шехтер**

## **"ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ"**

Новая книга Якова Шехтера продолжает серию библиотеки "Мигдаль", которая ставит своей целью познакомить читателей с творчеством ярких представителей еврейской литературы. Библиотеку издает южно-украинский еврейский общинный центр.

---

*Книгу можно заказать в издательстве по адресу: Одесса, Малая Арнаутская, 46-а или у автора в Израиле по тел. 054-927768, 08-9457588*

*Цена в Израиле с пересылкой - 15 шекелей.*

*В Европе, США и Канаде - 4 доллара.*

*Цены не распространяются на СНГ.*

## ПО ТУ СТОРОНУ АТЛАНТИКИ

### ОТ РЕДАКЦИИ

*Норман Подгорец - один из интеллектуальных вождей целого поколения американских "бунтарей", ставший "неоконсерватором" (собственно, и автор этого термина) с конца 50-х, многолетний редактор престижного журнала "Комментарии" - выпустил книгу своих воспоминаний. Основной мотив воспоминаний Подгореца - ностальгическое сожаление не столько о тех или иных своих идеях, сколько сожаление о временах и людях, когда (и для кого) идеи так много значили. Разъедающий релятивизм современного западного общества компрометирует серьезное отношение ко всяким идеям вообще, включая и те из них, на которых оно, по существу, построено, на которых и сейчас держится его благополучие.*

*Марат Гринберг*

### ПЛАЧ ПО ГУМАНИЗМУ

Американский поэт Марк Стрэнд утверждал, что Бродский, русский поэт, никогда не войдет в американскую поэтическую традицию. И дело тут не в языке. Этому препятствует различное понимание Слова и его роли в истории. "Именно связь поэта с историей, - говорит Стрэнд, - заставляет Бродского создавать строфы, выходящие за пределы его личных переживаний. Его совесть, а скорее, совесть его поэзии, почти всегда находится в контексте исторической ситуации". И добавляет, что биография Бродского вела его к обобщениям, к установлению связи между своей совестью и совестью истории, ее волей и характером. Насколько эти замечания верны в отношении именно Бродского - вопрос проблематичный, учитывая метафизическую природу творчества поэта. Тем не менее Стрэнд затронул нечто очень важное, правильное. История, связь между индивидуальным творцом и его народом играла превалирующую роль в русской литературной традиции. Очень часто Слово и Политика были нерасторжимы.

Установившимся мнением, которое разделяет и Стрэнд, стало представление о том, что в Америке литераторы никогда не страшились уделять преимущественное внимание своему личному опыту. "Я" у них имело волю и характер, а не история. Поэтому, если у них и возникало стремление заигрывать с историей, если они и поддавались той тяге, которая так мощно направляла перо их литературных коллег за океаном, то они рвались в Старый Свет. От Генри Джеймса до Хэмингуэя и Фицджеральда: рвались вмешаться в европейские бои, в словесные драки Парижа и Лондона и, не в последнюю очередь, России. Писал же Хэмингуэй в "Празднике, который всегда с тобой": "В начале были русские писатели".

Однако представление о том, что американские творцы свободны от истории, социальных проблем и политики, кажется ошибочным после прочтения мемуаров Нормана Подгореца "Экс-друзья". Подгорец, известный американский литературный критик и политолог, долгое время - редактор престижного журнала "Commentary", человек, для которого Слово, как и для Бродского, всегда обитает в контексте истории - истории, руководимой идеями. Мемуары Подгореца - это плач по прошедшему времени, по тому периоду в американской истории, когда идеи принимались всерьез, когда политика означала не только дебаты о снижении налогов и о сексуальных приключениях кандидатов, а служила ареной серьезного, страстного диалога о сути американской цивилизации, о гуманной роли литературы в истории.

"Экс-друзья" - настораживающее название для книги-плача и вместе с тем идеально соответствующее ее цели. Подгорец пишет об известных американских писателях и критиках, с которыми он в свое время сблизился, а затем разошелся не столько из-за личной антипатии, сколько из-за расхождений в мировоззрении. Как интеллеktуал Подгорец заявляет, что вся его жизнь подчинена идеям и что дружбы, сложившиеся на протяжении этой жизни, определяются идейными мотивами.

"Семья" - так Подгорец определяет группу интеллеktуалов, возникшую в Нью-Йорке в 30-х годах, большинство которой составляли евреи. Динамичный творческий и критический союз, "семья" издавала свой журнал "Partizan Review" и была в основе своей радикально левого направления. Несмотря на то, что большинство членов "семьи" со временем отбросили веру в Советский Союз, распознав ужасы сталинизма, многие из них оставались приверженцами социализма, в частности троцкизма. С началом "холодной войны" "семья" раскололась на бывших оппозиционеров СССР, рато-

вавших за победу либерализма во всем мире, и на так называемых анти-антикоммунистов, считавших, что из-за "охоты на ведьм" Америка сама становилась тюремным государством. Из анти-антикоммунистов выросло движение против войны во Вьетнаме, часто открыто коммунистическое, питавшее намного больше симпатий к вьетнамским марксистам, чем к любому американскому правительству. По мнению Подгореца, этот радикальный поворот в сторону антиамериканизма расколол "семью", разрушив активное интеллектуальное ядро страны. Идеи перестали что-либо значить. Сам Подгорец, в молодости ярый либерал, затем еще более ярый анти-антикоммунист, после войны во Вьетнаме круто изменил свое кредо. Он перешел на сторону консерваторов, придя к выводу, что Америка все же является оплотом истинной демократии в мире, и что в "холодной войне" ясно, на чьей стороне правота. Утверждая, что "семья" своим антиамериканизмом развратила и себя, и молодежь, он все-таки добрым словом поминает ее приверженность идеям.

Бывшими друзьями, о которых Подгорец пишет, как с уважением, так и с презрением, являлись критик Лионел Триллинг (апологет либерализма, первый еврей, назначенный профессором английской литературы в Колумбийском университете), политолог, беженка из Германии Ханна Арендт, поэт Ален Гинзберг, писатель Норман Мейлер (единственный ныне здравствующий из "экс-друзей") и драматург Лириан Хеллман. Мейлера и Гинзберга Подгорец по очереди обвиняет в неразборчивом либерализме, злоупотреблении наркотиками, излишнем пристрастии к женщинам (Мейлер) и к мужчинам (Гинзберг). Какое все это имело отношение к их произведениям? Литературу они, подобно дадаистам в начале века, воспринимали как орудие для сокрушения общественных норм. Не испытывая, мягко выражаясь, любви к Америке, они создавали почву для антипатриотизма молодежи, ее презрения ко всему политическому.

Если взглянуть глубже, то кажется, что Подгорец не вполне сознательно затрагивает проблему отношений между радикализмом художественной литературы и жизнью. Цветаева, к примеру, восхищавшаяся дерзостью, преклонением перед чумой пушкинского Вальсингама, писала, однако, что притягательное зло в литературе, расширяющее границы писательского воображения, отвратно в действительности: "Все сделано, даже пережито (понято) только в театре", - писала она. Модернисты, как, скажем, Т. С. Элиот и Э. Панд, были, якобы, ярыми антисемитами и фашистами, и нередко вы-

ражали это в своих строфах. Какова, однако, была связь между их поэтическим небрежением предшествующими гуманистическими традициями и реальным политическим радикализмом - скорее риторический вопрос, затрагивающий тем не менее сердцевину природы литературного творчества. В отношении Гинзберга и Мейлера, апостолов современной американской прозы и поэзии, Подгорец, который признает их литературный талант, представляется таким литературным старцем, корящим малолеток за глупые проделки.

В главе о Ханне Арендт наиболее ярко выступает вопрос о еврействе. Как и у большинства представителей второго, третьего поколения иммигрантов из Европы, иудаизм Подгореца был первоначально искусственным. Прошедший через бар-мицву, он был ознакомлен с традиционной еврейской литературой. На протяжении жизни его интерес и уважение к иудаизму и еврейству возрастают. Этим он отличался от большинства других членов "семьи", которые, будучи евреями, имели при этом нулевой интерес и к своему еврейству, и к еврейству вообще. После Шестидневной войны Подгорец стал активным поборником Израиля и до сих пор остается идеологическим противником переговоров с Арафатом. Эта установка резко отличает его от большинства левых евреев-интеллектуалов, которые исключительно лояльно относились к арабам и исключительно жестко - к позиции Израиля. Журнал "Commentary", всегда бывший частично еврейским изданием, в особенности стал таковым под его руководством.

Разлад Подгореца с Арендт произошел после того, как она, безусловно один из виднейших умов XX столетия, опубликовала свои соображения по поводу судебного процесса над Эйхманом ("Эйхман в Иерусалиме, или Репортаж о банальности зла"). Рассуждения Арендт полны грусти о судьбах тех, кто вынужден был, как и она, бежать из Германии. Она понимала, однако, насколько глубоко укоренены в Германии радикальные шовинистические силы. Более того, она раскрыла трагедию (именно раскрыла, а не осудила, как показалось многим) еврейского положения в диаспоре, выразившуюся во время войны. По мнению Арендт, еврейские советы (юденраты), созданные немцами на оккупированных территориях, сами участвовали (невольны) в уничтожении еврейства. Они обеспечивали нацистов информацией о еврейском населении и позволяли манипулировать собой, сознавая, что конец был неизбежен. Эти заявления Арендт вызвали резкое неприятие со стороны проеврейских критиков, среди которых был и Подгорец. Ее исследование он определил как "извращение интеллекта".

Сейчас распространено мнение, что Арендт не располагала достаточным материалом для таких острых обобщений. Однако мало кто из серьезных исследователей Катастрофы усомнится в том, что вопросы, поднятые Арендт в отношении юденратов, были необходимы и оправданны. И у Подгореца, когда он возражал Арендт, также не было достаточных исторических сведений о структуре еврейского общества под немцами, однако в своей сегодняшней книге он не отступает от позиций, занятых более тридцати лет назад. Арендт не историк, а мыслитель. Хотя ее отношение к еврейству и сионизму было амбивалентным, она ясно понимала перипетии еврейской истории и роль Израиля в ней. Ее книга выходит за рамки обычных исследований, ибо она подрывает все наши конвенциональные (привычные) понятия о морали и человечности. Видя в Эйхмане не монстра, а просто винтик - продукт системы, сделавшей зло новым радикальным моральным принципом, Арендт пересматривает пределы человеческой этики.

Судя по мемуарам, Подгореца нельзя заподозрить в излишней скромности. Он повествует о том, что его бывших друзей объединяло чувство буквально маниакального поклонения его личности. Он видит себя любимым учеником Триллинга. Он представляет себе, что притяжение к нему снится то Мейлеру, то Гинзбергу. Арендт якобы преследовала его своим дьявольским взглядом. Его, Подгореца, поворот к консерватизму, рассматривается им как одно из потрясающих событий современной американской, если не всей западной истории. "Я", без преувеличения, является наиболее часто употребляемым в книге словом. И у него есть основания для этого. Книга, хотя и представляет собой мемуары, все же претендует на критическое исследование определенной эпохи в интеллектуальной жизни Америки. Однако теперь, спустя столько лет, после прочтения "Экс-друзей" остается странный осадок и напрашивается вопрос, идеально сформулированный на разговорном английском: "Who cares?", то есть "Ну и что? Кому какое дело?"

Без сомнения, Подгорец - известный эрудит, но его достижения как литературного критика минимальны, ибо значительную часть своей жизни он провел в политических дебатах. Проблематичны также его теперешние консервативные взгляды - безоговорочная поддержка внутренней политики республиканской партии, призывы к расширению американской военной мощи. Подгорец тоскует по ушедшей "семье", несмотря на ущербность ее идей. Хотя он и отверг ее радикальный либерализм и отсутствие патриотизма, он перенял от "семьи" определенный подход к Слову как действию.

Конечно, “семья” должна была исчезнуть, ибо ее приверженность к троцкизму в послевоенной Америке была наивна и неуместна. В 80-х годах один из членов “семьи”, критик Ирвинг Шоу, опубликовал книгу “Социализм и Америка”, в которой вопрошал, почему социализм провалился в Америке, не задаваясь прежде всего вопросом: а где он не провалился и почему он должен был восторжествовать? Сол Беллоу обвинял Арендт в том, что она навсегда осталась прекраснородным веймарским интеллектуалом. Кем остались остальные? Вечными членами первых профсоюзов, упрямыми апостолами “демократического социализма”? Большинство из них были литераторами: людьми Слова, которые, вопреки своему революционизму, признавали автономность литературы, верховенство ее эстетики над политическими воззрениями авторов и критиков (фашизм Паунда, коммунизм Маяковского). И все же они утверждали прямую связь между литературой и жизнью, верили в действенную роль Слова в цивилизации.

По словам Альфреда Казина, одного из членов “семьи”: “Литература - это не теория, а в своих лучших проявлениях та ценность, которую мы приписываем своему жизненному опыту... В начале было дело, и в конце остается дело. Но где, как найти творца, который будет обладать внутренней уверенностью, чтобы увидеть нашу жизнь глазами веры, дабы мир засиял опять?” Благородно - но не более того. Именно в этом веке, веке приснившихся кошмаров Кафки и реальных кошмаров Примо Леви из Освенцима, критики осознали, что гуманная роль литературы находится под вопросом. Кристальными, почти святыми текстами стали строки беспросветного мрака автора “Процесса” и “В исправительной колонии”, для которого ни добра, ни зла нет, а есть лишь ужас бытия человека. “На твой безумный мир ответ один - отказ” - таковы вершины литературы в XX веке.

Миру не засиять от литературы не только из-за глубин, обнаженных Цветаевой и Кафкой. Еще и потому, что текст и жизнь не связаны прямой линией. Текст не просто автономен - он покоится в капсуле, где царит атмосфера языка и условности творчества. Без теорий, столь ненавистных Казину, Подгорецу не обойтись. Если “все сделано, даже пережито (понято) только в тетради”, то где тогда в Слове жизнь - вопрос, на который гуманный литературный критик не в силах ответить; его беспрекословный либерализм благороден, но неприемлем для многогранной игры автора с текстом, читателем и критиком: это знали русские формалисты, это знал Набоков с его максималистской эстетикой.

В литературе наступила эра зла. По словам Виктора Ерофеева,

“сместилась четкость оппозиций: жизнь переходит в смерть, ведение в неведение, смех в слезы... маятник качнулся в сторону от безжизненного, абстрактного гуманизма... В итоге классический роман уже никогда не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции”. Литературное воображение не провозглашает Правду. Его правды идут от языка, из глубин текстов, а не из правил истории. Есть ли те вечные линии, которые соединяют бурлящее человеческое воображение с литературным, ведущим к беспредельному злу и добру в Слове? Как в зазеркалье, литература оперирует своими приемами и издали привлекает нас своим миром. Потому не вполне пригодный и для реализма гуманный критик изжил себя в подходе к текстам, ибо литература для жизни уже не “истина в последней инстанции”, она давно уже не “учебник жизни”.

“Семья” сошла со сцены не только потому, что все уходит и меняются времена, но и потому, что ее взгляды на Слово были слишком тесно переплетены с ежеминутной политикой и пониманием текста как кладезя истин и отражения жизни. Но, хотя, судя по книге Подгореца, воинствующие интеллектуалы перестали быть движущей силой в Америке, Слово от этого не слишком пострадало.

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <p><b>НОВАЯ КНИГА</b><br/> <b>НИНЫ ВОРОНЕЛЬ</b></p> <p><i>Избранные стихи</i><br/> <b>Избранные</b><br/> <i>поэтические переводы</i></p> |  |
| <p>В этой книге собраны ставшие уже классикой переводы Нины Воронель из поэзии Оскара Уайльда, Эдгара По, А. А. Милна, Джона Апдайка, Франтишека Грубека и др..</p> |  |  |
| <p><i>Подарочное издание, 200 страниц, твердая обложка.</i><br/> <i>Цена книги - 50 шекелей</i><br/> <i>Тел. для заказа: 03-7394525 и 03-6472392</i></p>            |  |  |

## ЗАМЕТКИ КНИГОЧЕЯ

Аркадий Бурштейн

### СЕМАНТИКА ХОЛОДА В ПЕСЕНКЕ А. ГАЛИЧА “ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ”

*Уже нет России, и никогда не будет, как никогда  
не будет Римской империи. Всему бывает конец.  
Системы государственности не могут оперировать  
с теорией случайности, с роком. За право говорить  
вслух, что думаем, за право менять белье  
и пользоваться горячей водой и мылом мы  
заплатили долгими годами изгнания. И как  
знать, выиграли мы или проиграли?  
А. Койранский, 18 октября 1959 г.*

С тех пор, как я приехал в Израиль, прошло чуть более восьми лет. Не так уж мало, но и не так уж много для меня. Очень много для моего старшего сына, покинувшего Россию в 14 лет. Сегодня ему 22 года, и личность его лепилась уже здесь. Он любит Галича, знает его и охотно слушает. Но никогда не суждено ему слушать эти песни так, как слушали их мы.

#### **ПОСЛЕ ВЕЧЕРИНКИ**

*Под утро, когда устанут  
Влюбленность, и грусть, и зависть,  
И гости опохмелятся,  
И выпьют воды со льдом,  
Скажет хозяйка - хотите  
Послушать старую запись?  
И мой глуховатый голос  
Войдет в незнакомый дом.*

*И кубики льда в стакане  
Звякнут легко и ломко,  
И странный узор на скатерти  
Начнет рисовать рука,  
И будет звучать гитара,  
И будет крутиться пленка,  
И в дальний путь к Абакану  
Отправятся облака...*

*И гость какой-нибудь скажет:  
- От шуточек этих зябко,  
И автор напрасно думает,  
Что сам ему черт не брат!  
- Ну что вы, Иван Петрович, -  
Ответит ему хозяйка. -  
Бояться автору нечего,  
Он умер лет сто назад...*

Никогда не суждено более слушать так эти песни и нам. Ибо в ТО время, время этих песен, между словами Галича и теми, кто воспринимал их, было нечто еще: мертвенное дыхание государства. Забавно, именно оно, это дыхание, придавало особенную свежесть песням Галича, превращая их в глоток действительно живительного воздуха. Да, то было странное, но и счастливое в каком-то смысле время: мы четко знали, где враги, а где друзья, ненавидели гэбню и упоенно читали то, что читать запрещалось, по знанию запретной литературы распознавая друг друга. Оппозиционность режиму принималась за прогрессивность и порою за авангардизм.

Так мой приятель, художник Михаил Раппопорт, после встречи с режиссером Юрием Любимовым не мог успокоиться: "В живописи его вкусы остались на уровне сюрреалистов! И этот человек считался самым авангардистским режиссером России на протяжении десятилетий!"

Исчез СССР, сначала из моей жизни, а потом и вообще с карты мира, исчезла та призрачная реальность, то королевство кривых зеркал, в которые смотрелась страна, которой нет больше. Многие из того, что наполняло нашу жизнь до предела, умерло вместе со временем. Но что-то же заставляет сегодня моего взрослого сына, израильянина, слушать песни Галича.

Конечно, совсем не так, как слушали их мы.

Я в принципе знаю - что. Я понял это, когда выполнил разбор этой нехитрой диссидентской песенки. С 1987 года этот разбор существовал в устном варианте, я всегда показывал его на выступлениях и встречах. Но никогда не записывал, не знаю почему. А вот сейчас решил записать этот давнишний свой анализ. Он перед вами.

*Под утро, когда устанут  
Влюбленность, и грусть, и зависть,  
И гости опохмелятся,  
И выпьют воды со льдом...*

И влюбленность, и грусть, и зависть - естественные человеческие чувства. Усталость чувств - угасание их.

Отметим, что оживление чувств и облегчение приходит, и связано оно с холодом, со льдом.

*Скажет хозяйка: хотите  
Послушать старую запись?  
И мой глуховатый голос  
Войдет в незнакомый дом.*

Старая запись - запись, отдаленная от вечеринки во времени. Голос глуховат потому, что идет издалека. Дом незнаком, так как стоит в другом, отдаленном от источника голоса месте.

*И кубики льда в стакане  
Звякнут легко и ломко...*

Мы уже видели в первой строфе лед и отмечали, что с ним связана тема облегчения. И вот опять - кубики льда звякают легко и ломко: связь, возникшая между голосом и слушателями, ненадежна, и нарушить, сломать ее нетрудно. А пока -

*И странный узор на скатерти  
Начнет рисовать рука.*

Отметим сейчас лишь, что рука начинает рисовать узор, не присущий данному месту, незнакомый здесь. Узор странен - так как наведен, навеян глуховатым голосом.

*И будет звучать гитара,  
И будет крутиться пленка,  
И в дальний путь к Абакану  
Отправятся облака.*

Старая ломкая пленка связывает далеко отстоящие друг от друга точки, по этому каналу до места вечеринки доходит музыка, и в дальний путь, в страну холода и ломкого льда (ломали кайлом) отправляются странники (узор был странен, помните?) - облака. Мы видим в этом четверостишии все уже встреченные нами и выделенные ранее темы: и холод, и дальность, и ломкость, хотя прямо и не названную. И все это существует, пока звучит музыка.

*И гость какой-нибудь скажет:  
От шуточек этих зябко...*

Снова тема холода, связанная со звучанием пленки: зябко гостю от этих шуточек.

*И автор напрасно думает,  
Что сам ему черт не брат.*

По сути гость хочет сказать здесь, что автор чересчур смел. Для передачи этого значения в русском языке существует множество синонимов и идиоматических выражений: все по фиг, море по колено, черт не брат, царь не ровня, безрассудно смел и т.д.

Почему же гость в песенке Галича сказал то, что сказал, именно такими словами? Почему он помянул черта? Почему случайно выбрал именно эту идиому?

Ответ на этот вопрос дает следующая - и последняя строфа песенки.

*- Ну что вы, Иван Петрович, -  
Ответит ему хозяйка. -  
Бояться автору нечего,  
Он умер лет сто назад.*

Вот он, этот ответ, поразительно прямой, прозрачный и по существу взрывающий и опрокидывающий текст песенки во всех смыслах и на всех уровнях.

Автор мертв. Голос идет из могилы! Оттого-то и зябко гостю. Оттого-то он поминает черта, обитателя того мира, в который ведут могильные врата. Тот холод, который поминается в тексте песенки неоднократно, - могильный холод.

А сейчас, уже зная это, вернемся к началу песенки и прочтем ее еще раз, подсвечивая строчки нашим обретенным знанием.

### **Второе прочтение**

*Под утро, когда устанут  
Влюбленность, и грусть, и зависть,  
И гости опохмелятся,  
И выпьют воды со льдом...*

Под утро - то есть в час быка. Именно в это время, как известно, всякая нечисть обладает наибольшей силой.

Как мы уже отмечали, и влюбленность, и грусть, и зависть - естественные человеческие чувства, угасающие под утро. И облегчение приходит с холодом. Но, как мы видели, холод в тексте песенки связан с могилой. Значит, облегчение приходит именно оттуда, из-под земли.

*Скажет хозяйка: хотите  
Послушать старую запись?  
И мой глуховатый голос  
Войдет в незнакомый дом.*

Голос глуховат - потому что он доносится из могилы, приглушен крышкой гроба и слоем земли. Дом незнаком голосу, так как место вечеринки находится в другом мире, мире живых, а не мертвых.

*И кубики льда в стакане  
Звякнут легко и ломко,  
И странный узор на скатерти  
Начнет рисовать рука.*

О, как неожиданно на наших глазах картинка застолья переходит в яркое описание спиритического сеанса: вызывают духа из могилы, и сами собой начинают легко и ломко звякать кубики льда в стакане, сама собой рука начинает рисовать на скатерти странный, наведенный, не принадлежащий этому миру узор.

*И будет звучать гитара,  
И будет крутиться пленка,  
И в дальний путь к Абакану  
Отправятся облака.*

А дух Галича будет петь, пока крутится пленка (тарелка?), и когда все кончится, след навеянного голосом из мира мертвых узора исчезнет, а на скатерти не останется ничего.

Во всех традициях и системах мифов музыка приходит в мир людей, как подарок из мира духов, будь то гусли-самогуды, подаренные Ивану-царевичу Водяным царем, будь то кифара, изготовленная Аполлоном, иль флейта, принадлежащая Пану.

А облака отправляются в страну холода и могил Абакан, в модели текста - в страну смерти, страну духов.

В то самое дальнее путешествие, которое когда-нибудь предстоит совершить и твоей душе, читатель.

*И гость какой-нибудь скажет:  
- От шуточек этих зябко,  
И автор напрасно думает,  
Что сам ему черт не брат.  
- Ну что вы, Иван Петрович, -  
Ответит гостю хозяйка. -  
Бояться автору нечего,  
Он умер лет сто назад.*

Последние строки песенки не нуждаются в дополнительных комментариях. Разве лишь остается заметить, что упоминание о давней смерти автора подчеркивает незыблемость порядка вещей в мире вечеринки - через сто лет после смерти Галича здесь не изменится ничего.

Так он показал это здесь, признав свое неизбежное поражение.

Только вот, на мой взгляд, важнее и интереснее другой тонкий момент: мир вечеринки в тексте предстает как мир тяжелый, давящий, как мир, в котором угасают естественные человеческие чувства. А облегчение (легкость), как я уже говорил несколько раз, приходит из мира мертвых. Именно воздействие мира мертвых возвращает к жизни те естественные человеческие чувства, которые были подавлены миром вечеринки.

И чем больше вглядываешься, тем менее понимаешь, который же из двух противопоставленных в модели текста Галича миров на самом

деле мир жизни, а какой - мир смерти: как в калейдоскопе, меняются они местами.

Я называю этот эффект "перевертышем". На самом деле он встречается довольно часто и описан в моих, да и не только в моих, статьях.

Но всякий раз, наблюдая эффект "перевертыша", не в силах я сдержать двух вздохов: вздоха удивления - перед бесконечной сложностью, глубиной и принципиальной неисчерпаемостью текста и мира, и вздоха печали - перед неизбежным поражением еще одного своего разбора.

И последнее. Именно нечаянная мифологическая глубина непритязательной этой песенки вызывает тот морозец, который бежал по моей коже, когда я слушал Галича впервые. Именно здесь, убежден, таится секрет, который некогда был заложен в тексты подсознанием Александра Галича, и остается в них и теперь, когда тело его распалось, и рухнул вызвавший и определивший его творчество мир.

Именно это и впитывает мой обожающий Александра Галича сын, которому на уровне шкуры и сердца почти ничего не говорит слово самиздат.

*Свердловск - Цоран. 1987-1999.*

**Вышла в свет новая книга Ларисы Городецкой**

**“ЗАПИСКИ СВАХИ”**

*(250 страниц)*

“Факты, словно бы оживающие на книжных страницах, дарят людям надежду...”, - пишет в предисловии к этой книге Анатолий Алексин.

***Цена книги: в Израиле - 20 шекелей.***

***В других странах: 8 долларов США.***

***Желающие приобрести книгу могут обратиться к автору:***

***тел. 972-4-823-1576***

***E-mail: galatea@netvision.net.il***

*Соломон Могилевский*

### **ФИЛО- И АНТИСЕМИТИЗМ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА**

Издательством Российского государственного гуманитарного университета в Москве опубликовано капитальное исследование под названием "Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России". Его автор - израильский ученый Савелий Дудаков, перу которого принадлежит ряд фундаментальных работ, посвященных различным аспектам истории российского еврейства. В книге собран и обработан колоссальный документальный материал, давший возможность проанализировать проявления и причуды филосемитизма и антисемитизма как составную и неотъемлемую часть истории России с самых ранних ее времен и до наших дней.

Все основные аспекты истории филосемитизма и антисемитизма в России, казалось бы, издавна известны, но до сих пор оставались малоизвестными их взаимозависимость и влияние на развитие общественно-политической жизни страны. Выходом в свет фундаментального труда С. Дудакова объемом в 40 печатных листов пробел, существовавший в русской исторической литературе, преодолен и весьма удачно.



Тема, избранная автором, многогранна и сложна. Границы ее, по существу, необъятны. Взнявшись за ее разностороннее раскрытие, автор был вынужден тщательно выяснить отношение к евреям, еврейству и иудейской религии царя и царского двора, великих князей, занимавших ведущие посты в государственном и региональных аппаратах, аристократии и интеллигенции, чиновничьего аппарата, генералитета и армейских кругов, ведущих ученых-историков, философов, правоведов,

литераторов, музыкантов, искусствоведов, а также и позицию представителей городских низов и крестьянства.

Ответ на все эти вопросы потребовал от автора привлечения и изучения широчайшего круга разнообразных источников и литературы. Один лишь перечень их занимает (в приложении к книге) около 35 страниц. Речь идет о литературе на старославянском, древнерусском, русском, украинском, чешском, польском, английском и немецком языках. Читатель знакомится с малоизвестными хронологическими сборниками законов и царских уложений за разные годы, с именными императорскими указами, с летописью по Лаврентьевскому списку, с русскими былинами, с библейскими и агадическими сказаниями, взглядами по еврейскому вопросу видных русских историков (Ключевского, Костомарова, Грановского, Соловьева и др.), с позицией крупных русских литераторов (писателей и поэтов), с огромным количеством статей ведущих российских журналистов, с воспоминаниями общественных и политических деятелей, с эпистолярным наследием, с еврейской тематикой в музыке и искусстве и т. д. Чтение книги облегчено удачным и очень разумным расположением материала, изложенного в шести очерках, каждый из которых подразделен на параграфы. Названия большинства из них выглядят интригующе: “Самостоятельная жизнь рукописи”, “Десное братство”, “Еврейский вопрос в земледелии”, “Память или забвение”, “Первородное покаяние” и др.

При всей известности сути филосемитизма и антисемитизма, автором книги введен в научный оборот целый ряд новых, ранее не известных фактов, дающих возможность по-новому прочитывать суть исследуемой проблемы, в том числе проявлений “парадоксов и причуд”. Громадный документальный материал, привлеченный автором, говорит и о том, что мало кто из филосемитов или антисемитов в российской истории был последователен до конца. Многие эпизоды, описанные автором книги, на мой взгляд, представляют особый интерес. Это крещение Руси и появление полемической литературы, направленной против иудаизма; иудейское влияние на Русь; различные версии о Киевской Руси как преемнице хазарского царства; хазарское происхождение Рюриковичей; еврейское происхождение матери св. Владимира; реальное происхождение былинных богатырей-жидовинов; религиозно-культурные движения; иудействующие или жидовствующие и их отход (отпад) от православия и принятие иудейской веры. Данные о жидовствующих даны в хронологической последовательности по годам, губерниям, районам и городам Российской империи. С неослабевающим интере-

сом читаются страницы, рассказывающие о непосредственном переходе в еврейство отдельных личностей.

Так, повествуя о судьбе капитана Николая Сазонтьевича Ильина (сына генерала Паткуля), автор отмечает, что за свои религиозные взгляды, близкие к иудаизму, он провел в заточении 21 год. Другим потрясающим примером является подвиг крепостного крестьянина-самородка Тимофея Михайловича Бондарева, сделавшего обрезание и принявшего еврейское имя Давида Абрамовича и ставшего страстным пропагандистом Старой Веры. Годы солдатчины, преследований, ссылки в Сибирь не изменили его взглядов. Бондарев разработал трактат о трудолюбии и тунеядстве, который заинтересовал многих видных общественных деятелей, в том числе Льва Толстого, с которым он долгие годы состоял в переписке. По словам Толстого, гениальный крестьянин был его учителем жизни и философское мировоззрение сибирского Сковороды несравнимо выше признанных ученых авторитетов.

Сектантство иудейской направленности приобрело со второй половины девятнадцатого века довольно широкое распространение, вовлекая в свои ряды представителей всех слоев населения России - от простого люда до аристократии, - и это несмотря на преследования, тюремные заключения и ссылки. Враждебная деятельность властей, направленная против сектантского движения, особенно против иудействующих (жидовствующих), была лишь частью антисемитской политики, которая оставалась неизменной на всем протяжении 300-летнего пребывания у власти династии Романовых. Читатель найдет в книге С. Дудакова прекрасно написанные страницы, характеризующие отношения к евреям и еврейскому вопросу каждого из царствовавших Романовых от Алексея Михайловича до Николая II. Крайняя враждебность последнего царя к богоизбранному народу способствовала гибели династии.

Ярко и образно рассказано о большом количестве крещеных евреев-генералов, которых в русской армии было гораздо больше, чем в официальных справочниках, министров - выкрестов и министров еврейских кровей. В их числе С. Ю. Витте, К. В. Нессельроде, Е. Ф. Канкрин (внук раввина Кан-Крейна) и многих других. В этих очень выпукло написанных портретах много нового. Любопытной представляется "еврейская политика" великих князей. Она не была однозначной. Наряду с ярыми антисемитами типа великого князя Сергея Александровича, Николая Николаевича и ряда других, предстает довольно непоследовательный филосемит, с "парадоксами и причудами", - Константин Константинович, которого в литературе, посвященной истории России, на-

зывают “лучшим из Романовых”. Немало примеров в истории княжеских родов противостояния “фило” и “анти” среди братьев и кровных родственников.

Наличие еврейской крови многих князей и графов многим обязано бракам пяти дочерей еврея Петра Павловича Шафирова, вице-канцлера Петра I, и его жены, еврейки, урожденной Анны Степановны (Самуиловны) Копьевой. Дочери вышли замуж за представителей виднейших родов России - много выше “выскачок” Романовых, Рюриковичей, Долгоруковых, Гедиминовичей-Хованских. Они породнились с древними родами - Головиными, Гагариными и Салтыковыми. Это во многом определило их отношение к евреям и к еврейскому вопросу.

Очевидно, можно и должно говорить сегодня о том, что в кругах российской аристократии, в дворянских кругах России довольно легко уживались и “про” и “анти”. Достаточно назвать только несколько имен, действовавших примерно в одно и то же время: последовательного антисемита Николая Николаевича Голицына и филосемитов - светлейшего князя А. А. Суворова-Италийского, графа Рымникского, а также графини Уваровой Н. П., урожденной Горчаковой, и даже “советского графа” П. П. Игнатьева, друга Соломона Михоэлса. К их числу следует добавить семью князя П. П. Демидова-Сан-Дonato и многих других.



Специальный очерк посвящен проблемам филосемитизма и антисемитизма в русской литературе, музыке и искусстве. В этом очерке читатель встречается с характеристикой произведений ярко выраженного антисемитского толка и одновременно с трудами филосемитского характера.

Разбросанные по разным исследованиям, воспоминаниям, журнальным и газетным статьям сведения собраны доктором С. Дудаковым воедино и представлены цельным, интересным, а местами захватывающим рассказом. В них главное внимание уделено Петру Яковлевичу Чаадаеву и его воспеванию “Моисея”; Михаилу Юрьевичу Лермонтову с его “еврейским сюжетом” в “Демоне”, “Испанцах”; Тимофею Николаевичу Грановскому, с негодованием писавшему о средневековых преследованиях евреев; Александру Ивановичу Куприну, создавшему бессмертные “Суламифь” и “Гамбринус”; Д. М. Мордовцеву, заявлявшему неоднократно о неоплатном долге христиан перед богоизбранным народом; Михаилу Михайловичу Филиппову, резко осуждавшему антисемитизм; Леониду Андрееву, Максиму Горькому, Федору Сологубу, издавшим сборник “Щит” в защиту гонимого племени;

виднейшим литераторам, выступавшим в защиту безвинно-судимого Бейлиса. Названы имена авторов антисемитских творений. Наиболее известным в ту пору (конец XIX - начало XX вв.) было имя Иеронима Иеронимовича Ясинского, написавшего несколько антисемитских романов, не потерявших актуальности до наших дней. Еврейский вопрос нашел свое разностороннее освещение в русской исторической литературе. Обращают на себя внимание две точки зрения. Наиболее ярким выразителем одной из них является автор многотомных исследований Николай Иванович Костомаров, другой - философ и богослов Владимир Сергеевич Соловьев. В воззрениях первого превалирует, хотя и непоследовательно, антисемитизм. В воззрениях второго - последовательный филосемитизм, блестящее знание истории еврейства, древнееврейского языка, Талмуда и осуждение юдофобии в любой ее форме.

Подобные противопоставления присутствуют и в музыке, где антисемитизму П. И. Чайковского противопоставляется филосемитизм Модеста Петровича Мусоргского, широко использовавшего в своих произведениях еврейские мотивы; и в изобразительном искусстве: филосемит и знаток Библии В. В. Верещагин и антисемит В. В. Кандинский. Мне бы хотелось привлечь внимание читателей к взаимоотношениям Василия Кандинского со знаменитым композитором Арнольдом Шенбергом, и особенно к впервые переведенным на русский язык письмам композитора к художнику по поводу его антисемитских, пронацистских взглядов в начале 20-х годов, еще до прихода Гитлера к власти.



Шесть историко-литературных очерков, составляющих основное содержание исследования, венчают четыре приложения.

На первый взгляд каждое из них представляется как бы сюжетом, могущим быть опубликованным в виде отдельных научных статей. Но при внимательном ознакомлении с ними приходишь к выводу, что три из них - "Протоколы Сионских мудрецов", "Россия и Иерусалим" и "Вечный жид" - служат прямым продолжением или иллюстрацией к содержанию очерков. Эти приложения документально подтверждают продолжающееся развитие и "совершенствование" антисемитизма в современной России, непрекращающиеся издания "Протоколов Сионских мудрецов" и соответствующих клеветнических комментариев к ним.

Легенда об Агасфере - "Вечный жид" (и ее широкое распростране-

ние в России) - призвана доказать неизбежность опасной миграции евреев и нарастание угрозы народам России. И, наконец, раздел, посвященный Иерусалиму, трактует о преимущественном праве России на Святую Землю.

Что же касается четвертого приложения - о евреях в шахматной жизни России, - то оно должно было бы быть введенным в основной корпус исследования.

Все вышеизложенное дает право на вывод: русскоязычному читателю старшего поколения сказано многое из того, что ими забыто. Молодым людям - о том, что им было ранее не известно.

**Нина Воронель**

## **ВЕДЬМА И ПАРАШЮТИСТ**

*(роман)*

*Хотите ли вы опять, как в детстве, испытать захватывающее чувство вовлеченности в чужую жизнь? Израильский парашютист, роковая женщина, таинственный злодей, средневековый замок, европейская интеллектуальная элита... и убийство.*

---

464 стр. Цветная обложка

"Москва-Иерусалим"

Р.О.В. 44050, Тель-Авив 61440

(39 шек. в Израиле; 19 ДМ для Европы;  
15,5 доллара для США, включая пересылку)

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧЛЕНИСТОНОГОЙ СВОБОДЕ

Статьи о Рите Бальминой уже появлялись, и это неудивительно, так как жажда быть на виду и на слуху заложена в самой сердцевине не только ее творчества, но и ее человеческой сути. Достаточно взглянуть на обложку книги, прочитать заголовок или первое попавшееся стихотворение. Яркость, эффектность, полная раскованность - она бы могла использовать три этих определения в качестве девиза. Краски, излюбленные ею: желтая, фиолетовая и красная, полутонов практически нет, контуры очерчены четко и ясно. Больше половины иллюстраций - обнаженные женщины, обликом слегка напоминающие саму поэтессу. Экзотические, порой черные фигуры, все, начиная с обложки, выполнены рельефно и выпукло. То же относится и к стихам - бурная вакхическая стихия, какое-то варварство, чуть ли не огнепоклонство, вот что первым делом приходит на ум. Можно подумать, что писала их не еврейка, настолько неистов и страстен, и клокочущ ее стиль.

*...ловлюсь в силки физиологии, влюбляюсь в каждого, с кем ляжем...*

Полно, да не издеваются ли над нами? Нимфомания? Что-то непохоже: ведь куртизанка, ложащаяся в постель с любимым, любить не может по определению. Героиня книги, толкующая то и дело о половой страсти и любви, то ли находится в заблуждении сама, то ли морочит читателя. Поскольку поневоле приходит в голову, что то, чем она живет, не более чем миф, выдуманный ею не столько для нас, сколько для самой себя. Мнимый эротизм Риты - это самообман, и да не введут в заблуждение стихотворения типа "Менада", исполненные, сознаюсь, с истинным мастерством и знанием дела. Плоть - отнюдь не стихия Риты, хотя книга вся как бы ломится от ее пышного изобилия. Нет, речь идет всего лишь об ущербе, точнее, об ущербности.

Игра в “эротические сны” вполне возможна и способна на время заменить явь, но рано или поздно эта явь подступает вплотную во всей своей отвратительной неприглядности. Ущербность состоит в гипертрофированной расхристанности, с которой обнажается перед читателем поэтесса, в упоенности, с какой она посредством Саломеи провозглашает торжество тела над духом. Но ведь смерть Иоанна - еще не смерть духа, который, как ни крути, бессмертен. Глобализация половой стихии, и без того извечно всесильной, скорее всего, происходит от отсутствия внутреннего чувства, обычного для миллионов, что в итоге ведет к воспеванию варварства. Но то единственное, нормальное, похожее героине не дано, чем и объясняется ее непреходящая и какая-то животная тоска.

Что проходит, банально выражаясь, красной нитью через всю книгу, - так это антидуховность. Гигантский мир, загнанный в маленькую постель, оторван от природы, от Родины и, по большому счету, от вдохновения. Но параллельно этому Рита Бальмина - своего рода антиапостол нашего времени. Ее сила, природность, отсутствие внутренних барьеров, ее духовный эксгибиционизм - не только примета дня, но и родимое пятно эмиграции. Кто, кроме эмигранта, может быть настолько отодвинут от окружающего в направлении интимной чувственности? Кто, кроме отшвырнувшего Родину, как ненужный груз, способен до такой степени освободиться от воспоминаний? Кто еще грешен в такой безумной пропорции, что осмеливается забыть о самом понятии “греха”, смешав в одну кучу хорошее и дурное, низкое и возвышенное, плоть и душу? Нет, говорю я вам, все это не под силу обычному человеку: тут потребен эмигрант. И Рита Бальмина, эмигрант от поэзии, в полной мере реализует поставленную перед ней задачу. Она не “играет в эмиграцию”, как выражается сама; она принимает ее как смысл жизни, как предназначение. Тут уже по логике вещей становятся ветошью обычные понятия: нравственность, целомудрие, стыд. Все нараспашку, если не на продажу - кати, куда ни попадя, ничего не жаль.

Таково новое пророчество: ни с чем не идентифицироваться, ни к чему не прирастать, но с безумной легкостью пристраиваться и уноситься. Важно произвести эффект, предстать блестящим, отвергающим любые авторитеты, революционным. Эмигрантская поэзия прежде всего не признает простоты. Ее стихия - форма, бьющая если не по чувствам, так по эмоциям. Важно стать актуальным, ловить буквально все, что носится в воздухе: война - так война, смерть - так смерть,

теракт - так теракт. Эта поэзия, ничего не пропуская через себя, способна отразить все, что угодно: побывав в Рио-де-Жанейро - вот тебе цикл о Рио или там "венок" о Жанейро, причем непременно с зным количеством тамошней атрибутики и бразильских слов. И это - также примета времени, которое я бы назвал телевизионным: поверхностность, быстрота и всеобъемлющность. Объять все и все отобразить, ничего не пережив. Одна нагая, блестящая и бесконечная поверхность. Мельтешение красок: желтая, фиолетовая, красная... И четкие контуры по краям.

Но талант (а Рита бесспорно талантлива) не может не отлиться, порой как бы вопреки авторской воле, в нечто бесспорное, о чем бесполезно дискутировать. Такова, скажем, "Баллада о гончарном круге", созданная явно на одном дыхании. Такова "Саломея" - убедительная апологетика власти тела над духом, чья отвратительная мысль, как ни странно, служит эффекту полноты восприятия. Таковы "Некрофилия" и "Менада" - чувственные гимны язычеству, безбожию и распутству. "Осенний сонет" хотя и менее силен, чем перечисленные вещи, но элегантен, гармонично объединяя в себе образность и новизну. Увы, это случается далеко не всегда. Страсть производить эффекты частенько приводит к заурядной банальности. Изобилие тропов утомляет, не будучи вызвано необходимостью, используя то ли ради игры, то ли из своеобразного кокетства. Имена мифологических героев мелькают кстати и некстати, имея, вероятно, целью показать начитанность автора: "Что заштопала нить Ариадны в нутре Минотавра на изнанке извилистых, глистокишащих кишках, где оскаленный скальпель скользит, ударяя в литавры? Электрический шок?" Впечатляющие на первый взгляд строки при более тщательном рассмотрении оборачиваются набором пиротехнических эффектов, изготовленных неопытным конструктором. Беззастенчиво напихивая сильные словечки, Рита Бальмина сплошь и рядом добивается желаемого: перед нами мрачная неразбериха из каннибалов, лабиринтов, глистов, блевотины и прочей милой атрибутики, что, вероятно, должно подчеркнуть невиданный доселе трагизм ее внутреннего мира, но на самом деле способно лишь вызвать зевоту. И в то же время то в одном, то в другом стихотворении встречаешь настоящему сильные строки:

*"...вдоль Млечного пути мычат коровы  
они идут, обречены, суровы,  
созвездья сокрушенные кроша".*

Или

*“...когда в подвал газетного гестапо  
густым курсивом загоняют слово  
по курсу подлицованной фарцы,  
то мудрецы скорбят, как мертвецы  
при погребении еще живого”.*

Или нерифмованное стихотворение “Федра”. Или, или, или...

В итоге - я не знаю, как определить поэта Риту Бальмину. К кому ее причислить? Не знаю, чего в ней больше: настоящего или фальшивого, правды или пошлости пополам с жадной успеха? Пускай это решит для себя читатель.

## **ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ!**

120 номеров, конечно, не 120 лет, но все же впечатляющая цифра. В связи с этим хочется вспомнить не только тех, кто пишет для журнала и таким образом сам о себе напоминает, но и тех, кто хранит, рассылает, регистрирует, выписывает, считает, заказывает и извещает, то есть осуществляет всю реальную, но невидимую работу, которая необходима редакторам, издателям и авторам, чтобы превратить их невещественные труды в нешуточное, материальное дело.

Собственно, этих самоотверженных людей очень немного. Всего один. Но этот один - наша драгоценная Мирьям Бар-Ор - сопровождающая и благословляющая наш журнал, начиная с его первых, белых номеров, еще не покрывшихся серебристо-серой корочкой признания. Она, единственная (и неповторимая), не устает напоминать нам, что нужно выдерживать сроки и бюджеты, что нужно заказывать бумагу и картон, что нужно помнить обязательства и отвечать на письма на русском, английском и немецком языках, отчитываться и выписывать квитанции на иврите, и при этом оставаться понятными читателям в Петах-Тикве, Вильнюсе, Бишкеке и Лос-Анджелесе одновременно.

Пожелаем себе и ей еще много, много раз встретиться для дружеской дискуссии всей нашей шумной компанией в ее гостеприимном доме и выпустить множество волшебных, серебристых номеров под ее надежным крылом.

Пусть всегда будет Солнце! Пусть всегда будет Мирьям! Пусть всегда будет "22"!

*Редакция*

## **Коротко об авторах**

**Нина Воронель** - писательница, драматург, поэтесса.  
Живет в Тель-Авиве.

**Лев Лосев** - поэт, литературовед. Живет в США.

**Юлий Ким** - поэт, бард. Живет в Иерусалиме.

**Наум Басовский** - поэт. Живет в Ришон ле-Ционе.

**Лев Аннинский** - литературный критик, литературовед.  
Живет в Москве.

**Марк Амусин** - литератор. Живет в Иерусалиме.

**Анатолий Добрович** - поэт, врач-психиатр. Живет в Бат-Яме.

**Эдуард Бормашенко** - публицист, физик. Живет в Аризле.

**Исаак Розовский** - литератор. Живет в Иерусалиме.

**Виктор Богуславский (1940-1991)** - архитектор, публицист.

**Александр Воронель** - физик, публицист, главный редактор "22".  
Живет в Тель-Авиве.

**Марат Гринберг** - студент университета. Живет в США.

**Аркадий Бурштейн** - литератор. Живет в Израиле.

**Соломон Могилевский** - историк. Живет в Иерусалиме.

**Виктор Голков** - поэт. Живет в Азуре.

*Главный редактор - Александр ВОРОНЕЛЬ*

*Помощник редактора - Михаил ЮДСОН*

*Редакционная коллегия:*

**Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА,  
А. ДОБРОВИЧ, А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, М. ХЕЙФЕЦ, Д. СОБОЛЕВ,  
Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА, Н. БАСОВСКИЙ,  
В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО, Я. ШЕХТЕР**

*Заведующая редакцией - Мирьям БАР-ОР*

*Компьютерная обработка - Алекс ВАЛЛЕЙ*

*Печать - издательство "МЕРКУР"*

*Всю корреспонденцию направлять по адресу:*

*"22", Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440*

*Телефон редакции - 03-7394525*

**"22" в Интернете: <http://sunisland.rus.co.il/club/index.html>**

**Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим", и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.**

Стоимость годовой подписки в Израиле - 120 шек., для организаций - 130 шек., за рубежом - 80 долларов (авиапочтой в Европу - 90, в США - 95 долларов), для организаций - 100 долларов (включая пересылку).

**Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране) - 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).**

*Отвергнутые рукописи не возвращаются  
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

#### **ПОДПИСНОЙ ТАЛОН**

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № . . . . .

Прилагаю чеки (чеки) № . . . . . на сумму . . . . .

Журнал прошу высылать по адресу: . . . . .

. . . . .

(пишите разборчиво, Желательно указать номер телефона)

Жертвую в фонд журнала . . . . .

(фамилия)

Наш адрес: "22" Тель-Авив. 61440 п/я 44050

